Цена 90 коп.

Индекс 70331

*Читайте:*

ЗНАМЯ 5
1988

Дмитрий ГУСАРОВ. Пропавший отряд. Повесть

Константин СИМОНОВ. Глазами человека моего поколения

Евгений ЗАМЯТИН. Мы. Роман

Стихи
Марии АВВАКУМОВОЙ,
Василия КАЗАНЦЕВА,
Владимира ЛИВШИЦА

Статьи
Н. ШМЕЛЕВА, В. ПОПОВА «Анатомия дефицита»,
Вл. НОВИКОВА «Противостояние»

Знамя 1988 № 4, 1—240.

ЗНАМЯ 4 1988

ISSN 0130-1616

# ЗНАМЯ

1988

Апрель

Михаил Матусовский

# ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

★

Идут на волю, как военнопленные,
Десятки дум и чувств.
И словно пережив выздоровление,
Я вновь ходить учусь.

Клочками строк, как бедными калеками,
Заполнена тетрадь.
И, главное, мне жаловаться некому
И не на что пенять.

Уж, кажется, расстаться с этой робостью
Давным-давно пора...
Но все меня покинуть не торопятся
Мои редактора.

## Ордена

Не успев дотянуть до получки,
По причине нехватки вина,
В суматохе базарной толкучки
Человек продает ордена.

Опечатанный нашею кровью
Старорусский нетающий лед,
Пепел Бреста и прах Приднепровья
Человек без стыда продает.

Оглянувшись вокруг воровато,
Он на все, если надо, горазд:
Память деда, отца или брата
За пятнадцать целковых отдаст.

Вот на ленте медаль Ленинграда,
Уцелевшая чудом в огне.
Вместе с ней наша боль и блокада
Продаются по сходной цене.

Схоронил старшину-бедолагу
Взвод стрелков, поредевший на треть.
И вот эту медаль «За отвагу»
Не успел он ни разу надеть.

Там, где тесно толкучка зажата
В подворотни, дворы и углы,
Вам достанут, лишь были б деньжата,
Орден Ленина из-под полы...

Разве ведал солдат из-под Ржева,
Разве знала солдатская мать,
Что когда-то все это «налево»
Можно будет купить и продать?!

## *Русский испанец*

*Памяти академика Георгия Владимировича Степанова*

Сколько рвов перерыто лопатой,
Сколько взято засек и преград.
Как Сервантес в бою под Лепанто,
Ранен в руку под Лугой солдат...

Рано путь твой был воинский начат:
Башни замка стремятся в зенит.
По тебе этот колокол плачет,
По тебе он звонит и звонит.

Прочно кованный стих Кальдерона,
Скрип сухих и колючих ветвей,
Андалузских высот оборона —
Академией стали твоей.

Разве ты позабудешь то лето
И огонь марокканских атак.
При одном только слове «Толедо»
Пальцы сами сжимались в кулак.

Где ж теперь мне искать тебя надо,
Где сегодня отыщешь твой след —
В Аликанте или под Гранадой,
Дон-Кихот девятнадцати лет?

★

Как кочергой она в печке гремела,
Ставя на пламя чугун или медь.
Как свои коржики делать умела, —
Этого вам никогда не суметь.

Как заводила на кухне беседу,
Мудро решая любые дела.
Как помогала в несчастье соседу
Словом, деньгами и всем, чем могла.

Как ухитрялась оказывать милость
Так, что спасенный заметить не мог.
Как своим хлебом пайковым делилась
С теми, кто наш переступит порог.



Как даже самых сварливых мирила
Быстро, як кажуть украинцы, — «вмить».
Борщ в полведерной кастрюле варила,
Чтоб человечество все накормить.

Били нас, били, губили-губили,
Может быть, выжил из всех только я.
Спит под Луганском в донецкой могиле
Мама, еврейская мама моя.

## *Ярослав Смеляков*

Вот на досках на старых
Тощий ватник постлав,
Спит в бараке на нарах
Смеляков Ярослав.

Так тревожно и бранно
Отзывается мрак
Голосами охраны
И служебных собак.

Что — стихи и баллады
После этой жратвы,
После миски баланды
Из промерзшей ботвы.

Но средь этого быта,
Где так просто пропасть,
Каждой строчкой стоит он
За Советскую власть.

Сам порой на ухабах
Выживая едва,
Для усталых и слабых
Он находит слова.

Где набрался он силы,
До сих пор не пойму,
Но обидеть Россию
Он не даст никому...

До зари еще рано.
Лагерь спит недвижим.
Только с вышек охрана
Наблюдает за ним.

...В мире камер острожных
И тюремных «глазков»
Он все тот же, все тот же
Ярослав Смеляков.

## Александр Твардовский

...А теперь он маститый классик,
Обращенный к самим векам.
Всем охота его прикрасить
И надежно прибрать к рукам.

Вот в одежке своей неброской,
И не скажешь, чтобы велик,
Навстречь нам Александр Твардовский,
Как смоленский идет мужик.

Нахлобучив плотней ушанку
В строгом месяце декабре,
Он, как водится, спозаранку
По морозной идет Пахре.

Все сносить ему в одиночку
Так уж выпало на веку.
За чужую сражаться строчку,
Как за собственную строку.

Он живет в этих рамках жестких.
Но зачитан почти до дыр,
Но раскуплен давно в киосках
Подозрительный «Новый мир».

Не представлен в свой срок к награде,
Чуть сутулится от забот.
Лишь порою в усталом взгляде
Что-то теркинское мелькнет.

Он сквозь горы и сквозь пригорки,
Сквозь отчаянье и печаль
Поразительно дальнозорко
Различает за далью даль.

Нет конца этой твердой силе,
Порожденью самой земли...
Вы б такого его любили,
Вы б таким его сберегли.

---

Вениамин Каверин

# СИЛУЭТ НА СТЕКЛЕ

**ПОВЕСТЬ**

*ПАМЯТИ МИХАИЛА ОРЛОВА*

*Горька судьба поэтов всех племен;*
*Тяжеле всех судьба казнит Россию...*

В. Кюхельбекер

### 1

На стекле вырезан едва заметный женский силуэт. Если закрыть окно, изображение почти исчезает, как будто вырезано не на стекле, а на воде. Но в косом ракурсе можно разглядеть профиль девушки, держащей в тонких руках раскрытую книгу. Можно даже различить точку, уголок глаза, придавший взгляду вдумчивое, отрешенное выражение.

### 2

— Пропустите кортеж,— закричал сержант, и Ирина, запоминавшая и замечавшая все в этот день, удивилась этому полузабытому слову в устах милиционера.

Толпа у ворот Новодевичьего кладбища раздвинулась. Гроб на руках несли студенты. За ними шли родные.

Хоронили знаменитого ученого Льва Сергеевича Беклемишева, того самого, портрет которого в конференц-зале химико-физического института висит в ряду великих физиков, начиная с Ломоносова и кончая Нильсом Бором.

Гроб ставят на постамент. Последнее прощание.

Ясный весенне-зимний день. Легкий, как пух, веселый снежок летает над кладбищем, украшает могилы, ложится на спокойное, красивое, важное лицо покойника. Его вдова Любовь Михайловна припадает к нему, целует лоб, руки. Доктор Розенталь, простившись с другом, помогает Ирине — ей двенадцать лет — дотянуться до отца, и она тоже целует холодный лоб и большие холодные руки.

Речи. Кто-то с крепом на рукаве терпеливо ждет, когда кончится прощание.

Раздается траурный марш. Любовь Михайловну ведет под руку Сергей, сын Беклемишева от первой жены. Солнечные зайчики бегают по подушечкам, на которых лежат ордена.

По странной случайности за гробом идут почти все действующие лица этого повествования. За Любовью Михайловной и Сергеем его приятель Виктор Верховский, за ними Ирина с подругой Леной Олениной и медицинская сестра Клавдия Петровна, которая рассказывает кому-то, что пульс Льва Сергеевича остановился у нее под рукой. Рабочие с лопатами в руках стоят над глубокой могилой. Один из них подносит Любови Михайловне горсть земли на лопате, но она склоняется, берет землю руками и бросает на гроб.

Гора земли, которую покрывает гора цветов. Мимозы, нарциссы, из-под которых робко выглядывают подснежники и фиалки. Гора все выше. Ее обкладывают венками, и живые цветы странно выглядят среди искусственных.

Одни автобусы развозят провожающих по домам, в другие садятся те, кто едет на поминки. Ирина глядит на знакомые и незнакомые лица. Умер отец. Никогда она не будет тихо стучать в дверь его кабинета, ни-

когда он не будет, думая о своем, сажать ее на колени, никогда он не заглянет в ее школьный дневник, и никогда они не будут вместе гадать, будет у нее в четверти по математике четверка или пятерка.

3

Поминки. Речи друзей, сотрудников, учеников, в ответ на которые Любовь Михайловна, прямая, с неподвижным строгим лицом, благодарит, отвечает. Пьют, не чокаясь. Ирина жмется к матери, мать вытирает ее лицо своим платком. Шепотом:

— Мама, мне можно сегодня спать с тобой?

— Конечно, можно.

Бьет полночь. Расходятся. Сергею надо устроить приятеля на ночь. Он рано утром летит в Томск. Летит один. Он в ссоре с женой, и Сергей это знает. Виктор будет спать в его комнате на диване.

И наступает ночь. Первая без неустанных забот, без тревоги о нем, без дежурств до утра, без надежды, без новой надежды, без последней надежды. Ночь, когда никто не спит, когда все лежат с открытыми глазами, когда минувший день, еще не ставший воспоминанием, проходит перед мысленным взглядом. Проходит медленно, непоправимо. Ничего нельзя изменить. Ничем нельзя помочь. Над городом, над жизнью, над смертью встает заря. Встает солнце, свежее, погожее утро предвещает близкую весну. Жизнь продолжается.

4

Это было время, когда все заботы, случайные и неслучайные, школьные у Ирины, университетские у Сергея, семейные, школьные и тысяча других у Любови Михайловны, все, что неделю назад казалось важным, неотложным, исчезло, растаяло, стерлось, как стирают тряпкой с грифельной доски написанное мелом слово. Еще приходят после смерти Беклемишева извещения о том, что он избран в такую-то академию в Италии, что его именем назвали такой-то институт во Франции, Дании, Америке. Десятки и сотни телеграмм, статьи во всех европейских и американских газетах.

Но уже появляются несмело, боязливо новые заботы, и занята ими до поры до времени весьма скромная личность. Няня Настасья Петровна, вырастившая и Ирину, и Сергея, прибирает квартиру после поминок, готовит завтрак и обед, заботится о Любови Михайловне, которая не выходит из кабинета мужа, где она провела ночь, и уговаривает ее съесть что-нибудь, хотя бы выпить чаю. И еще тысяча забот, больших и маленьких дел, домашних и недомашних.

А минутная стрелка двигается безостановочно, и часовая никак не может догнать ее — не положено, не судьба. И проходит первый день без него, а потом другой день и третий. А потом месяцы и годы. Сергей, как будто ожидавший смерти отца, уходит из дома. Он женится или не женится, он живет с женой или с неженой в новой квартире на Юго-Западе, иногда звонит, справляется о здоровье, иногда не звонит по полгода. Он не любит мачеху, и она это знает.

Ирине минуло тринадцать, она хорошо учится, много читает. Сперва она была влюблена в учителя географии, но все девочки были влюблены в него, и она его разлюбила. Потом влюбляется в соседа по парте, красивого мальчика, с которым никак не удается разговориться, потому что он ничем не интересуется, кроме Китая. Он прочитал много книг о Китае и даже пытается изучить китайский язык. И Лена Оленина советует ей — верное средство — тоже заинтересоваться Китаем и прочитать о Китае больше, чем он. Но это трудно и скучно, и приходится разлюбить этого мальчика, потому что она волнуется, когда сидит рядом с ним.

Потом ее поцеловал другой мальчик из девятого класса, как-то совсем по-другому, чем другие, и она почувствовала, что все исчезло вокруг; «и я сама исчезла, — писала она в дневнике, — и было трудно оттолкнуть его, и захотелось, чтобы это было снова и снова. Но потом мне все-таки удалось оттолкнуть».



За два дня до этого поцелуя случилось то, о чем ей очень трудно было сказать маме. Она чувствовала сильную головную боль и ломоту во всем теле. Вечером, ложась спать, она заметила пятна на рубашке, несколько пятен, наверно, от крови, и тут уже нельзя было скрыть это от мамы. Она вошла в ее спальню, показала, и мать ласково обняла ее и сказала: «Это скоро пройдет. Это просто значит... не знаю, как тебе объяснить. Это значит, что природа каждый месяц напоминает нам, что мы женщины». И это «мы» успокоило ее. Она — как мама. Она должна терпеть это, ломоту и головную боль и все, что происходит с ней, потому что она — как мама. Она — женщина.

Виктор Верховский, приятель Сергея, живет в Томске. Он иногда пишет Любови Михайловне и неизменно передает привет Ирине. Он не знает и никто в мире не знает, что вензель В. В. в бесчисленных вариациях встречается на каждой странице в дневнике Ирины.

И вдруг он написал Любови Михайловне, что собирается приехать в Москву на несколько дней. Дело в том, что он пишет стихи и рассказы и надеется устроить их в какой-нибудь журнал. «Может быть, Вы разрешите мне остановиться у Вас?»

И он приехал, изменившийся, тонкий, и хотя была уже зима, в кепке и легком поношенном пальто. Веселый, но с провалившимися глазами, в которых Ирине почудился какой-то лихорадочный блеск. Он задумался, когда Любовь Михайловна спросила, как ему живется в Томске, потом ответил «хорошо». И прибавил, улыбнувшись: «Но сложно». А потом засмеялся и спросил:

— Можно вас поцеловать?

Любовь Михайловна обняла его.

— А тебя, то есть вас, Ириночка?

— Почему же — вас... Конечно, тебя.

— Ты так выросла! Не узнать. Тебе сколько? Пятнадцать?

— Шестнадцать.

И она первая смело поцеловала его.

Любовь Михайловна торопилась и ушла, поручив гостя дочери, и Ирина энергично принялась за дело. Ей все время хотелось заплакать, с той минуты, как он вошел, тихий, узкий, какой-то плоский, как нож. Но она сдерживалась, чувствуя, что он догадывается об этом желании...

Это был день, который сблизил их, как могли бы сблизить месяцы, а может быть, и годы. Почему он стал рассказывать ей то, что никогда никому не рассказывал, — этого ни он, ни она не знали и не узнали. Он не стал жить с отцом, потому что с ним нельзя было жить. О нем было стыдно рассказывать, стыдно и невозможно. Виктор снимал каморку у сторожа в студенческом общежитии. Когда к сторожу приезжала дочка, он бродил по пустынному Томску. Ночами он писал и только иногда забывался на несколько минут за столом...

Настасья Петровна принесла завтрак, и, когда она ушла, Виктор снова стал говорить. «Наверно, долго молчал, — подумала Ирина, — и теперь хочется наговориться. И наголодался». Он не заметил, что съел три яйца и протянул руку за четвертым.

— Что-то я много ем?

— На здоровье, — сказала Ирина.

Потом он посмотрел на часы и заторопился.

— Мне пора в редакцию.

— А можно мне поехать с вами?

Он еще не успел ответить, а она уже одевалась.

Нужно было не в одну редакцию, а в две или три. Москва была зимняя, но снег убрали, и зима осталась только в февральском тумане и молниях холодного солнца, и в крыльях пролетавших машин. В метро было тесновато, но он все продолжал рассказывать, не замечая ничего и никого вокруг. И подчас неоконченная фраза как бы оставалась в метро. На улице он говорил уже о другом.

Ирина слушала и не слушала. Самое главное, неожиданное, долгожданное заключалось в том, что он был рядом с ней, и однажды она подумала, что он может исчезнуть, что толпа может разлучить их навсегда, как Ирина однажды видела в каком-то старом фильме. Иногда она заставляла себя слушать, и открывалось неожиданное, например, что его бывшая же-

на, Ольга Рогачевская, живет в Москве, но что он не хочет к ней зайти, потому что она живет с другим.

«Дама-подлец», — сказал он и рассмеялся.

Ирина тоже засмеялась, вспомнив, как отец, когда сердился на кого-нибудь, называл мужчин в женском роде, а женщин — в мужском. «Так обиднее», — говорил он.

Когда Виктор заходил в редакцию, она оставалась ждать его у подъезда или в раздевалке. Возвращаясь, он говорил: «Так и знал». А один раз просидел у редактора очень долго, вернулся расстроенный и спросил не то Ирину, не то самого себя: «Что же делать?»

Она посмотрела на его портфель. После каждого возвращения из редакции портфель становился все толще.

— Все будет хорошо, — сказала она. — Вы верите мне?

— Нет, не верю.

— Ну, посмотрите мне в глаза.

Он посмотрел.

— Теперь верю.

## 5

Р-н напечатал свою первую книгу в начале двадцатых годов и был, стало быть, писателем очень старым. У него была сложная литературная жизнь, но, вопреки всем сложностям, трудностям и даже опасностям, ему удалось сохранить нравственную позицию и профессиональное отношение к делу. Старость принесла ему признание, завалившее его работой. Он любил, когда к нему обращались молодые писатели.

По рассеянности и разбросанности он забыл, когда к нему должен зайти Виктор Верховский — сегодня или завтра, — и не очень удивился, когда увидел скромно одетого, смущенного, но державшегося с достоинством — это было видно с первого взгляда — молодого человека. Многолетний опыт с первой минуты встречи помог ему разгадать его. Высокий, слегка сутулый, вероятно, от долгого сидения за письменным столом, типичный горожанин, сдержан, напряженно-вежлив, редко улыбается. Под напускным спокойствием — застенчивость, под суровой, независимой наружностью — доверие, хрупкость.

— Здравствуйте. Раздевайтесь.

Молодой человек снял пальто. На нем был черный, закрывающий шею свитер.

— Как вас зовут?

— Виктор Верховский.

— Погромче. Я глуховат.

Молодой человек снова назвал себя.

— Виктор... А по отчеству?

— Просто Виктор.

Они прошли в кабинет. Над столом, заваленным бумагами, перед окном, изогнулась длинная чертежная лампа. В левом углу — книжный стеллаж с полукруглыми странными полками. В правом — еще один, маленький стол, на котором за стеклами тоже книжные полки. На полу ковер, у стены — кровать. На одной стене фотографии Пастернака, на другой — две старинных гравюры.

«Скромная комната», — подумал Виктор.

— Мне понравились ваши рассказы, — сказал Р-н. — Но напечатать их трудно, потому что они не похожи на другие рассказы. Один редактор по телевизору сказал, что в портфеле его редакции две с половиной тысячи рукописей. Всеобщая грамотность! Эти рассказы принадлежат читателям, научившимся писать — грамотно или неграмотно. А у вас на лице написано, что такое писательский труд. И я говорю вам это не потому, что вы мне симпатичны. Ну, что же вы молчите?

— Я не знаю, что мне сказать. Наверное, вы правы.

— Да, я прав, — с торжеством сказал Р-н, — потому что пишу уже пятьдесят пять лет и вижу, что литература тонет в этом... Ну, словом, вы понимаете, в чем. Курите?

— Нет.

— Не врете? Если курите — валяйте, потерплю. Я бросил после вой-



ны. Запретили. А это такая прелесть! При Сталине литературу сделали рептильной. От этого можно оправиться, но трудно. Вы читали Павленко?

— Нет.

— А ведь это был знаменитый писатель. И я не думаю, что литература должна вмешиваться в дела государства. У нее хватает своего дела. Вы не знаете, чего я так разворчался?

— Нет.

— И я не знаю. Вы пишете рассказы, которые надо приставить к другой литературе. Не думайте, что к французской или английской. Нет, к русской, но совершенно другой. Сейчас то, что вы пишете, выглядит странно. В самом деле, кому интересно, что Бисмарк, дравшийся на двадцати семи дуэлях, думал о Луи Наполеоне в 1848 году. Вы пишете о Камоэнсе. О жене Лота, превратившейся в соляной столп. О Екатерине Второй.

— А разве Пушкин не писал о Клеопатре, о Моцарте и Сальери, о Дон Гуане, о Скупом рыцаре? О Кирджали?

— Я мог бы сказать — то Пушкин. Но я не скажу. Тогда была другая литература.

— Вот и теперь надо, чтобы она стала другой.

— А теперь о Екатерине Второй будут писать плохие романы. И уже пишут. В самом большом из ваших рассказов семь или восемь страниц. У вас твердая рука. Но это не рассказ, а портрет. Чей портрет? Вашей мысли. Иногда это портрет не мысли, а чувства. Может быть, на Западе эту вещь назвали бы эссе. Но это даже не эссе. И эта вещь пулей вылетает из двух с половиной тысяч рукописей, лежащих в портфеле только одной редакции. Вы хотите ее напечатать? Я тоже этого хочу и даже готов написать предисловие к вашей книге, если у вас когда-нибудь появится книга. Вы согласны?

— Да. Спасибо. Мне этого еще никто не говорил.

— Вы посылали свои вещи в какие-нибудь редакции?

— Да, много. Мне всегда говорят одно и то же: «Далеко от действительности». Или просто: «Не пойдет». Без объяснений. Или с объяснениями. Почти всегда невежественными. Или просто глупыми.

— Где вы работаете?

— В томской газете. Разъездным корреспондентом.

— Да?

Р-н подумал.

— Это может пригодиться. Ведь никогда не знаешь, что может пригодиться. Я тоже работал корреспондентом в годы войны. Вам нужны деньги?

— Обойдусь.

— А я вам говорю — нужны. У вас голодный вид.

Р-н вынул из ящика стола двести рублей.

— Разбогатеете, отдадите. Пришлите мне еще несколько рассказов. Интересно. Писатель должен уметь писать все — очерки, рецензии, статьи, стихи. Вы пишете стихи?

— Иногда.

— А я не могу. В молодости писал, но плохие. Работа в газете может пригодиться. Мне, впрочем, не пригодилась. Вы, может быть, думаете, что мне стоит раз плюнуть, чтобы новую вещь напечатали. Как бы не так! Может быть, напечатали бы, если бы я был членом секретариата. А я просто старый писатель. А вы — молодой. Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— Немало. Мне повезло. Я начинал, когда писателей почти не было. А теперь их хоть пруд пруди. Это хорошо или плохо? Вообще — хорошо, в частности — плохо. Вы живете с родителями?

— Нет. Мать умерла, а с отцом поссорился.

— Так, так, — задумчиво сказал Р-н, и стало видно, какой он старый и добрый.

— Женаты?

— Нет. Был.

— Значит, живете один?

— Да.

— И я один.

Виктор поблагодарил его.

— Не за что. Пишите. А ваши рассказы я все-таки отдам куда-нибудь, присылайте другие. У вас еще есть?

— Да. Много.

— Ну вот и пришлите.

— А можно мне оставить вам мою апологию?

— Апологию?

— Да. Немного. Три страницы.

— Оставьте.

## 6

### АПОЛОГИЯ,

**или речь в защиту самого себя от обвинения в отрыве от жизни, подражательстве и других смертных грехах.**

И сегодня, в конце XX века, приходится прибегать к тем же приемам, что и тысячелетие назад. Апология — жанр древний.

В течение пяти лет я слышу со всех сторон одно и то же: это оторвано от жизни, это похоже на Мандельштама, это похоже на Хлебникова, а это — на Заболоцкого. Из глубины вкусовщины всплывает словечко — эпигонство.

Я не склонен преувеличивать новизну и значение своего творчества. Но также не могу допустить, чтобы безнаказанно попиралось мое достоинство человека и художника.

Считая себя художником, я тем самым уже признаю свое новаторство, ведь творящее усилие всегда заключает в себе зародыш новизны. Но нельзя при этом не отдавать себе отчета в том, что Красота немыслима вне Традиции.

При этом часто и упорно забывают, что нет какой-то одной русской традиции, что они существуют в своей множественности, что все они объединяются под общим сводом культуры и любой художник вправе примкнуть к той традиции, которая больше всего подходит к требованиям его духа.

Было время, когда то Пушкина, то Гоголя называли основателями русской литературы. Ствол культуры, имеющий вековые кольца, пытались приспособить под свой короткий рост. Судьба показала, что русская литература может отпраздновать тысячелетие.

Моей наглости хватает на то, чтобы после миллионов публикаций о Наполеоне и Бисмарке добавить к ним миллион первую.

Я намеренно беру события и имена с а м ы е  и з в е с т н ы е, чтобы на них проверить историю. Не скрываясь, а на глазах у всех.

Многие считают, что форма мифа отшлифована веками и улучшать ее невозможно. Следовательно, нельзя менять миф по своему усмотрению.

Это — распространенное заблуждение. Из истории мифологии ясно, что никогда и нигде не было н е п о д в и ж н о г о, застывшего в своей форме мифа. Существует я д р о и множество ответвлений.

Современные этнографы доказывают, что миф всегда существует лишь в форме с и ю м и н у т н о с т и, сообразуясь с потребностями народа.

Так было и с библейскими мифами — до тех пор, пока за них не взялась единая и официальная религия. Кто не знает библейской легенды о жене Лота, превратившейся в соляной столп? За что ее постигла такая суровая кара? За то, что, покидая родной город, она обернулась. Так вот считаю, что она не заслужила этого несправедливого наказания. «Соляные столпы» древности сияют в нашей памяти. Но разве они мертвы? Оборачиваясь в прошлое, мы оживляем нежный образ жены Лота.

Необходимо властью искусства отменить незаслуженное наказание. Человек не может не оглядываться на то, что было его жизнью. В прошлом он так же черпает силы для сегодняшнего труда, как и в будущем.

Я не боюсь скрытой иронии.

И не известность мне нужна, а истина. Известности я давно бы уже добился, тут много ума не нужно, достаточно способности к компромиссам.

Читают лишь крайне ограниченный список стихов Пастернака, понимая, что остальные «не прозвучат». Не потому, что в них нет мысли или музыки. Есть. Но существующий ф о н, п р и в ы ч к а начисто убирают гениального поэта с дороги широкого чтения. И Пастернак, и Мандельштам превратились в источник цитат, их великолепные, сложные храмы растаскивают по бревнышку каждый себе, кто на лачужку, а кто и на особнячок.



На этом фоне и я выпадаю из «лимита».

Блок писал:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней.

Его предсказание осуществилось. Но теперь, я верю, мы идем к свету. Не всегда же мы, как дикари, будем замыкаться в собственном национализме. Меня охватывает ужас, когда я думаю, что нашему примеру последуют киргизы, узбеки, башкиры, калмыки, армяне, грузины... Это грозит крушением, распадом. Нас становится все меньше и меньше. У маленького народа может быть великая литература. Но вспомним Чаадаева: «Любовь к отечеству — вещь очень хорошая, но есть нечто повыше ее: любовь к истине». Он не прав в другом, но стоит вспомнить его, чтобы доказать себе, что он был не прав.

## 7

Виктор уехал и остался. И все произошло опять, но уже в воображении. Удивился, когда она после завтрака предложила ему принять ванну. Обрадовался, когда она сказала, что пойдет с ним в редакции. Возвращался к ней из редакций каждый раз с виноватым видом. Старался скрывать, что огорчен, бедный, бедный. Она рассказала, что Сергей почти не бывает у них. И что мама сказала о нем: «отрезанный ломоть». По-моему, она не права. Он любит нас, но как-то холодно любит. Все-таки мама для него — мачеха.

Это был прерывавшийся разговор, но Ирине казалось, что он не прерывался. И было еще что-то, о чем она думала ночью, когда не спалось. Что-то непередаваемое, что-то заставившее ее подумать, что, скажи он одно слово, и она поедет с ним в Томск, на Диксон, на Северный полюс...

Он стоял на подножке вагона и все время держал ее руку, пока не тронулся поезд. Он рассказал ей о своем разговоре с Р-ном, и она слушала с изумлением, а потом заметила, что он похож на свои книги. Они оба любили книги Р-на, и это тоже связывало их, хотя и тонуло в бесконечном множестве открытий, которые соединились в этот день. Что-то очень хорошее, необыкновенное должно было непременно случиться в этот незабываемый день. И случилось. Не что-то, а все. Начиная от тех минут, когда он робко позвонил и вошел, до тех, когда она стояла на вокзале, провожая глазами уходящий и вдруг плавно повернувший, исчезающий поезд.

## 8

Отставной полковник Андрей Павлович Кедров построил свой дом в двух километрах от поселка Скорино в тридцатых годах. Отставку он получил в положенное время и, надо сказать, не без внутреннего удовлетворения, потому что стал жить свободно, как ему давно хотелось. Свободно — это не значило лениво, ничем не интересуясь и думая только о том, как беспечально провести время. Свободно — это значило для него много читать и много работать руками. Он читал с толком, подолгу останавливаясь на любимых книгах. История страны, ее искусство и литература давно занимали его. Ему удалось купить «Русский биографический словарь» — редкое, необычайно интересное, хотя и незавершенное издание, и он прочел его от первой страницы до последней. Руками он работал не только для себя, но и для других. Сперва ставил скамейки в окрестном лесу, потом скамейки с навесом от дождя, потом шалаши — и все это на изрядном расстоянии друг от друга, основательно и добротно. Рядом с последним, дальним шалашом он поставил ясеневый столб, немного ниже среднего человеческого роста, по верхней части его прошелся топором и

два месяца я как-то... Ну, словом, все, что касается вас, меня не только интересует, но и волнует. И я... Можно мне задать вам один вопрос?

Она помолчала.

— Я догадываюсь, о чем вы говорите... По правде, я давно удивляюсь, что вы меня об этом не спрашиваете. Об Ирине?

— Да.

— Вот я и не знаю, что ответить вам. Дело в том, что это уж такое не мое...

— Тогда не надо.

— Нет, надо. Хотя это, в сущности, рассказать невозможно. Сравнительно недавно она была совсем другая.

Он чуть не сказал, что об этом как раз нетрудно было догадаться.

— Она всегда, с детства, была веселой, счастливой, спокойной. Даже решила учиться петь — ведь у нее редко встречающееся низкое, мягкое контральто. Вышла замуж за умного, талантливого молодого человека. Что он был очень талантлив и умен — в этом никто не мог сомневаться...

Пришло время спросить, что же все-таки случилось? Но поселок был близко, и разговор возобновился, когда они с тяжелыми сумками возвращались домой.

— Вышла замуж. И все было прекрасно... — неуверенно начал Андрей Павлович.

— Да. А через полгода после свадьбы овдовела.

Это было так неожиданно, что Андрей Павлович не удержался от горестного восклицания.

— Ее муж попал в авиационную катастрофу и сгорел.

— Почему же Роберт Ильич ничего мне об этом не сказал?

— Так и было условлено. Мы же не знали вас. Да и он познакомился с вами сравнительно недавно.

— Вы стараетесь не упоминать при Ирине об этом?

— Да. Вы же сами видите, в каком она состоянии.

Между матерью и дочерью были отношения подруг, ничего не скрывающих друг от друга, иначе двадцатидвухлетняя вдова не узнала бы об этом разговоре. Но вот узнала, и не только не рассердилась, но была, казалось, даже довольна. Может быть, она сама тяготилась своей замкнутостью, молчаливостью, своими «да» и «нет», когда он пытался робко завязать разговор, своей скупой благодарностью, когда на ночном столике появлялись уже не розы, а осенние цветы — флоксы и хризантемы.

И однажды она сама заговорила с ним о покойном муже.

Он был, оказывается, сибиряк, родом из Томска, и учился в Москве, в университете, на филологическом факультете. Это было давно, она была еще девочкой двенадцати лет. Сергей, сын Беклемишева от первого брака, учился вместе с ним, они были друзьями. И случилось несчастье. На четвертом курсе Виктора Верховского исключили. Поспорил с деканом, не сдержался, был оскорбительно груб.

Ирина замолчала и молчала долго. И Андрей Павлович не осмеливался первый возобновить разговор.

— Он уехал на родину в Томск, — задумчиво повторила Ирина, — и Ольга, кончив университет, присоединилась к нему. Но жили они плохо. Она постоянно ссорилась с его отцом, а он работал... Кем только он ни работал? Киномехаником, почтальоном. И писал.

— Писал?

— А вы этого не знали? Писал с пятнадцати лет. Стихи и прозу. Впрочем, его стихи похожи на прозу.

— И печатался?

— В том-то и дело, что нет. Но об этом потом. В Томске жена ушла от него, поссорились, а может быть, надоело полуголодное существование. Он приезжал в Москву в те годы, когда я кончала школу. Мы стали переписываться. Потом я поступила в университет, на исторический факультет. Занималась декабристами и поехала на практику в Томский музей. Мы встретились снова. А потом он приехал в Москву, и мы поженились. И скоро он полетел в Алма-Ату. В журнале «Простор» приняли — впервые — его прозу. Решил познакомиться с редакцией, чтобы показать



другие рукописи. Он уезжал расстроенный, грустный, точно предчувствуя, что я его никогда не увижу. Но, может быть, мне так думается теперь, когда я знаю, что все кончено, навсегда, навсегда.

## 9

Уже глубокая осень разгулялась в лесу, лиственный лес потерял свое разноцветное убранство, дубы угрюмо замкнулись в себе, бесстрашно подставляя ветру и дождю почерневшие ветви. Беседы были теперь короткие — каждый раз Ирина с трудом перебиралась через какую-то неведомую преграду, может быть, потому, что, в сущности, это была не история Виктора, а ее история.

Теперь она иногда выходила, и всякий раз ее сопровождал Лис, который так привязался к ней, что иногда сам вызывал ее на прогулку, — подолгу стоял под окном ее комнаты, вопросительно подняв свою огромную, лохматую, грозно-добродушную львиную морду. И всякий раз Андрей Павлович напрасно надеялся, что Ирина предложит ему присоединиться. Она молчала. Она не могла или не хотела разрушать одиночество, грозно обрушившееся на нее и сломавшее ее жизнь. Она могла заставить себя рассказать о том, что случилось с Виктором, но о том, что случилось с нею, не в силах была никому рассказать — ни матери, ни подруге. И уж конечно, не милому отставному полковнику, который — в этом не было никакого сомнения — относился к ней внимательно и радушно. Но она знала, что этот отставной полковник чувствует это «никому», и в ответ что-то отзывалось в Ирине, что-то безмолвно перелетало из одной души в другую.

А иногда Андрей Павлович рассказывал о себе. Жизнь была перепутанная, сложная, шаткая. С неуверенностью, отзывчивостью, доверчивостью приходилось бороться. Он преподавал в Академии и, хотя мог остаться в Москве, в сорок втором году попросился на фронт, получил полк, воевал под Сталинградом, участвовал в битве на Курской дуге и дважды был ранен.

К Ирине иногда приезжала ее единственная подруга Лена Оленина, и тогда к разговору присоединялась Любовь Михайловна, у которой тоже было о чем рассказать.

## 10

В Москву они ездили редко — Любовь Михайловна за пенсией (квартира оставалась под присмотром Настасьи Петровны). А Андрей Павлович — тоже за пенсией и за лекарствами для Лиса, который стал часто болеть. Зимой он возобновил свои лыжные прогулки. И встречи с москвичами, отдыхавшими в его шалашах, возобновились, но почему-то беглые, не такие, как прежде. Впрочем, нетрудно было угадать причину: жизнь стала значительнее, полнее, а эти встречи остались позади, как прочитанная книга, к которой не очень хотелось возвращаться. Полоса одиночества миновала.

Иногда в выходные дни к нему присоединялась Лена Оленина, ни ей, ни Любови Михайловне не удавалось уговорить Ирину, хотя она прекрасно ходила на лыжах. Но зато можно было поговорить о ней с Леной, а ему этого не просто хотелось, но хотелось давно и неудержимо.

Правда, Лена могла рассказать немногое, хотя дружила с Ириной со школьных лет. Она начала с того, что подчас Ирина неделями не хотела видеть ее, и подруга покорно исчезала, не требуя объяснений.

Андрею Павловичу не раз приходилось в жизни встречать легкомысленных, беспечных людей, но такой, как Лена, он не встречал. Она не жила, как другие, руководствуясь желаниями, стремясь к определенной цели. Она плыла, как лодка по неторопливой реке: без руля и весел, не заботясь, когда и куда забросит ее течение. Сама этого не замечая, она жила для других, думая, что живет для себя. Она кидалась к тому, кого слепо и незаслуженно наказывала судьба. Помочь она подчас ничем не могла, но именно в этих случаях ее участие было почему-то особенно необходимо. Но если могла, готова была все отдать — время, внимание, все душевные и физические силы. Постигшую Ирину беду она приняла как свою, переехала к ней, не расставалась с ней ни на минуту. Любовь Михайловна в эти дни лежала в больнице. Она заставила ее остаться жить,

рубанком. «Добро пожаловать» написал он на получившейся белой поверхности и, расписавшись, поставил дату. «Был такой-то тогда-то». И, как он ожидал, вскоре под его фамилией появилась другая, тоже с датой, а под другой — третья. Все эти скамейки и шалаши составили круг, и надо было пройти километров шесть, чтобы добраться от первой до последней. И постепенно москвичи, приезжавшие отдохнуть, перезнакомились друг с другом и, разумеется, со строителем, потрудившимся, чтобы украсить их отдых. Так получилось, что круг знакомых, который едва ли мог возникнуть в Москве, собрался здесь, в этом просторном, чистом лесу, с раскинувшимися зелеными полянами, с оврагами, скрытыми за кустарником, с узкими просеками, за которыми просматривались казавшиеся таинственными дали. Кто только не приезжал сюда! И отслужившие полусотлетнюю службу моряки, и любители-художники, и пальцем о палец за свою жизнь не ударившие и тем не менее величественные дамы.

Андрей Павлович был легкий, худощавый и, если бы не седая бородка и седой, непослушный кок на голове, ему нельзя было бы дать более пятидесяти пяти, особенно зимой, когда с одной палкой в руке, которой он как будто и не дотрагивался до земли, по им же накатанной лыжне в десять минут доходил до поселка.

Он жил один, хотя новые и старые знакомые не раз предлагали ему сдать хоть одну комнату из трех или хотя бы маленький мезонин с косым потолком — мезонин упирался в крышу.

Вставал он рано, варил овсянку себе и сенбернару Лису, которого не без основания считал своим лучшим другом. После завтрака летом ходил купаться в недалекий пруд с проточной водой, в который впадала безымянная родниковая речка. Потом читал, и это было не развлечением, а делом, к которому он приступал серьезно, неторопливо. Каждая книга была для него еще не решенной загадкой и одновременно открытием нового мира, с которым он знакомился с чувством признательности. Этот мир как бы сам шел ему навстречу, делясь с ним тем, о чем он до сих пор не имел никакого понятия. Конечно, это были не все книги, а такие, например, как романы Тургенева, которого он собирался прочитать и не мог, не было времени, едва ли не всю жизнь. Но какую бы книгу он ни читал, «Биографическому словарю» отдавался час, а то и два, каждый день.

Обедал и покупал газеты он в поселке и иногда задерживался подолгу, разговаривая с хозяйкой киоска, происходившей, как выяснилось, из рода Кропоткиных и, стало быть, дальней родственницей царской фамилии.

Жизнь его мало изменилась, когда в Скорине купил дом и стал постоянно жить доктор Роберт Ильич Розенталь — сдержанный, молчаливый человек, лет семидесяти трех, обожавший свою слепую жену, лишившуюся зрения в военные годы. Впрочем, только по неуверенности движений можно было догадаться о ее слепоте. Широко открытые, красивые серые глаза на первый взгляд казались живыми. Розенталь тоже был участником войны, и у Андрея Павловича было о чем поговорить с новыми знакомыми, тем более что вскоре выяснилось, что он после второго ранения лежал в полевом госпитале, которым руководил Розенталь, впрочем, недолго.

По вечерам Андрей Павлович слушал музыку по телевизору или проигрыватель, у него было много хороших пластинок.

Так шли дни, и однообразие их нисколько не утомляло его, а, напротив, чем-то даже нравилось, может быть, счастливым ощущением, оставшимся с детства, — ощущением, что ничто не повторяется, а все начинается снова.

На кухне у него висели ходики с маятником и кукушкой, и однажды кукушка, выскакивавшая каждый час, от души удивилась бы, если бы могла удивиться. Кухонный стол превратился в обеденный, и на самодельных табуретках появились, кроме хозяина, еще две женщины, молодая и старая. Молодая — стройная, рано начавшая седеть, с измученным лицом, всегда в черном платье, с печальными остановившимися глазами. И старая — высокая, гибкая, чем-то похожая на Ахматову, горбоносая, с лицом, еще сохранившим черты необычайной красоты, гордости и благородства.

Из трех комнат Андрей Павлович оставил себе только одну, а две другие отдал жильцам — этой пожилой женщине и ее дочери, по-видимому, больной или чем-то глубоко потрясенной. Она редко выходила к столу и проводила почти весь день лежа, одетая, на диване, либо с книгой в руках, либо повернувшись лицом к стене с закрытыми глазами.



Как же случилось это чудо, заставившее Андрея Павловича расстаться со своим одиночеством, которым он так дорожил? Чудо совершилось просто: доктор Розенталь попросил его сдать две комнаты Беклемишевым — своим старым и близким друзьям. Какие-то обстоятельства, о которых он почему-то не мог или не хотел рассказать, заставили Беклемишевых переехать из Москвы в Подмосковье. И жизнь переменилась. Больше он не ходил обедать в поселок. Любовь Михайловна покупала продукты, готовила, и они обедали вместе. Раз в неделю, вооружившись ведром воды, тряпками и пылесосом, она убирала дом, причем делала это незаметно, пока он гулял или ходил купаться.

Но что случилось с Ириной? Почему она редко выходила к столу? Почему постоянно молчала, а когда к ней обращались, прежде чем ответить, преодолевала себя?

Почему к ней никогда не вызывали врача, если она больна? Ведь эта необъяснимая, постоянная, глубокая, упрямая и, кажется, возрастающая подавленность называется депрессией и хотя с трудом, но поддается лечению. Почему в ее комнате не было даже обыкновенных, ни больших, ни маленьких ножниц? Впрочем, наверное, маленькие были и лежали где-нибудь, но он их не видел. Почему она носила свой халатик без пояса, а на стенах ее комнаты мать повесила ковры, а над кроватью толстую кошму? «Неужели она боялась, что ножницами Ирина может вскрыть вены, на поясе повеситься, а о стену разбить себе голову?» — думал Андрей Павлович.

Между тем что-то подсказывало ему, что это были напрасные опасения. В молчаливости, отчужденности Ирины была — так ему казалось — глубоко затаенная любовь к жизни, естественная в девушке, которой не минуло и двадцати двух лет. Быть может, она отстранялась от этого чувства, боялась или стыдилась его. Быть может, у нее не было воли, чтобы справиться с ним — иначе робкая тень надежды не пробегала бы по ее исхудавшему лицу с неожиданной седеющей прядкой над лбом. Пробегала и скрывалась, чтобы снова невольно мелькнуть. И снова исчезнуть, может быть, навсегда.

Поговорить с ней, узнать, почему она замолчала? Что тяготит ее? Какая внутренняя борьба заставила ее уйти в себя? Об этом нечего было и думать.

Он поступил проще — купил в поселке розы и как-то вечером, когда после душного дня она с книгой в руках вышла в сад, поставил розы на ее ночной столик. У него была изящная, но строгая ваза — подарок старой приятельницы, художника ломоносовского завода. Он опустил в нее розы, бросив в воду несколько таблеток пирамидона — слышал, что это хорошее средство, чтобы цветы не скоро увяли.

Утром она поблагодарила его, улыбнулась, и за этой полуулыбкой он вдруг увидел (или вообразил), какое лицо у ней было прежде, до той минуты или дня, когда это случилось. Что это — он не знал, но понял, что еще совсем недавно она была совершенно другой. Более того, он инстинктивно почувствовал, что ей хотелось стать другой, восстановив душевное равновесие, которое безжалостно отняла у нее судьба. Но, может быть, это только померещилось ему просто потому, что в последнее время он много думал о ней?

И после долгих размышлений он решил поговорить с Любовью Михайловной, хотя это было и неловко, и немного страшно. Но больше ничего не оставалось.

Однажды они пошли в поселок вместе, надо было запастись картошкой и другими овощами — жильцы попросили разрешения остаться на зиму, и он с радостью согласился. Любовь Михайловна получала большую пенсию за покойного мужа, Ирина работала в Историческом музее и вынуждена была — почему? — оставить работу.

— Извините, Любовь Михайловна, — сказал он после долгого молчания. — Боюсь, что с моей стороны бестактно спрашивать вас. Тогда вы откровенно скажите, и я замолчу. Это не пустое любопытство... Но за

как это ни было трудно. Принуждала есть, пить, двигаться, дышать — взялась же откуда-то настойчивость, страсть, воля. В «Войне и мире» Наташа железными руками обнимает мать, узнавшую о гибели Пети, не давая ей умереть от отчаянья — так поступила и она, вопреки тому, что вообразить ее такой было почти невозможно.

И ведь она была недурна. Круглое лицо, большеглазая, с завивавшимися колечками падавшими на лоб волосами и на первый взгляд созданная как раз, чтобы думать о себе, а не о других. Она нравилась, за ней ухаживали, но она только смеялась.

Ирина была моложе ее двумя годами, и, должно быть, Лене пришла пора подумать о замужестве. Но замужество, семья, дети — это было сложно, а она привыкла жить беспечно, не думая о завтрашнем дне.

Рассказывала она об Ирине много и с любовью. Она восхищалась ею — в этом не было никакого сомнения. Ей хотелось стать хоть немного похожей на нее — с ее определенностью, умом, внутренней собранностью, достоинством, вкусом, памятью. С ее прямотой. С ее душевным изяществом, любовью к людям, которой был нанесен такой незаслуженно тяжелый удар. И все это она понимала в ней, или, может быть, не очень понимала, потому что была не очень умна. О покойном муже Ирины она просто сказала, что он был гениальный писатель и что когда-нибудь его имя будет произноситься в одном ряду с Булгаковым. Он писал и стихи, и прозу.

— И я не понимаю, — сказала она, — почему Ирина держит его рукописи под замком и не пытается их издать, хотя этого, по-моему, не так уж трудно добиться.

Все это было преувеличением. Рукописи лежали в книжном шкафу, в комнате, которую Андрей Павлович уступил Ирине. В том, что Виктор был не гениальным писателем, а, вероятно, талантливым или даже только способным, Андрей Павлович не сомневался. Но действительно Ирина никогда не заглядывала в эти рукописи — почему? Почему не попытаться опубликовать произведения, которые Виктор Верховский сам, без сомнения, надеялся увидеть в печати? И Андрей Павлович решил поговорить об этом с Ириной.

## 11

Ирина покашливала, и, хотя мать уговаривала ее показаться доктору, твердила, что простужается по ночам, что кашель пройдет, когда она станет спать, закрывая форточку — и летом и зимой она спала с открытой. Но кашель не прошел, а еще усилился, когда форточка была закрыта. И домашние лекарства — перцовый пластырь, горчичники, молоко с медом — не помогали. Так прошло месяца три, и Андрей Павлович прямо с лыжной прогулки притащил своего приятеля, доктора Розенталя.

Тут уж отказаться было неудобно, тем более что доктор сам стал уговаривать Ирину, уверяя, что осмотр займет не больше пяти минут. Но осмотр затянулся, и через полчаса доктор сказал, что ничего особенного не находит.

— Конечно, надо полечиться, — сказал он. — Ингаляции, банки. Но вот откуда удушье после кашля, я все-таки не понимаю.

Он ушел, пообещав вернуться через неделю.

И вернулся, и снова осмотрел, не найдя никаких перемен. Впрочем, некоторые перемены — к худшему — были. Без всякой причины у Ирины внезапно начался и так же внезапно прошел сильнейший насморк. Для ингаляции надобно съездить в Москву, и раза два Андрей Павлович умолил ее поехать с ним, а потом Ирина решительно отказалась — после ингаляции ей, как это ни странно, становилось хуже.

Так продолжалось всю зиму — то становилось немного лучше, то хуже. Кашель продолжался, и выдыхать становилось все тяжелее. Ирина ослабела, похудела и перестала выходить — а в ту зиму стояли изрядные морозы, неизменно вызывая кашель.

Роберт Ильич стал своим человеком в доме. Андрею Павловичу он запретил курить, и это было не просто тяжело, а мучительно тяжело для него — он курил с шестнадцати лет и был страстный курильщик. Но доктор сказал, что чистый воздух в доме необходим и что табачный дым вреден для Ирины. Впрочем, потихоньку он курил в саду.



Она все это видела и понимала. Но чем она могла отплатить ему за все, что он делал для нее? Ничем, кроме такой же теплоты и отзывчивости. Но, может быть, он в ней не нуждается?

Прошла зима, лето, осень, опять нагрянула зима — да еще какая-то свирепая, с метелями, с ранними морозами, с глубоким голубым снегом, в котором потонуло все — и дом Андрея Павловича, и дорога к поселку, и сам поселок. Все стало трудно — и ходить в Скорино за покупками, и обогревать дом, который отапливался дровами.

Этот разговор произошел по дороге на станцию. Андрей Павлович провожал доктора, который шепнул ему, что хотелось бы поговорить с ним наедине.

— Скажите, Роберт Ильич, — сказал он, — и не посетуйте, что этот вопрос вам покажется несколько странным. Не связываете ли вы болезнь Ирины с трагической гибелью ее мужа? Дело в том, что у меня в годы войны был один подобный случай, о котором я вам как-нибудь расскажу.

— Связываю. Тем более что в моей жизни тоже был подобный случай, о котором я не как-нибудь, а сейчас расскажу.

Доктор помолчал.

— Один снабженец, человек пожилой, в 1943 году был послан в Сталинград с очень ответственным поручением. Обыкновенный человек не смельчак, но и не трус. Самолет несколько раз обстреляли, но это не произвело на него впечатления. Не испугался. Но на самом подходе к Сталинграду летчик предупредил, что шасси повреждено и посадка ничего хорошего не предвещает. Иными словами, что без аварии не обойтись. И мой снабженец снова не испугался. Но в нем, как он мне рассказывал, все остановилось. Он не чувствовал ничего — ни того, что происходило в нем, ни того, что происходило вокруг. Он окаменел и пришел в себя только после того, как опытный летчик умело посадил машину. И в дальнейшем все происходило так, как было намечено. Он выполнил поручение — очень опасное, между прочим. Благополучно вернулся в Москву, много, не жалея себя, работал, как тогда работали все. И вдруг, когда он уже и думать забыл об этом случае в самолете, его хватила астма, да такая, пример которой только в учебнике встретишь. Кашель с убийственным удушьем, головокруженье, слабость, от которой отнимаются ноги. Я его увидел в больнице, когда он был уже в другом состоянии — немного получше. Но интересно, что он сам поставил себе диагноз, связав болезнь с несчастным случаем в самолете. Конечно, он был не совсем прав, подобный случай мог только спровоцировать астму. Могли быть и наверняка были и другие причины. Но что-то мне подсказывает...

## 12

К лету — это был семьдесят третий год — у Ирины окончательно определилась астма. Был прописан интал — лекарство, на котором она продержалась еще полгода.

И все в доме остановилось. Жизнь сосредоточилась на болезни Ирины, которая с каждой неделей мучила ее все больше и больше.

Однажды она вышла прогуляться по лесу, и ее, задыхающуюся от кашля, привели под руки незнакомые люди. Это был тяжелый астматический приступ — так сказал Роберт Ильич. И было решено пригласить знаменитого врача — мага и волшебника, как называли его пациенты. Волшебник оказался маленьким, толстеньким, крепеньким, лысеньким, с крошечными, циничными, умными глазками, и запросил за поездку двести рублей, причем такси — девяносто километров от Москвы и обратно — оплатил тот же Андрей Павлович.

Маг и волшебник внимательно прочитал историю болезни, которую год тому назад завел Роберт Ильич, мельком взглянул на анализы и долго осматривал Ирину, заставляя ее ложиться, вставать и снова ложиться.

— У вас, конечно, нет гигрометра? — наконец спросил он.

Андрей Павлович знал, что это прибор для измерения влажности воздуха.

— Нет. Есть барометр.

Старенький, оправленный резной деревянной рамкой барометр, на который никто никогда не смотрел, висел в столовой под неоконченным пей-

зажем Андрея Павловича, последним, кстати сказать. С тех пор, как к нему приехали Беклемишевы, он не писал.

— Барометр не годится. Здесь, кажется, очень сыро,— сказал волшебник, распахнув окно, выходившее в сад.— Слишком сочная листва.

— Пожалуй,— ответил никогда не думавший о климате в Скорине Андрей Павлович.

— Да. И чем скорее уедет отсюда больная, тем лучше.

— А вы думаете, что это имеет значение?— спросила Любовь Михайловна.

— Может быть, и не имеет. Это неизвестно. А заводов поблизости от вас нет?

Сравнительно недалеко, в получасе ходьбы от поселка куда-то в сторону от грунтовой дороги уходила в неизвестность асфальтовая ветка, и два-три раза в месяц из этой неизвестности по ночам раздавался загадочный рев— очевидно, производились испытания каких-то моторов. Большой участок леса был обнесен дощатым забором.

— Вот видите,— сказал волшебник.— Завод. Словом, забирайте дочку и уезжайте. А мамашу оставьте стеречь дом. Собственный?

— Да,— разбитым голосом сказал Андрей Павлович.

— Хороший дом. Я был бы счастлив, если бы у меня был такой дом.

— Значит, уехать. Куда?

— Хорошо бы на юг Франции,— ответил доктор таким голосом, как будто до юга Франции было рукой подать.— Но это, по-видимому, сложно. Тогда в соляные копи в предгорьях Карпат. Лекарств много, но с их помощью вылечить больную я не берусь. Говорят, помогает иглоукалывание. Но одним помогает, а другим нет. Болезнь загадочная. Но ясно одно. Необходим чистый воздух. На горах под облаками. Или под землей. И еще одно. Но прежде уложим больную, которую я замучил... Нет, в постель,— сказал он, заметив, что Ирина собирается полежать на диване.

Любовь Михайловна предложила ему чаю, он не отказался, и за чаем состоялся разговор, доказавший, что внешность обманывает, и что знаменитый доктор совсем не такой плохой человек, как показался с первого взгляда.

— Любовь Михайловна,— сказал он,— я хочу вам сказать, что отнюдь не исключаю мнения врача, который до меня смотрел Ирину Львовну и составил, кстати сказать, умно и проницательно историю ее болезни. Смерть ее мужа вскоре после свадьбы, да еще такая страшная смерть, могла отразиться на ее здоровье. Не только в его практике, но у меня был такой случай. Правда, тогда человек заболел не через год, а через месяц, но мы еще так мало знаем о причинах астмы, что время, возможно, и не играет существенной роли. В самом деле, страшно подумать! Двадцати двух лет остаться вдовой, потерять любимого человека... Ведь она его любила?

— Очень. Просто души не чаяла. С детства. Они познакомились, когда ей было двенадцать лет.

— А ему?

— Двадцать.

— А почему она так долго ждала?

— Потому что он был женат на другой.

— Вот видите! Чем же были эти годы для такой страстной девушки, как Ирина!

Наступило молчание.

— А почему... Почему вы думаете, что она такая уж...— Любовь Михайловна не без труда выговорила это слово...— страстная.

— Да этого только слепой не увидит,— просто и добродушно сказал знаменитый доктор.— Не только по лицу, между прочим, своеобразному и красивому. Но по каждому движению, каждому слову. Именно к этому я и клоню. Перед ней вся жизнь. Что же, она так и останется вдовой? Ей нужно выйти замуж. И чем скорее, тем лучше. Очень нужно. Может быть, мы с вами, я не смеюсь, откроем таким образом еще одно лекарство от астмы.

Он сказал то, о чем Андрей Павлович думал тысячу раз. Вернее сказать, не позволял себе думать. Но не позволять себе думать это и значит думать— постоянно, мучительно, неотступно. Но между ними было почти сорок лет. Это было невозможно.



Провожая доктора, он хотел заплатить ему, но тот вдруг отказался.

— У меня много,— смеясь сказал он.— А у вас, по-моему, не очень. Так это, оказывается, не ваша дочка?

— Нет.

— А кто же? Племянница?

— Тоже нет.

— И вы так волновались, пока я осматривал ее. Побледнели. Кто же?

— Просто друзья.

— Просто друзья,— задумчиво повторил доктор.— Так, так. Ну, ладно. Желаю счастья.

## 13

Андрей Павлович любил говорить, что он не знает, что такоё скука. И действительно, то, что он почувствовал после отъезда Беклемишевых, нельзя было назвать скукой. Тоска навалилась на него, мучительная, терзающая, злая. Напрасно он пытался втиснуть себя в прежний образ жизни. Ничего не хотелось— ни работать в саду, ни гулять в лесу, ни вернуться к живописи— он попытался и бросил. Хотелось бродить по дому и думать. Вот тогда-то он и вырезал профиль Ирины на стекле и, действительно, перстнем, в который был вставлен большой, остроугольный алмаз.

Беклемишевы уехали, как и советовал доктор, в соляные копи в предгорьях Карпат, и Любовь Михайловна обещала писать. Но прошел месяц, а он получил только одну открытку, извещавшую о том, что они доехали благополучно, но что больных много и устроиться трудно.

Он проклинал себя, что не отправился с ними. Денег было маловато. Но можно было продать кое-что— тот же перстень. Мелькнула мысль: не продать ли дом, в котором теперь не могла жить Ирина? Но у него была лишь комната в коммунальной квартире. А, не все ли равно, только бы рядом с Ириной! Конечно, она в конце концов выйдет замуж, но он будет следить за ее жизнью, помогать ей, если придется трудно, будет как-то участвовать в том, что для нее станет важным, необходимым.

У Беклемишевых как раз была хорошая трехкомнатная квартира в Москве. Может быть, и для него найдется каморка. Приживальщик? И он с отвращением отбросил эту мысль.

Но вот пришла вторая открытка, на этот раз от Ирины. Все хорошо, она усердно лечится, и ей, кажется, стало лучше. Она скучает без него, без его рассказов, без его забот и внимания, которыми она так дорожила. «Дорогой мой Андрей Павлович»,— писала она. А через несколько дней он получил длинное письмо.

Пройдя в Ужгороде медицинскую комиссию, она поехала в поселок Солотвино, пробыла несколько дней в больнице, расположенной на возвышенности, и уже в больнице ей стало лучше. Приступов почти не было, и ей через три дня после приезда разрешили спуск в шахту, днем с двух до семи часов и ночью с восьми вечера до семи утра. Шахта находится на глубине трехсот метров — это гигантские туннели с ответвлениями, в которых вырублены ниши. В этих-то нишах и спят больные. Берется с собой сменная одежда и обувь, надевается каска (из предосторожности), каждому больному вручается лампа, питание.

Здесь Ирине надоели подробности, и она перешла к состоянию здоровья. «Сперва мне стало хуже, появился кашель, но врачи сказали, что это «положительный эффект», и я продолжала лечение. Короче говоря, пришлось спуститься в шахты, ни много ни мало, двадцать два раза. Надоело смертельно, и я бы давно уехала, если бы не чувствовала, что с каждым днем мне становилось лучше».

После каждого письма Андрей Павлович начинал (с чувством, близким к отчаянию) думать, как поступить, когда Ирина вернется. Дом придется продать, и сделать это было нетрудно— охотники нашлись бы даже среди знакомых, приезжавших отдохнуть в его шалашах. Продать— и он разбогател бы сразу, если бы на это решился. Сотрудники отдела страхования оценили дом в сорок пять тысяч, стало быть, он мог бы продать

его за девяносто пять, а то и за все сто. Его комната на Кропоткинской — просторная, светлая, с высоким потолком, в старом доме, с окнами, выходившими на зеленый двор. Это был даже не двор, а маленький сквер. Клены и липы, посаженные лет сорок тому назад, разрослись. Вдоль маленьких аллей стояли скамейки, играли дети, сидели старики. Кроме того, Андрей Павлович давно стоял в очереди на однокомнатную квартиру и, как ветеран, много раз награжденный, надеялся получить ее еще в этом году. Но где? Должно быть, в каком-нибудь из новых районов. А ведь он должен жить недалеко от Беклемишевых, чтобы каждый день видеть Ирину. А может быть, если осуществится его самая большая надежда...

## 14

Было на свете то, к чему, кажется, нельзя было прикасаться. Много раз Андрей Павлович открывал дверцы шкафа и смотрел на рукописи Виктора. Он смотрел на них как на что-то живое, страдающее, остро требующее помощи и так же остро отклоняющее ее, если прикосновение будет неосторожным.

Разумеется, страшно, что эти рукописи могут вернуть Ирину в тот круг мыслей и чувств, когда она думала, что жизнь кончена навсегда. Но жизнь продолжалась, и Андрей Павлович чувствовал, что теперь, в этой продолжающейся жизни рукописи Виктора могли занять свое место.

Он не ошибся. В ответ на письмо, в котором он просил разрешить ему заняться разбором бумаг, она не только поблагодарила его, но прибавила несколько слов, вернувших ему то, что он называл для себя «безнадежной надеждой»: «я буду чувствовать себя рядом с вами» — писала она.

Рукописи Виктора представляли собой сложный, разнообразный, рвущийся в будущее мир. Это были черновики рассказов, оконченные и неоконченные, письма из редакций, размышления, отзвуки споров, стихи. И чтобы внести в этот воспаленный мир ясность и порядок, нужны были, как показалось Андрею Павловичу, не месяцы, а годы. Он задумался. Не пригласить ли какого-нибудь помощника, знатока архивного дела? Нет. Тогда это будет сделано не рядом с Ириной, а рядом с чужим человеком, равнодушным к тому, что неразрывно связано с ней. И он принялся за дело.

Самое трудное было нарушить тот беспорядок, в котором оставил свои рукописи Виктор. Но Андрей Павлович сумел преодолеть это чувство. Для этого нужна была холодность или, по меньшей мере, игра в холодность, необходимая для того, чтобы взять себя в руки, взглянув на все, что ему предстояло, спокойным, полным здравого смысла взглядом. По-видимому, необходимо — он рассуждал, как бывший стратег, — прежде всего развести эту армию, состоявшую из многочисленных родов оружия, на батальоны. Письма — к письмам, стихи — к стихам, прозу — к прозе. Но это было не так просто, как казалось. Проза иногда переходила в стихи, а стихи в прозу. Перед батальоном писем он растерялся. Их, в свою очередь, надо было разбирать. Письма были деловые, литературные и, наконец, загадочные — к покойным друзьям.

Он вел дневник своей работы, и прошло не меньше месяца, прежде чем ему удалось уложить каждый батальон в отдельную папку. Это было сделано аккуратно. На корешок каждой папки он приклеил отрезок пластыря, чтобы можно было четко написать на нем название: «письма в редакции», «ответы». Восемнадцать папок выстроились на полке: целый архив. Отражение напрасных надежд, зеркало испытаний. Непроизнесенные речи, горькие оправдания. История борьбы против невежества, машинальности, зависти, злобы.

Письма Ирины из Москвы сохранились. Их очень много, она начала писать ему, когда ей было шестнадцать лет. Но у нее был неразборчивый почерк, мысль обгоняла слово, и прочесть эти письма было почти невозможно. В одном из них она упоминала об их встрече в Томске, в другом — что она ждет его приезда в Москву. А прочитав третье, написанное незадолго до свадьбы, он понял, что не имеет права читать эти письма. И он завел еще одну папку, наклеив на ее корешок надпись «личные» — знал, что, поступая так, он исполняет желание Ирины.



## 15

Он так волновался, когда ехал, чтобы встретиться с нею в Москве, что рассердился и в конце концов приказал себе успокоиться. И успокоился. И радостно удивился, когда Ирина, которая мыла пол в передней, встретила его с тряпкой в руках. Она была раскрасневшаяся, с мокрыми руками, в халате, с голыми ногами — и оба смутились, когда с радостно удивленным лицом Андрей Павлович появился в дверях.

Ирина поздоровалась, убежала и через минуту вернулась причесанная, в черном, нарядном платье. Она первая обняла его и ускользнула, прежде чем он поднял руки.

Любови Михайловны не было дома, они прошли в столовую, она усадила его и почему-то зажгла люстру, хотя в столовой было светло. Все как-то сдвинулось, и потерялось, и снова нашлось в полном незнании, о чем говорить и как рассказать, потому что всего было так много, что ни сказать, ни рассказать было невозможно и в тысячу лет.

Может быть, именно потому ему и не показалось странным, что в освещенной солнцем столовой Ирина прибавила еще электрический свет.

Но потом она спросила «чай или кофе?» и сказала, что она сама еще не завтракала, оба стали успокаиваться и после первых неловких, бестолковых фраз, после минуты радостного сознания, что разлука кончилась, начался разговор.

Андрей Павлович сказал, что ему было страшно представить себе, как она спускается под землю, на глубину триста метров и лежит в незакрывающейся нише, когда рядом, в других нишах лежали другие, чужие люди.

— И мне сперва было страшно. Но вокруг было много больных детей, я думала о них, о вас, и что надо поправиться, и перебирала в памяти ваши письма, спасибо, что вы мне так часто писали. И засыпала, и, может быть, никогда так крепко и сладко не спала, только в детстве. Чистый воздух, даже не чистый, а какой-то пречистый — вы не можете себе представить, что это такое. И какое счастье глубоко, свободно дышать, ведь мы этого никогда даже не замечаем. Обыкновенное, машинальное чувство, не знаю, как объяснить, становится счастьем и таким не знающим себе равного событием, таким чудом, о котором рассказать невозможно. Ведь нельзя передать восторг дыханья, правда? А там чувствуешь этот восторг, и от него все в мире становится крылатым, прозрачным. Я стала поправляться так быстро, что врачи удивлялись, наверно, у меня была все-таки легкая форма. Конечно, они предостерегали, что нужно быть осторожной, бояться простуды, сырого воздуха, почему-то нервных потрясений. Я потом поняла — почему. А теперь расскажите, что делали и как жили без меня? Скучали?

Андрей Павлович засмеялся.

— Нет, совершенно не скучал. Напротив, радовался, что вы наконец уехали, и был очень доволен. Так доволен, что додумался до решения продать дом и переехать в Москву.

— Поближе к нам? — нисколько не удивившись, спросила Ирина. — Потому что в Скорино сыро и мне теперь нельзя жить у вас?

— Вы знаете, что у меня на Кропоткинской хорошая комната в коммунальной квартире. Кроме того, я в очереди... — И он рассказал Ирине о своих жилищных делах.

— Да, господи, к чему вам все это? Мы говорили с мамой. У нас прекрасная большая квартира. Живите у нас!

От радости краснеют или бледнеют. Андрей Павлович покраснел и смутился, как будто ему только что минуло семнадцать.

— Ну что вы! Ни в коем случае! Я вас стесню. Неудобно.

Он споткнулся на каком-то слове и забормотал, не помня и почти не понимая себя.

— Почему неудобно? — спокойно спросила Ирина. — Вот мы в Скорине вас действительно стеснили. У нас, после кончины отца, не было никогда таких близких и, можно даже сказать, ближайших друзей. А дом вовсе не следует продавать. Прекрасный дом. Зимой вы будете ездить туда и ходить на лыжах. Может быть, и мне когда-нибудь позволят там жить. Нет, это решено. Да вы и не откажетесь.

— Почему?

— Потому что я не позволю вам отказаться,— ласково и одновременно властно сказала Ирина.— И потом, посудите сами. Мы с мамой две одинокие женщины, и это даже необходимо, чтобы вы с нами жили. Вы кто, генерал?

— Полковник.

— Но, кажется, командовали дивизией?

— Недолго.

— Вы себя не цените! Совсем другое дело, когда рядом с тобой, в соседней комнате живет командир дивизии! Ну, что? Недурно я распорядилась вашими делами? Ведь я деловая, вы еще меня не знаете. Между прочим, меня и на работе ценят, потому что я деловая. А теперь самое важное. Вы мне писали о рукописях Виктора, но кратко, и я понимала, что об этом невозможно написать подробно. Расскажите, что вам удалось.

— Если взвесить, что еще надо сделать,— сказал Андрей Павлович,— можно сказать, почти ничего. Я прочел его письма, да и то далеко не все. Одно для меня ясно: я врезался в его переписку, да так, что иногда начинает казаться, что он — это я и что моей рукой написаны эти умные, смелые письма. Вашу переписку с ним я, разумеется, не стал читать...

Теперь Ирина смутилась и покраснела.

— А сложил вместе и поместил в отдельную папку... Он отвечал, защищая свои рукописи. Его письма напоминают оборону, умело расположенную, сильно укрепленную. Но все, что я говорю,— холодные слова, которые почти ничего не значат. В них нет страсти, а всеми его письмами управляет высокая, полная разума страсть. И только в последних, пожалуй, чувствуется некоторая усталость. Трудно каждый день бороться с невежеством, равнодушием, трусостью, наконец, просто с глупостью, от которой опускаются руки. Стихи его мне не очень нравятся, но в поэзии я, кажется, ничего не понимаю.

— Нет, понимаете. Вы, например, любите Иннокентия Анненского. Вы знаете наизусть многие стихотворения Фета.

Пришла Любовь Михайловна, и разговор повторился в общих чертах, но, впрочем, с одной весьма существенной поправкой. Ирина в ближайшие дни возвращается на работу, стало быть, она может помогать ему только вечерами и в выходные дни. Причина на первый взгляд была не очень серьезная, ведь в немногие дни и даже часы она по вечерам могла бы сделать немало. Но Любови Михайловне не очень хотелось (это не было сказано, но чувствовалось, и так отчетливо, что Андрей Павлович не мог ошибиться), чтобы Ирина вместе с Андреем Павловичем занялась рукописями покойного мужа. Что-то как бы прошло между ними, может быть, чувство, что ей нельзя возвращаться к прошлому, потому что прошлое никуда не ушло и еще придется долго жить с ним, может быть, годы. И что надо на время отстранить его и не позволить распорядиться Ириной.

— Когда Андрей Павлович кончит работу,— говорила Любовь Михайловна Ирине,— он переедет к нам, это решено, а до тех пор будет приезжать по субботам и оставаться до понедельника. И ничего не надо менять, ни комнату на Кропоткинской, ни очередь на квартиру. Там будет видно, а пока не нужно торопиться, а внимательно проверить себя,— загадочно кончила она, как-то умудрившись посмотреть одним взглядом и на Андрея Павловича, и на Ирину.

## 16

Легко было сказать — вернитесь к рукописям, но нелегко вернуться, когда в ушах звенит ласковый и решительный голос Ирины, сказавшей «живите у нас». Неужели возможно то, на что он не мог надеяться и что представлялось ему сказочным счастьем. Он приходил в отчаяние. Между ними было почти сорок лет, и ничего не значит, что он никогда не болел и последний раз — когда это было? — врач сказал ему: «Мне бы очень хотелось, чтобы у меня было такое же здоровое сердце». Он никогда не смотрел на себя в зеркало, а теперь стал смотреть каждый день. Кажется, еще вчера этих морщинок под глазами не было? Может быть, сбрить бородку? Нет, нельзя. Ирина станет смеяться, Любовь Михайловна как-то сказала, что бородка очень идет ему. Нельзя вернуть время, даже если он не чувствует себя стариком: «Ну, что ж, это прекрасно, но ничего не меняет».



Проклятое воображение рисовало ему, как он будет жить рядом с Ириной — и мучиться. Может быть, ему только кажется, что она любит его? Конечно, не любит. Просто привыкла к нему, оценила его как верного друга.

Он не знает ее, вот беда! Она вернулась совершенно другой, может быть, не до конца справившейся с горем, но сломившей что-то в душе, очнувшейся, почувствовавшей, что жизнь не кончена в 24 года.

С новой мыслью он вернулся к рукописям Виктора. Это был человек, которого она страстно любила. Андрей Павлович знал это, но только теперь остро почувствовал его присутствие в своих отношениях с Ириной. Он должен был узнать, каким он был, что написал, на что надеялся, почему не совершилось то, на что он рассчитывал, в чем был твердо уверен. Ирина страстно любила его, а Виктор? Не была ли его жизнь ничего не обещающей, отравленной неудачами, оскорбленной гордостью, полной разочарований?

Многое еще оставалось загадкой, которую тот не в силах был разгадать. Но одна, может быть, самая важная черта властно отодвинула все другие. Две позиции причудливо соединились в характере этого человека. Он упрямо сопротивлялся судьбе, пытавшейся сломить его как писателя, и сумел выстоять, как это ни было трудно. Но в жизни он был нерешителен, робок, не уверен в себе.

## 17

Неожиданно приехала Лена Оленина, к сожалению, не одна, а с молодым, красивым армянином, который смотрел на нее влюбленными собачьими глазами. К сожалению, потому что Андрею Павловичу хотелось поговорить с ней — и не об Ирине, а о Викторе, и, стало быть, все-таки об Ирине. Они втроем часа два ходили на лыжах. Армянин был представлен как органист и математик — две профессии, которые могли соединиться лишь в богатом воображении. Впрочем, Лена вскоре отправила его в поселок за хлебом — в Скорине выпекали очень вкусный ржаной домашний хлеб, и она всегда увозила его с собой. Она чувствовала, что Андрей Павлович не хотел, чтобы органист-математик присутствовал при их разговоре.

— Ирина скучает,— сказала она, когда они остались одни.

— О ком?

— А вы и не догадываетесь? Об одном молодом человеке.

Андрей Павлович понял, что она шутит, и все-таки побледнел.

— Ну, не очень молодом, но это не имеет значения. Средних лет. Успокойтесь. Она скучает без вас.

— Но что же делать? Любовь Михайловна считает...

— А вы найдите маму, которая бы не задумалась, узнав, что ее дочка собралась замуж за человека, который старше ее на тридцать лет.

— На сорок,— с отчаяньем сказал Андрей Павлович.— Она говорила с вами что-нибудь обо мне?

— Да. Передавала привет и сказала, что очень завидует мне. Я говорю: «Он приедет в пятницу». А она: «До пятницы тысяча лет».

— Так и сказала?

— Да. Между прочим, я заметила, что она может назвать меня дурой, а я ее — нет.

— Почему?

— Не знаю.

— Она говорила вам, что я разбираю рукописи Виктора?

— Да.

— Вы были знакомы с ним?

— Конечно.

— Расскажите мне о нем.

— Что же рассказывать? Грустный человек. Молчаливый. Можете не поверить, но мне всегда казалось, что с ним что-нибудь случится.

— Немного подробнее. Высокий, красивый?

— Среднего роста. Вам по плечо. Лицо худое. Но глаза... Наверно, у этого, фамилию забыла, которого сожгли на костре, были такие глаза.

— Кого только не жгли на костре! Давно?

— Не помню.

— В семнадцатом веке?

— Кажется.

— Джордано Бруно?

— Да. Если не ошибаюсь. Он даже лицом был на него похож.

— По-моему, портрет Джордано Бруно не сохранился.

— Нет, сохранился. Я где-то видела. А может быть, вообразила. Всегда какой-то бледный, измученный. Ирина просто сходила с ума. А я — нет. Я бы скорее в ее отца влюбилась.

О Льве Михайловиче Беклемишеве Андрей Павлович знал только, что он был знаменитым физиком, долго жил в Англии и даже выписал туда жену. Это было давно. Еще до рождения Ирины.

— Интересный?

— Мало сказать, интересный. Веселый, но как-то серьезно веселый. Правда, со мной он никогда не разговаривал, то есть разговаривал, но больше шутил. Иногда спрашивал, сколько двадцать на семь. Или девять на сорок. Я огорчалась. Настоящий академик, не липовый. Когда он с Виктором говорил, я не понимала ни слова. А Ирина, кажется, понимала. Вот и мой армянский мальчик! Ну, Сурен, купил хлеб?

## 18

Это был памятный день. Андрей Павлович застал Любовь Михайловну и Ирину в оживленном разговоре. Когда он вошел, обе замолчали, и он сразу понял, что разговор был тягостный, даже, может быть, ссора. С безотчетной уверенностью он почувствовал, что разговор этот был о нем, о его отношениях с Ириной. О «да», которое она, может быть, скажет ему, и о «нет», которое, как надеялась Любовь Михайловна, он услышит.

Андрей Павлович стал рассказывать о рукописях Виктора, и ему показалось, что и мать, и дочь слушают его с напряженным выражением. Что-то волновало их и не в прошлой жизни, а в сегодняшней, сиюминутной. «Поссорились», — подумал Андрей Павлович. И убедился в этом, потому что Любовь Михайловна внезапно оборвала разговор, простилась и ушла. Дверь хлопнула демонстративно. Но Ирина, казалось, только ждала этого ухода.

— Ну, а теперь вот что, — улыбаясь, сказала она. — Признаться, мне надоело так долго жить в разлуке с вами. Мы с мамой сидим по вечерам, как две совы — старая и молодая — и читаем или вяжем. И говорить не о чем. На работе у меня все двигается черепашьим шагом, хотя решено открыть Музей декабристов в Москве. Меня хотели снова послать в Сибирь, но я отказалась. Хорошо еще, что иногда Ленка забежит и расскажет, что она снова в кого-то влюбилась или не влюбилась. Словом, забирайте рукописи Виктора и переезжайте к нам. Я возьму отпуск, да у меня и отгулов накопилось порядочно. Кроме того, я еще не совсем здорова и могу рассчитывать на бюллетень. Буду сидеть дома и помогать вам. Все ясно?

Андрей Павлович засмеялся.

— Нет, не все.

Он поцеловал ее руку.

— Ириночка, мне трудно говорить об этом. Но я постараюсь одолжить у вас решительный тон. У меня все разложено — не по полочкам, а по комнатам. Перевезти все это в Москву — конечно, можно, но на это потребуется несколько дней. А во-вторых... Вы обдумали то, что Любовь Михайловна просила вас обдумать?

— Да.

— Надеюсь, что вы не убеждены, что у меня без вас будет легкая жизнь?

— Не убеждена. Напротив, трудная. Как у меня без вас. Даже труднее.



Эти слова значили многое. Эти слова зачеркивали то, что мучило его безжалостно, беспрерывно, безотчетно, каждый день и час. Труднее, потому что она молода.

— А Любовь Михайловна?

— Она все понимает. Но вы не думаете, что командовать дивизией легче, чем мной?

И она быстро обняла его, поцеловала и оттолкнула.

Это было трудно — кончить наспех разборку рукописей Виктора. И несколько дней — даже этот далекий от вечности условленный срок показался ему бесконечным. Ответы от редакций — всегда отрицательные, но подчас сопровождающиеся безграмотными советами — соединить было легко. Но черновики рукописей, отрывки каких-то размышлений, черновики рассказов — свалить все это в чемодан, не отделив друг от друга, это значило погубить работу, отнявшую у него немало труда. Он и прежде спал мало, а теперь стал спать еще меньше. Ему казалось, что он схватился один на один с бурей чувств, впечатлений, мыслей. Ведь он не позволял себе пробежать, просмотреть, прочесть по диагонали ни одно письмо, ни одну, даже беглую, оставленную «на потом» страницу. Прошлое уже превратилось для него в настоящее, и он бережно держал его в своих старых руках.

Уже в конце первой недели ему стало ясно, что он не уложится в условленный срок. Ну, что ж! Можно в отдельный чемодан сложить всю оставшуюся неразобранной часть архива. Это было решено, когда в один особенно утомительный день он прилег на минуту и проспал, не просыпаясь, восемь часов.

И он стал работать не торопясь.

## 19

Ничего не переменилось, когда он переехал к Беклемишевым. И все переменилось после того, как на другой день — это была суббота — Ирина остановила его, когда он раскрыл чемодан, в котором лежала неразобранная часть архива.

— Нет, Андрей Павлович, — сказала она спокойно, — Прежде чем мы займемся рукописями Виктора, я прошу вас прочитать мой дневник. Правда, он в беспорядке. Я записывала не каждый день, а иногда раз в месяц. Но для меня очень важно, чтобы вы узнали, о чем я думала, на что надеялась, словом, как я жила до встречи с Виктором...

Это был длинный, необычного формата альбом в синем переплете. От одной даты до другой проходили не месяцы, а годы, и он прочел дневник в два часа. Но еще два он просидел над ним, возвращаясь к страницам, которые его особенно поразили.

Она была беспечной девочкой, не думавшей о завтрашнем дне. Она отстраняла от себя все, что мешало ей наслаждаться жизнью. Она была насмешливой до жестокости, избалованной до полной душевной слепоты. Она была равнодушна к матери и обожала отца, который покорно исполнял каждое ее желание, делал ей дорогие подарки. Она ни в чем не знала отказа. И она стала другой не тогда, когда Виктор полюбил ее, а когда она его полюбила. Вот тогда-то и начались необратимые душевные перемены. С его гибелью она потеряла себя, вся ее внутренняя жизнь изменилась, преобразилась, опустошилась.

Он был слишком взволнован, чтобы в этот день встретиться с ней. Прочитав дневник, он еще долго сидел над ним, перечитывая некоторые записи и размышляя.

Она изменилась. Стала сдержанной, вдумчивой, молчаливой, неторопливой. Она сумела устоять перед непоправимой, бессмысленной катастрофой. «И может быть, — думал он, — мое отношение к ней, моя любовь, которую я не в силах утаить, помогла этому душевному выздоровлению».

Он вернул дневник. Они не говорили о нем. Зачем? Все было ясно. Счастливая судьба отдала ее ему в руки, и он намеревался бережно сохранить этот бесценный подарок.

20

Это были два счастливых года. Каждый вечер приходил кто-нибудь из друзей Андрея Павловича по войне, по Академии, с одним из них он даже сидел за школьной партой, а другой, когда Ирина спросила его, участвовал ли он в войне, спокойно ответил: «Гражданской». По праздникам из почтового ящика сыпались открытки, кончавшиеся словами: «С боевым приветом».

Они часто бывали на концертах, слушали Рихтера — оба любили музыку и в особенности немецких романтиков. Они слушали музыку Шостаковича, чувствуя, что нужно много и часто слушать, чтобы понять и полюбить ее трагизм, ее иронию, ее вынужденную беззаботность.

Они бывали в театрах — в «Современнике» и на Таганке и разошлись во мнениях по поводу спектакля «Добрый человек из Сезуана». Ирина была в восторге, а Андрей Павлович утверждал, что в сравнении с Мейерхольдом это — второстепенный, подражательный спектакль. Он не старался сгладить разницу лет между собой и Ириной и только рассмеялся, когда, уезжая из Коктебеля, где они провели целый месяц «дикарями», соседка спросила Ирину: «И дедушка с вами?» Ирина, кажется, немного смутилась, но потом сказала: «А ведь верно, Андрей, ты для меня и дед, и отец, и муж».

Это было время узнавания друг друга, когда они чувствовали, как важно ничего не утаить, открыться полностью, вспомнить и рассказать друг другу всю жизнь с первых лет пробуждающегося сознания. Андрей Павлович понимал, что мало было любить Ирину, как он никогда никого не любил, надо было еще завоевать ее, преодолеть то, что вольно или невольно разделяло их. Между ними было четыре десятилетия, об этом он не хотел и не мог забывать. Перед первой встречей с ней он как бы подвел итог своей жизни. Это было одиночество да удавшиеся попытки украсить его — и больше ничего. Надо было в новой жизни оценить это прошлое. Он не мог отрешиться от него, не рассказав его Ирине. Ему все вспоминалось одно стихотворение Тарковского, которого он считал нашим лучшим поэтом. Оно называлось «Вещи».

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось.

Но для него прошлое отделилось не смертью, а новой, неузнаваемо изменившейся жизнью.

Лена Оленина вышла замуж за молодого ученого, который занимался такой сложной наукой, что даже название ее выговорить было невозможно. Понравился он ей тем, что в то время, как все другие знакомые «мальчики» (как она независимо от возраста их называла) были влюблены в нее, он не обращал на нее никакого внимания. Андрей Павлович серьезно утверждал, что женился он по рассеянности, а женившись, долго думал, как и почему это случилось.

Кукушка, висевшая теперь в Москве у Беклемишевых, стала надеяться, что вскоре она увидит за столом не трех, а четырех человек. Ирина ждала ребенка. И трудно сказать, кто был счастливее всех — Андрей Павлович, которому могло лишь присниться, что придет сказочное время, когда он будет отцом, Ирина, уже почти потерявшая надежду стать матерью, или Любовь Михайловна, которая почему-то была уверена, что это событие никогда не случится. Недоволен был только знаменитый доктор, оказавшийся одиноким человеком и часто проводивший вечера в семье Беклемишевых-Кедровых уже как друг, а не врач. И недовольство его имело основание. Дело в том, что у Ирины возобновилась астма и в более тяжелой форме, чем до поездки в соляные копи. Приступы удушья становились все чаще, а сильный кашель, сопровождавшийся тяжелым удушьем, едва ли мог способствовать благополучному появлению ребенка на свет.



21

Это был запомнившийся разговор. Они вернулись из консерватории. В программе была Седьмая (Ленинградская) симфония Шостаковича. Они стали спорить о ней. Андрей Павлович сказал, что это не о войне, а о себе. Ирина вдруг попросила его рассказать то, о чем он никогда не рассказывал — как и почему он стал заниматься военным делом.

— Ведь ты какой-то невоенный. Правда, и не штатский. Откуда этот интерес к музыке, живописи, литературе?

— Не знаю. В детстве я хотел быть художником. Но потом стал читать о Нахимове, Скобелеве, Наполеоне и увлекся. Мне самому захотелось стать если не Александром Македонским, так по меньшей мере Барклаем де Толли. И потом — он засмеялся — мне нравилась форма.

Они поужинали, легли, но разговор продолжался. Обоим не спалось, хотя миновала полночь, о которой уже давно известили часы на кремлевской башне. Рассказывая Ирине историю своей жизни, он намеренно опустил военные годы.

— Почему? — спросила она.

И он объяснил, что, по его мнению, есть какая-то почти неуловимая грань между людьми, принимавшими участие в войне, и теми, кто не видел ее своими глазами. Каждый час человек чувствует возможность смерти, подавляет естественный страх или неестественное равнодушие. Только музыка или поэзия могут заставить почувствовать эту еле заметную грань.

— Мне подчас приходилось быть жестоким, даже беспощадным. Я прежде не знал, что способен своей рукой застрелить труса или самострела. Я не знал, что приказ может заставить меня сделать то, что мне и не снилось или могло присниться только в кошмаре. И что я сам могу отдать подобный приказ. Мне кажется, что любовь и ненависть, честь и бесчестье на войне были другими. Они были связаны с необходимостью каждый день, каждый час подавлять естественный страх, заставлять себя испытывать равнодушие к смерти. Все, что пережито на войне, нельзя передать теми же словами, которыми мы пользуемся ежедневно и ежечасно. Это — как музыка или поэзия, кажется, что не похоже, но пробиться через непередаваемость иначе нельзя. Вот Толстому в «Севастопольских рассказах» это удалось.

— А в «Войне и мире»?

— По-моему, нет.

Они помолчали.

— Лень спорить. А спать не хочется. Почитаем?

— Тоже не хочется. Просто помолчим.

— Ладно.

— А меня тогда еще на свете не было. — вдруг сказала Ирина. — Это странно, правда? Детство я провела с папой, мама тогда была увлечена живописью, и ей было как-то не до меня. Я приходила к нему, он писал, и мне ничего не надо было, только смотреть на него. И когда он укладывал меня и пел — тогда уж решительно ничего и никого не надо, только быть рядом с ним. Я потом это испытывала, только когда вышла за Виктора. Расскажи еще что-нибудь. Где твоя первая жена?

— Не знаю. В годы войны она перестала отвечать на мои письма, сошлась с каким-то спекулянтом, который был в конце концов арестован. А после войны посадили меня.

— За что?

Андрей Павлович засмеялся.

— Ты напомнила мне одну девушку, в которую я был влюблен еще до войны. Она тоже спрашивала: «За что?», и я однажды ответил ей: «А вот я знаю, но не скажу!»

— Но должна же быть какая-нибудь причина?

— Должна. Я сказал одному прохвосту, что «Как закалялась сталь» — плохая книга и что болезнь Николая Островского не имеет никакого отношения к литературе. Спокойной ночи!

И она ответила: «Спокойной ночи». Но они не уснули.

— А у нас с Виктором было совсем по-другому. Намолчалась за десять лет, пока была влюблена, а когда вышла за него, говорила, говорила

и говорила. О себе, о том, что у меня нет друзей, кроме Ленки Олениной, о том, что я почему-то всех отталкиваю, и казалось, что это не обо мне, а о нем. А потом однажды вот так же, как сегодня ночью, проснулась, а он не спит. Я спрашиваю: «Почему»? А он: «Некогда. У меня было неотложное дело».— «Какое?» — «Смотреть на тебя».

— Ты была счастлива с ним?

— Да. Но совсем не так, как с тобой.

И потом они долго лежали молча, чувствуя, что многое недоговорено, и мысленно бродя по этим недоговоренностям, как будто бессознательно выбирая то неотложное, что необходимо было сказать именно сейчас, этой ночью, когда кажется, что кроме них никого больше нет на свете. Не о том, что будущим летом они не поедут в Коктебель — далеко — и, может быть, проведут два летних месяца в Архангельском, о котором Андрей Павлович рассказывал с восторгом. В Архангельском, бывшем имении Юсуповых, был дом отдыха ветеранов войны. Но Ирина чувствовала, что за этими разговорами пряталось то, о чем надо было непременно сказать, и именно сейчас, когда они так близки.

— Ты не спишь? — спросила она, по дыханию поняв, что он тоже не спит.

— Нет. Все думается.

— И мне думается. И знаешь, что я давно хочу сказать тебе. То есть с тех пор, когда с нами случилось то, что случилось. Мы виноваты. Мы не должны забывать о Викторе. Он и есть то, что он сделал. И надо заняться тем, что он сделал.

— Да. Завтра я вернусь к его рукописям. Дать слово?

Но прошло немало событий, больших и маленьких, счастливых и несчастных, прежде чем он сдержал свое слово.

## 22

С рождением сына начались совсем другие, но тоже счастливые годы. Кукушка вдруг перестала выскакивать из своего расписного ящика в положенное время, и пришлось уговаривать знакомого часового мастера, чтобы он ее починил. И возился он с починкой так долго, что когда эта работа была наконец закончена, кукушка увидела за обеденным столом уже не трех, а четырех человек. К семейству Беклемишевых-Кедровых присоединился двухлетний мальчик, которого назвали Виктором. По мнению друзей и знакомых, он был похож на отца, а по мнению родителей — на мать. У него было темное узкое живое личико, темные выразительные глаза и на верхней губе темное родимое пятнышко. Вот это пятнышко и делало его похожим на мать, хотя у Ирины оно было почти незаметно.

## 23

...Летом 1979 года Москва была охвачена гриппом, занесенным, по слухам, иностранцами, приехавшими на какой-то спортивный праздник. Не миновал он и семьи Беклемишевых-Кедровых. Первым заболел Андрей Павлович, отделавшийся от болезни сравнительно быстро, потом Любовь Михайловна, которая две недели пролежала в постели с высокой температурой, а потом Ирина, ухаживавшая за матерью, несмотря на то, что муж уговаривал — и уговорил ее пригласить опытную медсестру, ту Клавдию Петровну, которая некогда рассказывала, что пульс Льва Сергеевича остановился у нее под рукой. Ирина согласилась, сестра переехала к ним, бодрая, краснощекая, коротенькая, добродушно-строгая и мигом взявшая в свои коротенькие ручки весь дом. На Андрея Павловича она надела толстую марлевую повязку, а Ирину с мальчиком собиралась отправить в комнату на Кропоткинской. Но когда все было готово к их отъезду, заболела Ирина, маленький Витя был отправлен к Лене Олениной, бесстрашно, едва ли не каждый день, посещавшей подругу.

Все эти годы Ирину не оставляла астма, но приступы были легкие, и она короткими вдыханиями какого-то лекарства, которое постоянно носила с собой в сумочке, мгновенно справлялась с ними. Но на этот раз, когда она заболела гриппом, лекарство перестало помогать, и первый же



приступ оказался таким продолжительным, что она с трудом пришла в себя после жестокого удушья.

Первое время доктор Розенталь, присматривавший за домом Кедрова в Скорино и часто приезжавший, чтобы навестить друзей, снимал эти приступы вливанием какого-то препарата. Но когда начались частые и тяжелые приступы, он решительно потребовал, чтобы Ирину положили в военный красногорский госпиталь, к которому был приписан отставной полковник Андрей Павлович Кедров.

В Красногорске, промышленном городке недалеко от Москвы, заводы находились далеко от госпиталя, стоявшего в яблоневом саду. Такие толстые старые яблони с кругло-шершавыми буграми на почерневших стволах Кедровы видели только в Ясной Поляне, куда они поехали, чтобы побывать в доме Толстого и поклониться его могиле. Вокруг многоэтажного здания шла прогулочная тропа длиной ровно в один километр. Но пройти вдоль этой тропы не довелось Ирине.

Ирину сразу отправили в отделение, где лежали легочные больные и астматики и где она оказалась в одной палате с полной седой женщиной, вдовой адмирала. Впрочем, после первой же ночи, которую эта вдова провела без сна, их разлучили — Ирина не могла удержаться от кашля. И начальник госпиталя разрешил Андрею Павловичу в любое время посещать жену и даже оставаться на ночь. Без сомнения, только взглянув на него, этот добрый человек, старый моряк, подумал, что скоро и мужу придется воспользоваться госпитальной койкой.

Андрей Павлович, измученный, похудевший, постаревший, метавшийся между сыном и женой, перестал есть и спать, несмотря на настояния Любови Михайловны. Впервые в жизни у него начались сердечные перебои.

То лучше становилось Ирине, то хуже. Почти неделю не мучили ее приступы, и появилась надежда, что она — не так скоро, как хотелось бы — все-таки вернется домой. Лучше становилось, когда врачи стали применять какое-то лекарство, которое (как понял это Андрей Павлович из их разговора) опасно было применять долго и в больших дозах. Оно вызывало побочные явления, далеко не безразличные для здоровья — явления, которые трудно было предугадать. И лекарство (оно называлось преднизолон, это было единственное название, которое запомнил Андрей Павлович) помогло Ирине. Она стала чувствовать себя гораздо лучше. Тяжелые приступы скоро прекратились, легкие стали мучить ее гораздо реже, чем прежде. Она порозовела, появился аппетит. Ей разрешили короткие прогулки, а через месяц-другой Андрею Павловичу показалось даже, что она немного пополнела. Но выписаться и вернуться домой все-таки не разрешили. В один из таких хороших дней Андрей Павлович предложил ей пойти в кино. Был объявлен старый фильм Чаплина «Золотая лихорадка». Он его видел и помнил. Фильм был очень смешной. Но его почему-то в последнюю минуту заменили другим, о котором Андрей Павлович слышал только, что Чаплин играет в нем совсем не смешную, а очень серьезную роль. Об этой замене объявили, когда Ирина и Андрей Павлович уже были в зале. И они решили остаться.

— Сто лет не была в кино, — сказала Ирина.

Фильм начинался сценой, где Чаплин хлопочет возле какой-то белой печки. Из этой печки валит дым, но какой-то странный, неприятно пахнущий дым. Очень скоро выясняется, что в печке горит тело женщины, которую он задушил. Более того, через несколько минут зритель узнает, что это не первая и не последняя жертва. Убийствами мосье Верду занимается, так сказать, профессионально. Он прикидывается влюбленным в какую-нибудь пожилую, но не желающую расставаться с молодостью богатую даму, и когда дело доходит до первой ночи, убивает и грабит ее. Когда это стало ясно, Андрей Павлович стал шепотом просить Ирину уйти из кино.

Она отказалась.

— Не могу, — сказала она, как будто речь шла не о кино, а о чем-то очень важном. Но и Андрей Павлович чувствовал, что уйти невозможно. Чаплин оставался Чаплином. Он смешон, когда скрывается от очередной влюбленной в него пожилой невесты, но в этом смешном было что-то трагическое, заставляющее убивать, чтобы жить. И это становилось понятным,

когда зрители узнавали, что у этого смешного и страшного убийцы есть жена, которую он обожает. Она разбита параличом, не покидает передвижного кресла, у нее доброе, милое лицо, она по-детски радуется, когда он приезжает. Она не знает, какие дела (бизнес) заставляют его так часто отлучаться из дома. Андрею Павловичу в особенности запомнилась одна сцена: мосье Верду поднимается по лестнице в спальню, где его ждет очередная жертва — неприятная, угловатая, стареющая дама. Вечернее уходящее солнце освещает его. Он останавливается на площадке и смотрит на свою руку, расправляя и сжимая пальцы. Он смотрит на нее, как на что-то чужое, не принадлежащее ему, необходимое только для того, чтобы пустить в ход эти пальцы. Нетерпеливый женский голос зовет его. Он поднимается медленно, задумчиво, нехотя, но неотвратимо.

Наконец преступления открыты. Его пытаются схватить, и зрители теряются перед странным чувством — им не хочется, чтобы это случилось. Но счастливые случайности спасают его, и это тоже смешно и страшно. Умирает в поезде агент, арестовавший его и отравившийся ядом, который мосье Верду приготовил для себя. Он спасается, помогая наконец-то девушке — видно, что он, в сущности, простодушный, добрый человек. Наконец его хватают, может быть, потому, что он сам хочет быть схваченным. И приговаривают к смерти. Казнь не показана. Зритель видит его только в последние минуты. Но странно: это светлые минуты. И показаны они светло, с молитвенной чистотой, почти празднично. В его преступлениях виновато все человечество, и не его вина, а вина человечества карается казнью. Именно это и сказал Андрей Павлович, когда они вернулись в палату. Ирина промолчала. Он взглянул на нее и поразился: у нее было похудевшее, тревожное, озабоченное лицо. Именно озабоченное, это в особенности испугало его

— Ириночка, что с тобой? — спросил он.

— Ничего.

Она бросилась на кровать, лицом в подушку и заплакала так горько, так жалобно, как плачут несправедливо обиженные дети.

— Родная моя, что с тобой? Что случилось? — Он встал на колени, целовал ее руки, гладил по лицу, которое она прятала от него, целовал заплаканные глаза и просил сам не зная о чем, успокоиться, ответить.

— Что случилось?

И, не добившись ни слова, побежал за дежурным врачом.

Ирина уже не плакала, когда пришел толстый, равнодушный, заспанный врач. Что-то изменилось в его безучастном лице, когда он послушал сердце и потом почему-то долго смотрел в бледное лицо с остановившимися глазами.

— Она прежде жаловалась на сердце? — спросил он и, не дожидаясь ответа, приказал подошедшей медсестре — шестьдесят капель валокордина.

— Очень редко.

Врач помолчал.

— Что-нибудь ее взволновало?

— Да, может быть. Мы только что вернулись из кино. Смотрели Чаплина.

Медсестра принесла валокордин. Ирина выпила и повернулась к стене.

— У нее астма, — нерешительно сказал Андрей Павлович.

— Знаю. Я ее однажды смотрел. Нет, я ничего особенного не нашел. Разволновалась. Пульс сто тридцать.

Он прописал успокоительную микстуру и ушел.

## 24

Особенное началось на другой день. Ирина в первый раз заговорила о смерти.

— Ты знаешь, ведь я ее не боюсь, — сказала она вдруг на другой день, когда Андрей Павлович пожалел, что она не ушла из кино, когда выяснилось, что «Золотую лихорадку» заменили. — Конечно, жалко всех вас оставлять. Тебя, Витеньку, да и большого Виктора, ведь он, хотя и погиб, но всегда был со мною.



— Да о чем ты говоришь, Ириночка, родная.

— Не огорчайся, может быть, и не умру. Просто мне захотелось представить себе, если это случится. Рукописи его ты разберешь и, если можно, напечатаешь, в этом я ни минуты не сомневаюсь. Витенька вырастет и станет, как ты, высокий, добрый, красивый. Он уже и теперь на тебя похож.

Она рассуждала спокойно, неторопливо, серьезно, как будто речь шла о неприятном, но неизбежном деле.

— А вот с мамой плохо. У нее сердце больное.

— Ну, ради бога, — умоляющим голосом сказал Андрей Павлович.

— Хотя она сильная, железная... Молчу, молчу...

## 25

В годы войны Андрей Павлович лежал в полевом госпитале, в одной палате с однополчанином, заболевшим астмой на фронте. Он задыхался, как будто невидимая рука схватила его за горло. Что же должен был чувствовать Андрей Павлович, когда его молодая жена корчилась от кашля, судорожно сжимая на груди исхудавшие руки? Можно было сойти с ума, и он сошел бы с ума, если бы не заставлял себя надеяться, что придет время, когда оставят ее эти муки.

И к этому присоединилась необходимость лгать каждый день Любови Михайловне, которую доктор Розенталь уложил в постель с обострившейся недостаточностью сердца.

...Временами, когда приступы прекращались, Ирина успокаивала мужа, целовала его руку, которую он заставлял не дрожать, целовала его, и это были минуты, а иногда часы, в которые он с отчаяньем вспоминал все их недолгие, промелькнувшие счастливые годы. А иногда удушье мешало ей сказать хоть слово, и он спрашивал, стараясь удержать слезы: «Витенька? Мама?» Она отрицательно качала головой. «Что же? Что?» И у него сердце дрожало от своей беспомощности, от сознания своей вины перед ней. Да, он был виноват. В чем? Он терзался, не находя ответа. Все это тянулось долго, месяца два.

## 26

В этот день Роберт Ильич, навещавший Ирину в Красногорске, успокоенный вернулся домой. В Москве у него были дела, и поэтому он вернулся поздно. Его жена, Вера Павловна, уже начала беспокоиться. Лиса, которого они взяли к себе, когда Беклемишевы переехали в Москву, давно пора было кормить — его кормили два раза в день, и каша в тазике, на дне которого было сырое мясо, сваренная с утра, давно стояла на плите. Хотя недалеко от дома была его конура, но она боялась споткнуться во дворе и опрокинуть тазик. Уже много лет прошло с тех пор, как она освоилась со своей слепотой, читала по Брайлю, хозяйничала в доме, но выходить одна побаивалась — однажды упала и сломала руку. Кроме того, Лис, который любил лизать ее в лицо, мог положить свои лапы на ее плечи, и тогда она непременно хлопнулась бы на землю, как однажды едва не случилось, если бы не подоспел Роберт Ильич. Случалось, что Лис сам приходил за своей кашей, но в этот день он был непривычно скучный, редко выходил из конуры и не прогуливался важно вдоль забора с царственной ленцой, поглядывая на приходивших полюбоваться на него мальчишек.

Роберт Ильич сам беспокоился, он не любил оставлять жену так надолго. Наконец приехал, и Вера Павловна, как всегда, кинулась к нему — соскучилась за день. Они всегда встречались как после долгой разлуки.

— Ирине лучше — сказал он, целуя жену, и этими словами начался их обычный, никогда не утомлявший, не надоедавший вечер. Он отнес тазик с кашей Лису и вернулся озабоченный.

— Что-то с ним неладно. Не выбежал мне навстречу, даже не встал. На кашу только посмотрел, хотя должен бы, кажется, за день проголодаться. Боюсь, что снова заболел.

— Да нет. Просто заскучал. «Вся тварь разумная скучает».

— «Иной от лени, тот от дел» — отозвался Роберт Ильич.
— «Кто верит, кто утратил веру»,
— «Тот насладиться не успел»,
— «Тот насладился через меру».

Они любили так переговариваться стихами — и к случаю и без повода. Так участвовали в их счастливой жизни и Пушкин, и Блок, и Баратынский.

Поужинали, легли, уснули и глубокой ночью оба проснулись от громкого собачьего лая. Это был даже не лай, а тоскливый, хватающий за душу вой. Выл Лис.

— Что-то случилось, — сказала встревоженная, побледневшая Вера Павловна.

— Ничего не случилось. Заболел пес. Завтра надо вызвать ветеринара.

Роберт Ильич не стал одеваться. Накинул пальто на ночную рубашку и пошел к Лису.

Ночь была лунная, летняя, тихая. Казалось, что весь мир спокойно спит под этим лермонтовским темно-прозрачным, с говорящими друг с другом звездами небом. Не спал только Лис. Присев, ворочаясь, как будто было тесно его громадному телу, он закинул голову и выл. Роберт Ильич погладил его, потрепал, как это любил пес, за ушами, и с неожиданно охватившей тревогой почувствовал, что Лис, дрожа и переставая выть, прижался к его ногам. Он как будто искал защиты. От кого? От чего?

Вера Павловна оделась, вышла, и оба стали ласкать и успокаивать пса. Но он все выл. Утихал на минуту и снова тоскливо, уныло, томительно, горестно выл.

И так до утра.

## 27

В тот день, когда ее навестил Роберт Ильич, Ирине стало лучше. Она поговорила с ним, передала привет Вере Павловне, спросила, как Лис, верный друг, по которому она скучала. К вечеру она спокойно уснула, и Андрей Павлович, измученный после нескольких тревожных ночей, тоже задремал у ее постели. И вдруг очнулся, может быть, от усилия, заставившего его оборвать страшный, болезненно-ясный сон. Ему приснились повешенные партизаны. Это было в Белоруссии, когда его солдаты выбили немцев из какой-то деревни — он старался припомнить название и не мог. Они висели на толстой перекладине, переброшенной от одной березы к другой, тощие, голые, жалкие, одни низко опустив голову, другие высоко закинув ее. Один крепко зажал челюсти, другие с вывалившимися языками.

Палата была уже освещена, и ему показалось, что Ирина спокойно спит, положив поверх одеяла протянутые руки. Нет, не спит, глаза открыты. Он наклонился к ней, прислушался, встал на колени, приложил ухо к груди. Сердце не билось...

Был мрак в глазах, было беспамятство, были напрасные усилия выкарабкаться из-под какого-то навалившегося на него огромного камня. Были какие-то люди, показавшиеся ему незнакомыми, хотя он видел их каждый день. Они тревожно перешептывались над ним, и все вокруг было темно, хотя прошли часы, давно, давно уже должен был наступить день. Надо было что-то понять, но нельзя понять, просто потому, что понять это было невозможно.

## 28

...Никто не знал и не мог узнать, как Андрей Павлович перенес кончину жены. Он замолчал. На его исхудавшем, постаревшем лице установилось строгое, мертвенно-неподвижное выражение. Он не плакал. И когда Ирину хоронили, и надо было поблагодарить друзей, пришедших ее проводить, он насилу выдавил из себя несколько бессвязных слов. Голос прервался на полуфразе.



Он перестал спать, хотя несколько ночей были проведены в кресле подле умирающей Ирины. Он ослеп и оглох для всего, что происходило вокруг, может быть, для того, чтобы легче было справиться с тем, что происходило внутри. Но внутри тоже была немота и глухота, неподвижная, задохнувшаяся, заледеневшая, пустая, как будто с той минуты, когда он упал на колени у постели Ирины, он так и остался на коленях, у него не было сил подняться.

Все, что нужно было сделать, когда умирает близкий человек, сделали без его участия. Трудно было достать место на Ваганьковском кладбище, возле могилы старшей сестры Ирины, скончавшейся ребенком, но Сергей дал кому-то четыреста рублей, и место нашлось. Лена Оленина наняла женщину для ухода за могилой. Как после смерти отца, на горе свежей земли осталась гора цветов. Все ушли. Андрей Павлович попросил подождать его у ворот. Он остался один. Нет, не один, с Ириной. Закрыв глаза, он долго стоял у могилы. Вот когда начались проводы, вот когда началось торжественное прощание, наедине. Навсегда. Непоправимо. В безмолвном, последнем разговоре. Без единого слова, лицом в могилу, в цветы, при свете мягко угасавшего погожего дня. Вот когда во всей черной ослепительной полноте представилось ему покинувшее его непостижимое, неизъяснимое, просветленное, нежное счастье. Не плакать. Не жаловаться. Не умереть. Тебя ждет сын. Не плакать. Тебя ждет все, что написал Виктор Верховский. Дела много. Но как сладко вдоволь наплакаться у могилы в этот мягкий погожий осенне-летний денек.

## 29

Любовь Михайловна мужественно встретила кончину дочери. В эти дни Андрей Павлович узнал, что у Ирины была старшая сестра, умершая десяти лет от скарлатины. Он и прежде высоко ценил ее твердость, ее умение овладеть собой, сдержанно оценить и счастье и несчастье, ее характер женщины, перенесшей с детских лет много испытаний. Она рано потеряла мать, два ее брата погибли на войне, в годы войны работала во фронтовом госпитале, где десятки смертельно раненных умирали у нее на руках. Трудно было взять себя в руки после несчастья, от которого не в силах был оправиться и знал, что никогда не оправится, Андрей Павлович, но ей это удалось. У нее был внук, ради которого стоило жить, и даже не просто жить, а, не теряя ни часа, заняться им. Андрей же Павлович лежал, отказываясь от помощи врачей, лежал молча, с измученным, неузнаваемо изменившимся лицом, не плача, хотя, если бы он мог плакать, ему, может быть, стало бы легче. Еще не найдено лекарство от отчаянья, но если бы его нашли, он не стал бы его принимать, зная, что оно все равно ему не помогло бы. Как жить после того, как погас этот свет, это счастье, последние отблески которого украсили его последние годы. Он думал о том, что жизнь не кончена, потому что у него был сын, который требовал любви, терпения, смирения. О том, что жизнь кончена, потому что теперь его одиночество стало совсем другим, не существованием, а доживаньем, дожиданьем смерти. О том, что жизнь не кончена, потому что на нем лежит долг — рукописи Виктора, прочесть которые и по возможности опубликовать он обещал Ирине.

И думать об этом было тяжело, а не думать — еще тяжелее. Он понимал, что надо, как это ни трудно, взять себя в руки, сломить нежелание жить, победить душевную пустоту, казавшуюся беспредельной. Доказать, что она не беспредельна, потому что он нужен сыну, которому он когда-нибудь расскажет о жизни его матери, о том, как тяжело было остаться жить после ее смерти, как он поборол, сломил это нежелание жить. И Любови Михайловне он нужен. Какое право он имел забыть о ней, о той, которая не позволила себе позорно замолчать и не отстранилась, а отдалась заботам, связанным со смертью дочери.

— Вы не имеете права умереть, — сказала она ему однажды. — У вас есть сын, и мы не можем вернуть его домой, пока вы не придете в себя и пока у меня не появится возможность заботиться о нем, а не о вас. Подумайте о нем. О нем надо заботиться. Вы знаете, что он не унаследовал вашего здоровья.

На другой день он поднялся с постели.

30.

Иногда — и, к сожалению, не так редко, как кажется,— семейное несчастье может послужить прекрасной причиной для холодных размышлений холодного человека. И не беда, если холодно размышляющий холодный человек сам принадлежит к этому семейству. Впрочем, «принадлежит» — двойственное слово. Можно быть членом одного семейства и принадлежать другому. Сергей Беклемишев был членом семейства Льва Сергеевича Беклемишева, но принадлежал он — со всеми своими надеждами, со своим солидным положением в министерстве юстиции, с двухкомнатной квартирой в переулке Островского, со своей красивой, холодной, расчетливой женой — к другому, к своему собственному, и эти два, внешне сходных, но внутренне противоречивых семейства до кончины Ирины, казалось, ничем не мешали друг другу. Но теперь положение изменилось.

Впрочем, неясно, кому принадлежат эти размышления,— супруги редко расходились во мнениях. Размышления эти касались весьма современного вопроса, который дискутируется почти в каждом номере почти каждой газеты. Короче говоря, они касались квартиры.

В самом деле! У академика Беклемишева была большая квартира. И пока Ирина была замужем сперва за каким-то нищим поэтом, а потом за отставным полковником, который был чуть ли не втрое старше ее, причем оба акта (выражаясь юридическим языком) были бесконечно далеки от здравого смысла, Сергей Беклемишев и его супруга не думали о неоспоримых достоинствах квартиры отца. Правда, могли быть дети, и один ребенок, которого Сергей мельком видел, действительно явился на свет. Но случилось несчастье — Ирина скончалась. Для трех оставшихся в живых квартира оказалась велика. Но она отнюдь не была велика для Сергея и его жены, у которых тоже могли быть (и обязательно будут) дети. Он не боялся отказа. Он знал, что Беклемишевы-Кедровы независимо от его желания решили переехать в Скорино. Причина была серьезная.

Мальчик был болезненный, тихий, задумчивый не по возрасту. Он поздно стал ходить, говорил только несколько слов, и его — это почему-то особенно беспокоило Любовь Михайловну — совершенно не интересовали игрушки. Врачи нашли его здоровым, но единогласно решили, что ему надо жить за городом, и хорошо, если бы где-нибудь в сосновом лесу. Любовь Михайловна упомянула о Скорине, где стояла заколоченная дача, и, получив полное одобрение, стала энергично готовиться к переезду. Об Андрее Павловиче нечего и говорить — мысль о возвращении в Скорино приходила ему в голову и прежде. У него тоже было дело, которое помогло бы ему оправиться от потрясения. Ирина не умерла для него, и он никогда не сомневался в том, что она была бы рада, если бы он вернулся к грустной истории ее первого мужа, с которым она была счастлива так недолго.

31

С крепом на рукаве пиджака и на шляпе (креп уже давно не носили), Сергей явился к Андрею Павловичу. Он не только не любил, но и боялся мачехи. Поэтому и заговорил он не с ней, а с ним. Он волновался — в меру, потому что ему казалось, что нет в Советском Союзе человека, который бы не желал жить в Москве. Но быстро успокоился: Андрей Павлович не возражал, тем более, что у него была собственная комната на Кропоткинской, где всегда можно было остановиться.

Любовь Михайловна, которая знала Сергея лучше, чем он сам знал себя, разумеется, с первого слова поняла несложный замысел пасынка. Но она поставила одно условие: кабинет покойного мужа, с его письменным столом, с его книгами, с портретами Эйнштейна и Менделеева, прекрасно выполненными в Париже, должен быть перенесен в Скорино нетронутым. Свою прописку она оставила в Москве.

Это желание, или, точнее, требование, не вызвало возражений. Переезд был совершен.



32

В Скорине кабинет Льва Сергеевича занял самую большую комнату в доме. Для полки-стены с его книгами нашлось удобное просторное место. Портреты Эйнштейна и Менделеева внимательно смотрели друг на друга с противоположных стен. Даже затейливая четырехугольная корзина для бумаг, подаренная академику каким-то японцем, стояла под столом в Скорине с таким же независимым видом, как она стояла в Москве.

Любовь Михайловна устроилась в мезонине, из которого был выход на веранду, где она могла писать свои этюды. Нашлась комнатка и для Настасьи Петровны, которая больше всех радовалась переезду. Она родилась в деревне и не любила Москву.

Прежде для неторопливой трудной работы над рукописями Виктора не хватало времени — каждый день был полон событий, маленьких, но радующих и счастливых.

Теперь все эти события, вся эта новая жизнь ушла, растаяла, отдалилась, казалась странной — и воспоминания о ней даже не растравляли души, как растравляли ее соболезнования друзей, не понимавших, что ничто не может помочь и что горе все равно не пощадит его на всю оставшуюся недолгую жизнь.

Теперь времени было много. Теперь его некуда было девать. Теперь ему ничего не осталось для того, чтобы по-прежнему быть близким Ирине, хотя бы в воображении. Ничего, кроме рукописей Виктора, которые еще так недавно сблизили их и которые как будто благословили их на эту новую счастливую жизнь.

И, возвратившись в Скорино, Андрей Павлович, не теряя ни часа, кинулся к рукописям.

Он не захотел разлучаться с сыном — две кровати, большая и маленькая, стояли рядом в той комнате, где он ждал ее возвращения из соляных копей и где, скучая, он вырезал перстнем ее профиль на оконном стекле. Вся его горестно оборвавшаяся новая жизнь была чем-то похожа на этот профиль, едва различимый под углом, когда окно открывалось навстречу солнцу и, отрываясь от работы, он подходил и долго смотрел на него.

Так устроилась жизнь. Так, да не так. Когда весь дом спит, Андрей Павлович встает, надевает халат, и ему кажется, что гора рукописей, лежащая на столе, уже нетерпеливо ждет, когда он за нее возьмется. Но он работает только до восьми часов утра. Потом просыпается сын, и лупа — Андрей Павлович читает рукописи Верховского через сильную лупу — выпадает из рук. Сын, едва открыв глаза, начинает спрашивать... О чем? Обо всем на свете.

— Мама была из стекла? — спрашивает он, рассматривая силуэт на стекле.

И надо рассказывать о маме, которая ушла, оставив свой силуэт на память.

— А она скоро придет?

— Не очень.

33

Можно быть непохожим на других, но оставаться в их кругу, не разрывая почти невидимой или только кажущейся невидимой связи. Можно попытаться стать «отдельным», самим по себе, удачно или неудачно. Можно притвориться, что намеренно забыты, отстранены все традиции, зная, что это почти невозможно.

Но то, что пытался сделать Виктор Верховский, не было похоже ни на первое, ни на второе, ни на третье. Он пытался вырваться из любых традиций. Он написал о том, о чем у нас никто никогда не писал. Он написал о китайском крестьянине Ди-Си, который изобрел чудесное вино, заставлявшее прыгать и веселиться горы. Он сравнил лермонтовского Печорина с философом Печериным, русским иезуитом, покинувшим родину в тридцатых годах,— по сходству идей, а не фамилий.

Он написал о Бисмарке, рейхсканцлере Германской империи, размышляющем о том, зачем Наполеон перешел русскую границу.

Он написал о декабристе Гаврииле Батенькове, который больше двадцати лет просидел в крепости и иногда начинал кричать, чтобы услышать свой голос.

Он написал о едва заметных ручейках, питающих ручьи, впадающие в маленькие реки, и о том, как маленькие реки впадают в огромные, а огромные вливаются в необозримый океан, где так вольно гуляет ветер и ничем не сковано движение волн.

Он написал о Луише Камоэнсе, величайшем поэте Португалии, и об иноке Иринархе, одетом во власяницу и на всю жизнь прикованном к своему сиденью.

Он написал о греческих мифах, об Орфее и Прозерпине, о Плутоне и Эвридике, о Гермесе и Хароне.

В «Истории 1812 года» он рассказал о любви крестьянской девушки Маринки и о крестьянском парне Ефиме, который не верил в ее любовь и заставил Маринку раздеться голой и стоять под вербой у пруда на дороге. Он сказал это полушутя, но она послушалась, и ее заслонил розово-белый огонь.

В ответ на отрицательную рецензию издательства «Молодая гвардия» он писал: «Судя по замечаниям, Вы, хотя и взываете к «уловлению жизни», сами имеете о ней очень поверхностное представление. Вам, вероятно, никогда не приходилось заниматься самой жизнью. Т. е. принимать роды теленка или возделывать сад. Иначе Вы бы знали, что значит «засунуть руку по самое плечо в тьму и вытащить оттуда нечто живое, вздрагивающее, младенчески-бессмысленное, но уже крепкое и невозвратимое... Конкретные детали бытия Вы принимаете за метафоры. Ведь в стихотворении «Прозрачность» синеглазые корабли — не выдумка, как Вы пишете. Напомню, что в древности на бортах кораблей рисовали синие глаза, для чего, думаю, догадываетесь. Самое слово «Антос» по-гречески значит «красивый». Отсюда — антика. Вы, однако, не разобравшись и здесь, небрежно роняете: «Просто до банальности, до штампа». Кроме того, редко бывает банальным один образ. Банальность есть всеобъемлющее явление стертости, пустоты. Ваша рецензия — образец банальности. Можно только позавидовать той легкости, с которой Вы разгадываете тайные мысли автора, не будучи в состоянии правильно прочитать даже открытый текст...».

Андрей Павлович остановился на этой фразе потому, что пора было заказать памятник для могилы Ирины. Знакомый архитектор предложил три проекта — и все три не понравились ни Любови Михайловне, ни Андрею Павловичу. Он предложил четвертый: полированный мрамор в человеческий рост и на его обработанной поверхности силуэт молодой женщины, читающей книгу. Он показал архитектору свой рисунок, вырезанный на стекле, потом послал ему несколько фотографий Ирины — и было решено силуэт на стекле перенести на мрамор.

Конечно, это должен был сделать не архитектор, а скульптор. И молодой скульптор, с работами которого Андрей Павлович познакомился в его мастерской, принялся за работу.

## 34

В свое время он отложил письмо Виктора к известному писателю Р-ну, может быть, потому, что оно было разорвано вдоль — в приступе бешенства или отчаяния. Разорвано, но сохранено, очевидно, Виктор ценил изложенные в нем соображения: «Нет, конечно, я обратился к Вам не для того, чтобы выслушать оценку мастера, хотя я бы от нее не отказался. Но дело не в этом. Я перенес глубокое испытание в юности, потому что вырос в сознании безмятежной ясности мира. Оказалось, что это не так. С тех пор я строю и перестраиваю свой дом, в котором рушатся стены. Я бросил бы эту работу, если бы не считал себя ответственным за несовершенство жизни. И скриплю зубами не потому, что не получаю признания, а потому, что меня насильно отстраняют от дела, которым заняты все лучшие люди нашей страны. Вы не согласны, что Сибирь — это окраина. В Сибири работали и работают талантливые писатели. Но всем им жилось нелегко. До сих пор образцом сибирской речи считается чоканье, коверканье любого, даже авторского языка под кержацкий, псевдонародный. Страницы пестрят словами «елань», «увал», «бочага», и действует непреложный закон: местный писатель должен писать на местные темы. Иначе его никакое местное издательство не возьмет. Таким образом, общечеловеческие темы стали прерогативой «центральных», преимущественно московских писателей, которые дружно закрывают глаза на подобную дискриминацию. В их числе — увы! — находитесь и Вы. Я решительно против такой расстановки сил. Пишу на любые темы: и на сибирские, и на библейские. И, конечно, выпадаю из обоймы.



Да, Сибирь — окраина. И то, что здесь происходит, требует поистине бесстрашия. К сожалению, те, кто планирует «преобразование дикого края», смотрят на него из центрального далека и исходят из своих центральных интересов, забывая о том, что в Сибири живут уже многие поколения людей и у них есть свои собственные интересы. Идет невиданная по масштабам откачка материальных ресурсов из Сибири в европейскую часть России, а теперь уже и дальше — в Западную Европу. А компенсируется она крохами. Не подумайте, что я против освоения Сибири. Напротив. Я ЗА ОСВОЕНИЕ. Но не Европой, а ЧЕЛОВЕКОМ. Это то, чего в Сибири нет. Идет не освоение, а эксплуатация Сибири. Может быть, отсюда, из экономической политики, рождается политика культурная — отсутствие в области, вмещающей десяток Франций, своего издательства, своих журналов и альманахов... Словно культурная дикость кем-то нарочно культивируется. Хотя я далек от такой мысли.

Решился послать Вам несколько стихотворений. Не для оценки, а в качестве небольшого подарка, скромного дара — так знаменитому восточному царю поднесла женщина в ладонях обыкновенной речной воды — это все, что у нее было. Так и Я.

Виктор Верховский»

Андрей Павлович склеил письмо, переписал его и послал Р-ну, присоединив к нему краткую историю жизни и гибели Верховского. И через несколько дней получил ответ.

«Уважаемый Андрей Павлович, — писал он, — я не сомневаюсь, что Вам известно о моих отношениях с Вашим покойным другом Виктором Верховским и что я высоко ценил его дарование. Опасаясь за сохранность его рукописей, я взял их из редакции к себе, надеясь, что они дождутся своего часа. Теперь можно сказать, что это совершилось. На заседании редколлегии его рукописи обсуждены и приняты к печати. Извещая об этом, я прошу Вас прислать по Вашему выбору и другие произведения Виктора Николаевича, как прозу, так и стихи. Не могу еще сказать с полной определенностью, но надеюсь, что и они со временем найдут место на страницах нашего журнала.

Сердечно приветствую Вас.

Р-н»

Книга рассказов Верховского вышла наконец, а вслед за нею Томским издательством была опубликована и небольшая книга стихов.

Несколько известных имен без конца повторялись в интервью и дискуссиях, и, по-видимому, это утомило читателей, потому что в редакции посыпались письма, которые убедительно доказывали, что наша критика узка и поверхностна, что в прозе с успехом работают больше, чем пять или шесть человек и что в поэзии она не видит за деревьями леса. Началась новая полоса, на страницах журналов появились произведения, которые по необъяснимым причинам десятки лет пролежали в письменных столах. Круг литературных интересов расширился, и имя Виктора Верховского, естественно, заняло свое место.

## 35

Книги Верховского — обе с предисловием Р-на — были опубликованы в эти долгожданные дни. Решено было отметить: пригласить старого писателя к праздничному ужину. Лене первой пришла в голову эта мысль. Недавно отмечалось его семидесятилетие, Беклемишевы-Кедровы отправили ему длинную поздравительную телеграмму.

— Вежливо откажется, — сказала Любовь Михайловна.

— Все-таки семьдесят,— заметил Андрей Павлович, которому пошел шестьдесят восьмой и которому тем не менее казалось, что до семидесяти еще далеко.

— Не откажется,— решительно заявила Лена Оленина, которая участвовала в этом обсуждении накануне торжественного дня.— Во-первых, я видела его на концерте Горовица, и он выглядит гораздо моложе. Во-вторых, разве вы не заметили, что все интервью с ним подписаны женскими именами. Если ему позвонит женщина, он не откажется.

— Неудобно.

— Ничего неудобного. Я, между прочим, знаю его дачный телефон.

— Откуда?

— Тайна.

Тайна объяснялась просто. Один из бывших «мальчиков» Лены, журналист, отдыхал в Доме творчества в Переделкине, где была дача Р-на.

— Хотите, я спрошу у него, удобно это или неудобно?

Не дожидаясь ответа, она побежала в переднюю, где стоял телефон, и через десять минут, радостно взволнованная, вернулась.

— Засмеялся и сказал, что приедет. Не завтра. Он занят. Послезавтра. В восемь часов.

И он приехал точно в условленный час, старый, стройный человек, высокого роста, в черном костюме, прекрасно сидевшем на его широких плечах, немного похожий на Мравинского, но не седой, как знаменитый дирижер, сохранивший редеющую со лба черную шевелюру. Непохожий на него и все-таки чем-то похожий.

Заранее было решено, что почтенному гостю не будут докучать вопросами о литературных делах, которые, без сомнения, ему надоели.

И разговор после первых минут неловкости зашел о детях. У Р-на был сын, в научных кругах, пожалуй, более известный, чем отец в литературе. Любовь Михайловна заговорила о нем, и это было, очевидно, кстати, потому что сразу стало видно, что он любит сына и гордится им.

Муж Лены, неизменно погруженный в свои непостижимые размышления, внезапно оживился и сказал по меньшей мере пятнадцать-двадцать слов — он работал в области молекулярной биологии, которой занимался и младший Р-н.

Потом, не чокаясь, выпили за Виктора, и разговор все-таки невольно соскользнул на литературу.

— Вам покажется странным,— сказал Р-н,— но я почти не знаю современных писателей, хотя за работой трех-четырех молодых внимательно слежу, это моя надежда. Они бывают у меня и уже давно вошли в число близких друзей. А известные и даже знаменитые... Я читаю их книги, хотя подчас трудно найти то, что надо непременно прочесть. Но что это за люди? Положение изменилось к лучшему, появились признаки естественной свободы, без которой не может развиваться литература. Извините, я стал как-то вещать, хотя сам в том, что мне хочется сказать, далеко не уверен. Но мне кажется, что потерян интерес друг к другу, исчезла расположенность, появились холодность, равнодушие и — это особенно страшно — разобщенность. А ведь для того, чтобы удержаться в этой полосе свободы, когда мы получили возможность прочитать то, что было написано тридцать, а то и сорок лет тому назад, надо быть совсем другими людьми. Уверенными в себе, мужественными, способными беспристрастно и беспощадно оценить прошлое. Словом, такими, каким было наше поколение в двадцатых годах. Я был свидетелем многих разочарований, многих падений, от которых мы освобождались с трудом. Но для этого нужна была воля, а теперь ее нет. Воля нашей интеллигенции надломлена.

— Как же и когда мы избавимся от этого надлома? — спросил Андрей Павлович.

— Когда — этого никто не знает. А как? Да очень просто: если то, что началось в стране три-четыре года тому назад, окажется необратимым, интеллигенция начнет кристаллизоваться. Эталоны тянутся друг к другу. Талантов много. Но от них мы, старики, ничего еще требовать не можем. Наступает очередь не сорокалетних, а двадцатилетних. Они берутся за перо с мыслью, что никто им не помешает. Они-то и восстановят здание литературы. Удастся ли это? Кто знает?



## ЭПИЛОГ

Бывает мимолетный, вспыхнувший и быстро гаснущий успех книги или фильма, связанный с таким же мимолетным явлением общественной жизни.

Бывает успех, основанный на упадке вкуса. Бывает успех организованный, связанный с высоким административным положением автора — опасный, потому что он-то и мешает естественному развитию литературы.

Но бывает и другой успех, скромный, терпеливый, когда книга исподволь, по какому-то неизведанному пути добирается до читательского сердца. Но добравшись, остается в нем навсегда. Так случилось с прозой и поэзией героя этого повествования. Сначала она была почти не замечена или замечена только теми, кто неустанно ищет в литературе новое, подчас отталкиваясь от самого себя. Потом его имя стало произноситься с оттенком неуверенности, недоумения. И наконец появились статьи, в одной из которых кто-то из известных критиков назвал его «отдельным писателем» и попытался объяснить, почему его исторические и даже мифологические стихи, эссе и рассказы тесно связаны с современностью и литературой.

Я получаю много читательских писем. Мне самому всегда хочется узнать, как и при каких обстоятельствах писался роман или рассказ, долго ли или недолго, легко или с трудом, как возник замысел и помогало ли ему воображение. Вот почему я заранее решился ответить на вопросы, которые — нетрудно догадаться — я мог бы прочитать в письмах моих читателей.

Никто не знает, почему писателя охватывает желание заняться именно этим, а не другим произведением. Об этом догадывается — верно или неверно — критик. Ему и перо в руки. Что касается меня, то я задумал написать повесть «Силуэт на стекле», потому что случайно увидел этот силуэт в одном полуразвалившемся доме. Не знаю, почему он соединился с трагической судьбой молодого, безвременно погибшего томского писателя Михаила Орлова. Жизнь его прошла под знаком правды и ответственности, без которых не может существовать подлинное искусство. Ему принадлежат письма, апология, эссе, стихи и рассказы. Я знал его и высоко ценил как талантливого, великодушного, благородного и скромного человека. Я сделал все, что в моих силах, чтобы помочь ему, и мои неоднократные попытки увенчались некоторым успехом. Трагическая судьба его не кажется мне случайной.

17/III-1987.

Евгений Евтушенко

# ИЗ СТАРЫХ И НОВЫХ ТЕТРАДЕЙ

## Выпирающие валуны

Выпирающие валуны —
вот несчастие для карела.
Пашню выскребешь,
а с весны
вырастают опять угорело.
Так все боли страны,
выпирающие
даже в дни всенародных торжеств,
словно пальцы судьбы,
выбирающие
нас, людей,
как невинных жертв.
Вы торчите,
как фиги из ада
на незримой руке сатаны,
убирающие кого надо
выпирающие валуны.
Словно пашня,
опять очищаемая,
перестраиваемая страна,
но у прошлого —
сила отчаянная
выпирающего валуна.
Все, что вроде бы вымирает,
валуны в преисподней кует,
и, живое давя,
выпирает,
семенам прорастать не дает.
Жаль, сюда я приехал не юный,
но по камешку я поднаскреб
ваш характер карельский валунный,
с валунами
воюя
лоб в лоб!
Здесь не слишком-то солнышко грело
даже в самые ясные дни,
но, хотя молчаливы карелы,
почему так правдивы они?
Семя лжи
любит мягкую пашню,
но ему валунов не пробить,
а на камне,
где остро и страшно,
любит правда посеянной быть!

1987



★

Народ вырастает во лбу,
когда-то придавленном тяжкой
защитного цвета фуражкой
того, кто не дремлет в гробу.

Народ вырастает во лбу,
который был стиснут, как в обруч,
в безмыслия страшный всеобуч,
во множество стольких табу.

Народ вырастает во лбу,
не пряча свой разум в кубышку.
России и мира судьбу
вместить ли убогому лбишку?

1987

## Мертвая рука

Кое-кто живет еще по-старому,
в новое всадить пытаясь нож.
Кое-кто глядит еще по-сталински,
сумрачно косясь на молодежь.

Кое-кто, еще не укротившийся,
оттянуть ее пытаясь вниз,
намертво за стрелку ухватившийся,
на часах истории повис.

Кое-кто бессильной злобой мается
и сжимает оба кулака.
Мертвая рука не разжимается,
ибо это мертвая рука.

Мертвая рука прошлого,
крепко ты еще вцепилась в нас.
Мертвая рука прошлого
ничего без боя не отдаст.

Но раздавят временное в крошево
тяжкою пятой своей века.
Мертвая рука прошлого,
все-таки ты — мертвая рука.

1962

## Письмо Есенину

Поэты русские,
друг друга мы браним.
Парнас российский дрязгами заселен,
но все мы чем-то связаны родным —
любой из нас хоть чуточку Есенин.

И я Есенин,
но совсем иной.
В колхозе от рожденья конь мой розовый.
Я,
как Россия,
менее стальной,
и, как Россия,
менее березовый.
Есенин милый,
изменилась Русь,
но сетовать, по-моему, напрасно,
и говорить, что к лучшему,
боюсь,
ну, а сказать, что к худшему —
опасно.
Какие стройки,
спутники в стране!
Но потеряли мы в пути неровном
и двадцать миллионов на войне,
и миллионы —
на войне с народом.
Забыть об этом,
память отрубив?
Но где топор,
что память враз отрубит?!
Никто, как русские,
так не спасал других.
Никто, как русские,
так сам себя не губит.
Но наш корабль плывет.
Когда мелка вода,
мы посуху вперед Россию тащим.
Что сволочей хватает,
не беда.
Нет Ленина —
вот это очень тяжко.
И жалко то,
что нет еще тебя,
и твоего соперника-горлана.
Я вам двоим, конечно, не судья,
но все-таки ушли вы слишком рано.
Когда румяный комсомольский вождь
на нас,
поэтов,
кулаком грохочет,
и хочет наши души мять,
как воск,
и вылепить свое подобье хочет,
его слова, Есенин, не страшны,
но трудно быть о" этого веселым,
и мне не хочется,
поверь,
задрав штаны,
бежать вослед
за этим комсомолом.
Порою горько мне,
и больно это все,
и силы нет сопротивляться вздору,
и втягивает жизнь под колесо,
как шарф втянул когда-то Айседору.
Но — надо жить.
Ни водка,
ни петля,
ни женщины —
все это не спасенье.



Спасенье ты,
российская земля,
спасенье —
твоя искренность,
Есенин.
И русская поэзия идет
вперед
сквозь подозренья и нападки,
и хваткою есенинской кладет
Европу,
как Поддубный,
на лопатки.

1965

Написанное когда-то к юбилею Есенина стихотворение, как мне думается, сейчас оказалось шире конкретной полемики с конкретным оппонентом.

Евг. ЕВТУШЕНКО

## *Простая песенка Булата*

Простая песенка Булата
всегда со мной.
Она ни в чем не виновата
перед страной.

Поставлю старенькую запись
и ощущу
к надеждам юношеским зависть,
и загрущу.

Где в пыльных шлемах комиссары?
Нет ничего,
и что-то в нас под корень самый
подсечено.

Все изменило: жизнь и люди,
любимой взгляд,
и лишь оскомина иллюзий
во рту, как яд.

Эпоха петь нас подбивала.
Толкает вспять.
Не запевалы — подпевалы
нужны опять.

Надежд обманутых обломки
всосала грязь.
Пересыхая, рвется пленка,
как с прошлым связь.

Нас эта песенка будила,
открыв глаза.
Она по проволоке ходила,
и даже — за.

Но ты, мой сын, в пыли архивов
иной Руси
найди тот голос, чуть охриплый,
и воскреси.

Он зазвучит из дальней дали
сквозь все пласты,
и ты пойми, как мы страдали,
и нас прости.

1971

## *Ирпень*

Я так много когда-то тебе обещал,
ну а дать ничего не могу —
обнищал.
Обещал тебе нас в синеве и листве,
на зеленой листве,
голова к голове,
и по вишне прохладной за каждой щекой,
и томительно пахнущий сеном покой.
Мы хотели в Ирпень,
в полудрему и лень,
где, наверное, есть тот обрыв или пень,
на котором писал под левкои и лес,
убегая сюда,
гениальный беглец...
Но сегодня нельзя убежать никуда
от стыда за историю,
как от суда.
Льют по-лютому ливни,
безжалостно льют,
размывая надежды на мир и уют
для тебя и меня,
в синеве и листве,
на зеленой траве,
голова к голове...
Лакировщики борщ поглощают,
урча.
Видный критик подходит —
он мне до плеча.
Но он все-таки треплет меня по плечу:
«Вот сейчас вы такой, как давно я хочу.
Не попались на удочку лестной молвы,
и к гражданской тематике вырвались вы...»
Я в глазах твоих вижу презренье и стыд.
Похвалою его
для тебя я убит.
Ты не верь —
я не тот,
я не тот,
я не тот!
Просто весь я раздроблен,
как в паводок плот.
Этот критик — он врет.
Ты не слушай вранья!
Мои щепки ему по душе,
а не я!
Ну а ты говоришь:
«Нет,
ты именно тот.
Ты не плот, а эпохой взлелеянный плод.
Ты — любимчик эпохи,
примерный сынок...» —



и прекрасный твой взгляд нестерпимо жесток.
Говоришь ты —
эпоха мне кровная мать.
Разве, мать, она может калечить,
ломать?
Как коня, хомутали меня хомутом.
Меня били кнутом,
усмехаясь притом.
А сегодня мне пряники щедро дают.
Каждый пряник такой
для меня, словно кнут...
Как трясина
сырая осенняя мгла.
Лакировщики мрачно играют в козла.
Голодает деревня,
редеют леса,
Но зато космонавты летят в небеса.
Я страшней обнищал —
я душой обнищал.
Ты прости, что так много тебе обещал.

1961

## *Безаварийный капитан*

Ласкает Лена бережок
степенно,
миссисиписто,
и капитанов бережет:
песок из них не сыплется.
Они в наставники идут,
к салагам не насмешливые,
и разговорчики ведут,
как Лена,
непоспешливые:
«Ты сколь годов отплавал,
дед?»
«Полста,
и вроде не во вред».
«А сколь аварий?»
«Ни одной.
Я не тону,
как водяной».
В шторма и качки наших лет
безаварийность —
раритет.
Ну и везунчик с бородой!
По части дышла —
молодой,
он и на праздник может в пляс,
и на груди —
орденостас,
и хоть он был Степан Степаныч,
прозвали так —
Сверхплан Сверхпланыч.
Но почему,
когда ты пьян,
безаварийный капитан,
ты врешь так исступленно,
как бич после лосьона?

А хочешь —
что-то подскажу:
в тридцать седьмом ты вел баржу
по Лене,
будто по ножу,
а в трюме были зеки.
Шел снизу крик:
«Откройте люк!
Дышать нам нечем!
Всем каюк!»
Но в люк с презреньем ткнул каблук:
«Я вас доставлю,
вражьих сук,
как зернышки в сусеке!»
Трюм после что-то замолчал,
но капитан не замечал.
Открыли трюм,
и сам не свой
всю душу выблевал конвой.
Трюм,
словно пропасть после битв,
был мясом вздувшимся набит.
Безаварийный капитан,
ты столько жизней растоптал.
Ты был почти что ни при чем,
а стал почти что палачом.
Ты думал, что они —
враги.
Господь,
заблудшим помоги!
Был твоим господом лишь план.
Нет господа коварнее.
Безаварийный капитан,
вся жизнь твоя —
авария.

1987

## Плач по плакальщицам

Давайте поплачем по плачам,
по плакальщицам на Руси.
Поймем ли без них —
что мы значим,
на чьих мы слезах возросли?
Завойте,
сбивая всем шапки,
свой крик поднимая святой,
на церкви похожие бабки —
с рассохлинкой
и скрипотой.
Воскресни,
заплачь, Федосова.
Есть гений российский —
рыдать.
Когда на душе —
ни засова,
рыдание
как благодать.
Улыбчивые идиоты
поймут ли,
уняв свою прыть,
как надо порою до рвоты
хотя бы немножко повыть?!
Как плакальщиц недоставало
в том тридцать проклятом году.
Россия без них пустовала
в припрятавшем слезы аду.
Архивы кричаще пылятся.
Убийцам не спрятать лица.
История —
не палачка.
История —
плакальщица.

1987

*Константин Симонов*

# ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

**(РАЗМЫШЛЕНИЯ О И. В. СТАЛИНЕ)**

**9 марта 1979 года**

Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.

Когда я приехал к Кузнецову, он дал мне папку с разными бумагами и сказал, что знакомит меня с ними по поручению Андрея Александровича. Еще едучи туда, я смутно предполагал, о чем может идти речь, там я убедился, что догадка моя была правильной. Это были материалы, связанные все с тем же так называемым делом Клюевой и Роскина. Материалов было не очень много, я прочел их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете у Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется, Кузнецов был чуть-чуть удивлен, как я быстро это прочел, и, когда я поднялся, спросил меня:

— Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?

Я ответил утвердительно и, поблагодарив, поехал домой.

Материалы не произвели на меня особого впечатления просто-напросто потому, что они мало добавляли к тому ощущению не столько важности самой этой истории с Клюевой и Роскиным, сколько важности проблемы уничтожения духа самоуничижения, как выразился Сталин. Я был не настолько наивен, чтобы не понимать, какой смысл имело ознакомление с этими дополнительными документами, — очевидно, вырвавшееся у меня замечание, что это скорее тема для пьесы, чем для романа, внушило мысль, что я готов взяться за пьесу на эту тему. Но на самом деле я был нисколько не готов к этому, и такое понимание моего чисто профессионального замечания меня встревожило. Пьесу на эту тему в принципе, как мне казалось, я мог бы написать, но не сейчас, когда я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чужое. Слова Сталина об уничтожении духа самоуничижения с особенной силой запали мне в душу именно потому, что о чем-то близком я писал в своей повести, писал о людях, гордых своей бедной, израненной, исстрадавшейся страной перед лицом всей послевоенной американской мощи и благополучия.

Увлеченный этой работой, которую я делал вдобавок на лично пережитом, выстраданном материале, я меньше всего хотел прерывать ее посередине и браться за пьесу на в чем-то близкую мне тему — о вреде и духовной нищете низкопоклонства, но на очень далеком и пока совершенно чужом для меня материале.

Я понимал, что попал в двусмысленное положение, проклинал себя за свою неосторожную реплику, но успокаивал себя тем, что после повести могу взяться и за пьесу, — и в конце концов убедил себя, что все как-нибудь да обойдется. Прямого поручения я не получал, прямых обязательств на себя

П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Знамя» № 3 за 1988 г.

не брал, и надо, зажмурив на все это глаза, писать повесть, пока не допишешь до конца, а там будет видно. Очевидно, решение было правильным и единственно возможным для меня как для писателя, и я не раскаивался в нем потом, хотя оно мне на поверку и довольно дорого обошлось.

К концу того лета я дописал свой «Дым отечества», в котором в первом, журнальном, его варианте оказалось больше одиннадцати печатных листов. О тех материалах, которые мне показывали, никто не напоминал, мне казалось, что все обошлось и непосредственно на эту тему, связанную с делом Клюевой и Роскина, пьесу или что-то другое пишет кто-то другой. А там, где мне давали смотреть эти материалы, наоборот, как выяснилось впоследствии, считали, что я сижу и пишу именно эту пьесу.

В сентябрьской книжке «Нового мира» были благополучно напечатаны десять рассказов Зощенко с его предисловием, а в ноябрьский номер была поставлена моя повесть. Самому мне она очень нравилась, пожалуй, ни до, ни после я не относился так увлеченно и так несамокритично ни к одной своей вещи. Мне искренне казалось, что я, хотя и являюсь редактором «Нового мира», вправе такую повесть напечатать на его страницах к такой дате как тридцатилетие Советской власти.

Может быть, по теме, по внутреннему субъективному, духовному заряду, который был в повести, это было не так уж неверно, но при этом повесть в том виде, в каком она была тогда напечатана, была еще очень сырой, многословной, неотжатой. Все это я хорошо понял семь лет спустя, когда готовил повесть к отдельному изданию, — не меняя ни ее духа и направленности, ни ее сюжета, я без особого труда отжал из нее, как лишнюю воду, без малого четыре листа из одиннадцати. Но тогда, в сентябре сорок седьмого года, мне казалось, что я снес золотое яичко, и в какой-то мере в этом заблуждении меня поддержали при обсуждении повести в Союзе Фадеев, Федин, Эренбург, которым при всей разности их вкусов пришелся по душе дух моей повести, и они, не обращая внимания на ее огрехи, все трое щедро похвалили меня за то главное, что в повести было.

Что до меня, то я ходил, счастливый сделанным, мне казалось, что, показав высоту духа и нравственной силы людей, поднимающих из праха дотла разоренную войной, истерзанную Смоленщину, и противопоставив все это американскому самодовольству своим образом и уровнем жизни, я выполнил главный свой партийный долг, который внутренне числил за собой после долгой зарубежной поездки и сразу же впритык после нее поездки на Смоленщину. Не «Русский вопрос», получивший к тому времени Сталинскую премию первой степени, но все-таки написанный не о нас, а об американцах, а именно «Дым отечества», написанный о нас и о нашей, полной лишений, бедной и гордой жизни в первую послевоенную пору, был для меня исполнением моего главного долга. С этим сознанием я дожил до выхода журнала и до одного, отнюдь не прекрасного дня — сейчас не помню уж даты, для этого нужно перелистать подшивку газеты «Культура и жизнь» за сорок седьмой год, — когда в этой газете появилась статья о моем любимом «Дыме отечества» с заголовком «Вопреки правде жизни», не обещавшим ничего хорошего.

Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и, когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа — директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь», — Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел. Почему не веря своим глазам? Потому что я понял, что так же, как удар по «Молодой гвардии» Фадеева, который наносился в том же номере газеты, на том же листе, разгромная статья о «Дыме отечества» появилась только потому, что повесть резко не понравилась Сталину. Других объяснений я не искал и правильно делал. А не верил я своим глазам потому, что был глубочайшим образом убежден в том, что эта повесть как раз то, что нужно сейчас людям, то, что укрепляет их веру в свои силы, их гордость своей страной в это тяжелое для нас время после войны, — словом, то, что, как мне казалось, никак не может быть не по душе Сталину. А вот, оказывается, все наоборот.



Я несколько раз читал и перечитывал статью, некоторые, так и оставшиеся для меня непонятными ее пассажи напоминали испорченный телефон. Мне вдруг пришло в голову, что рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательное и злое говорить об этой повести, — а говорил он, особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его, это мы после беседы со Сталиным почувствовали по собственной усталости от напряжения тех трех часов, в которые мы старались не пропустить ни одного сказанного им слова. Говорил, то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь почти спиной к слушателям, начинал и заканчивал фразу, не успев повернуться. Так вот я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не всё и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято.

Жданов, приехав от Сталина и передавая автору статьи то, что говорил Сталин, видимо, сказал то, что он услышал, а услышал он, очевидно, не всё. Ну, а дальнейший испорченный телефон был уже на совести автора статьи, который не мог упустить ничего из того, что ему сказали и что он записал, но и не мог это связать в нечто достаточно последовательное и стройное. С неделю я ходил и думал о том, что же не так в моей повести. Меня упрекали за то, что люди в ней только говорят, а ничего не делают. Вся повесть рассказывала только о первом дне пребывания моего героя на родной земле, о первой его встрече с близкими, все остальное давалось в отрывочных воспоминаниях о войне и об Америке. Что он мог сделать за эти сутки дома? Я очень старался понять, чем недоволен Сталин. Я не злился ни на статью, ни на ее автора — это было бы все равно, что злиться на стул, о который ты ушибся, наткнувшись на него. Я был огорчен и хотел понять, что же я сделал не так. Почему от меня хотят чего-то другого, чем я сам хотел и мог сделать как коммунист, как человек, уверенный в своей правоте, и в то же время как человек, не могущий и не желающий внутренне поставить под сомнение правоту Сталина как высшего для меня авторитета в тех идейных и политических вопросах, о которых шла речь в повести.

Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов, и, придя к нему, прямо сказал, что, не раз перечитав статью, в которой, очевидно, меня правильно критикуют, я все-таки не могу понять многих ее мест и не могу понять, почему повесть считается написанной вопреки правде жизни, и, что еще важнее, не могу понять, что мне нужно сделать с ней при дальнейшей работе для того, чтобы она оказалась не вопреки правде жизни? Я не скрывал ни своей растерянности, ни меры своего огорчения и непонимания.

Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести. Он не выходил при этом за пределы статьи, напечатанной в «Культуре и жизни», и говорил о том же самом — умнее, тоньше и интеллигентней, чем это было написано. Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать. Мне доводилось до этого видеть Жданова и резким, и желчным, правда, не по отношению лично ко мне. На этот раз я шел к нему, вполне готовый к резкому разговору с его стороны. Но он, наоборот, был терпелив, доброжелателен и, как мне почудилось, внутренне не убежден в том, что мне говорил, и поэтому чуть-чуть растерян. Тогда я не знал, что ему самому понравилась моя повесть и что он вынужден был говорить мне о ней то, что расходилось с его первоначальным собственным восприятием ее. Не знал, но что-то, удивившее меня, в этом разговоре ощутил.

Я поблагодарил за беседу, ушел, так ничего нового для себя и не вынеся из нее, так и не поняв, что в ней не так и что мне с ней надо делать.

Еще какое-то время я думал над переработкой повести, над тем, что же поправить в ней, сформулировал даже на случай разных, несомненно, предстоявших объяснений на этот счет какую-то более или менее связную, во всяком случае, более связную, чем в статье, цепь критических замечаний, над которыми мне предстоит думать, но на самом деле думать больше над этим не мог. Твердо для себя решив и дав себе слово по крайней мере пять лет не заглядывать в повесть, не мучиться этим, написал в издательство, где она должна была выходить, что прошу расторгнуть со мной договор, так как печатать «Дым отечества» не буду.

Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесою, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой-нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.

До этого я был так оглушен всем, происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» — это тоже было тогда немалое потрясение, — что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвратительное, тяжелое — хуже не бывает, а в таких случаях — я это уже знал за собой — меня привести в равновесие и поставить на ноги могло только одно — работа, чем немедленней, тем лучше. И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни и что помощь мне нужна, нужен серьезный консультант, крупный ученый, который мог бы ввести меня в курс некоторых микробиологических проблем, с которыми связано будет действие пьесы.

Короче говоря, на следующий день я был у министра здравоохранения Ефима Ивановича Смирнова, еще через два дня встретился с академиком Здродовским, который и стал моим консультантом при работе над пьесою «Чужая тень».

Академик медицинских наук, профессор Павел Феликсович Здродовский был одним из крупнейших наших микробиологов старшего поколения. Среди его заслуг перед наукой и людьми была выработка вакцины против брюшного тифа, применение которой сыграло большую роль в годы Великой Отечественной войны, да и после нее. Здродовский, разумеется, не несет ни малейшей ответственности за сочиненную мною пьесу, за ее всецело авторскую, не имеющую к нему отношения концепцию. Предмет, по которому я с ним консультировался, был совершенно иного рода. По замыслу, возникшему у меня, как только я стал думать о пьесе, главный герой ее, человек субъективно абсолютно честный, но при этом честолюбивый и склонный придавать немалое значение паблисити своих научных достижений за границей, работает над микробиологической проблемой, которая как палка о двух концах: с одной стороны, должна привести к гуманнейшим результатам, которые он и имеет в виду, а с другой стороны, может быть использована в опасных и человеконенавистнических целях. И именно этого, давая данные о своем открытии за границу, он и не учитывает. Это ему просто не приходит в голову — возможность такого использования его открытия.

Идея эта была целиком умозрительная, и родилась она не от знания или понимания каких-либо проблем микробиологии, а просто от того, что я хотел написать пьесу не о негодяе или о предателе, а о субъективно честном человеке, который под влиянием всего того, что мы вкупе называли тогда низкопоклонством перед заграницей, неожиданно ставит себя в положение потенциального предателя интересов своей страны. Так выглядела умозрительная концепция. Изложив ее Здродовскому, я стал допытываться у него, может ли в микробиологической науке, в какой-то ее отрасли, практически сложиться такой ход исследования проблемы, при котором она в разных аспектах решения может приносить и обнадеживающие человечество результаты, и результаты угрожающие.



После нескольких дней размышлений и двух или трех разговоров Здродовский подсказал мне с чисто научной точки зрения ту, реально возможную основу, на которой я в принципе мог строить пьесу. Речь шла о двух этапах исследовательской работы над надежной вакциной для таких почти неизлечимых болезней, как, скажем, чума. На первом этапе исследования выработка такой силы препарата, который концентрировал бы в себе всю мощь этой болезни, был бы, так сказать, производным ее в геометрической прогрессии. И только на следующем, втором этапе на основе этого убийственной силы препарата его обратное ослабление, тоже в геометрической прогрессии, в итоге доводимое до производства вакцины, предохраняющей от заболевания, скажем, чумою. Если отделить первую часть исследования от второй, методику создания пика воздействия препарата от методики ее последующего ослабления и множественного превращения в запасы вакцины, то данные, полученные в результате этого первого этапа работы, в принципе могли быть использованы людьми, заботящимися не о создании вакцины, а о создании оружия бактериологической войны. Вот, собственно, и вся та теоретическая подоснова конфликта, который мог возникнуть в пьесе и который меня интересовал.

Выяснив для себя эту чисто теоретическую сторону дела, я спустя еще несколько дней поехал в Саратов, в микробиологический институт, уже давно занимавшийся работой над созданием и совершенствованием вакцин против туляремии и чумы. Поехал уже не для того, чтобы обсуждать там проблемы, которые я собирался поставить в пьесе, а для того, чтобы хоть немножко представить себе тот мир людей, ту институтскую научную обстановку, в которой должно было происходить действие задуманной мною пьесы. Учитывая ее тему, разумеется, я и не помышлял искать тут каких-нибудь прототипов или запасаться наблюдениями непосредственно для пьесы. Я просто хотел почувствовать атмосферу примерно такого научного учреждения, о котором должна была идти речь в пьесе.

Поездка оказалась интересной, я встретился там, в институте, с несколькими превосходными людьми, подлинные рассказы которых о своей, порой носившей и опасные, и драматические черты работе могли бы стать основой для реальной пьесы о реальных людях нашей науки, а не для того дурного и печально для меня памятного сочинения, которым в итоге оказалась написанная мною в начале сорок восьмого года драма «Чужая тень». Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух самоуничижения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был. И в конце концов мог не написать, могло хватить характера воспротивиться этому самоизнасилованию. Сейчас, через тридцать с лишним лет, стыдно, что не хватило. За то, что в сорок первом году написал стихи «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?», нисколько не стыдно, потому что это был крик души, пусть крик души человека, в чем-то тогда зрячего, а в чем-то слепого, если говорить об адресате стихотворения, но все-таки крик души. А за «Чужую тень» стыдно. И нисколько не жаль себя за свои тогдашние самомучения, связанные с нею. Так мне и надо было.

Чтоб уже не возвращаться к этой невеселой для меня теме «Чужой тени», несколько забегая вперед, скажу тут о ее последующей трагикомической истории.

Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову.

Поступил я именно так, вопреки своему обыкновению никуда ничего не посылать, потому что после своего разговора с Кузнецовым знал, что написание мною этой пьесы воспринимается как выполнение взятого на себя поручения или задания — не знаю уж, как лучше сказать, что будет ближе к тогдашней моей мысленной терминологии, — и, стало быть, то, что я сделал, следует представить на прочтение туда, где мне поручили это сделать. Такова была логика этого поступка, расходившаяся с моей обычной логикой: написал — неси в редакцию. Куда же еще?

Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху, ни духу. Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, остававшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новою книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».

Но в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» — «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», — и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер вертушки, которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел — я оказался один на один с вертушкой. Я снял трубку и набрал номер — не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.

Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:

«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории, и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».

После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.

Пропуск в начале этой записи сделан был мною тогда из соображений такта. С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому-то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все-таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:

— Только вчера получил и прочел, полгода не сообщали, что она там у них лежит, и вообще... — тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему, вернувшись к разговору о самой пьесе, записанному мною.



Я подумал тогда и думаю так и сейчас, что Жданов или по каким-то причинам, ему ведомым, или по не ведомым мне сложившимся обстоятельствам, — а обстоятельства в последние месяцы жизни у него, кажется, были сложные — не говорил или не имел случая сказать Сталину о том, что получил на прочтение мою пьесу, или не считал нужным это делать. Надо полагать, что пьеса попала к Сталину после того, как ему доложили об оставшемся после смерти Жданова архиве и представили опись этого архива. И в тех словах, которые я слышал по телефону, присутствовало раздражение — не знаю, на покойного ли Жданова, может, и на Поскребышева, который знал о моей пьесе, но тоже не счел нужным сказать о том, что она была мною послана.

Я привел эту незаписанную часть разговора, потому что в ней присутствуют тоже некоторые черточки для характеристики Сталина — и в его раздражении на то, что ему сразу не доложили о чем-то, к чему он когда-то имел прямое касательство, и в его словах: «Вчера получил и прочел». Записав сразу содержание разговора и перечитав его два или три раза, я понял, что, во-первых, в нем изложено не просто мнение о пьесе, а почти текстуальная программа переделки ее финала, и, во-вторых, именно это, не откладывая в долгий ящик, мне предстоит сделать.

Надо сказать, что при той жесткости постановки вопроса о низкопоклонстве и преклонении перед заграницей, которая тогда существовала, я сам бы не решился закончить пьесу тем, что предложил Сталин. Кончалась она у меня по-другому, гораздо хуже для героя пьесы профессора Трубникова, который, по своему честолюбию, соединенному с доверчивостью, чуть было не сделал достоянием тех, кому это вовсе не следовало знать, научный секрет государственной важности. Над ним в конце пьесы висел дамоклов меч, и оставалось неизвестным, чем все это для него кончится. Предложение Сталина, видимо, отражало какие-то складывавшиеся у него в тот момент настроения, говоря «правительство», он в третьем лице разумел себя и таким образом выносил по отношению к Трубникову то мягкое и полное доверия решение, которого, казалось бы, трудно было ожидать от Сталина, тем более в связи с этой проблемой.

Откровенно говоря, такой поворот в финале пьесы был мне по душе. Раз сам Сталин прощал Трубникова в пьесе за то, о чем он говорил, когда дело касалось реальной жизни, с такой нетерпимостью, я тем более готов был изменить к лучшему судьбу своего героя. Мне даже почудилось за этим предложением Сталина, за этим разговором с ним какое-то предстоящее смягчение крайностей в том вопросе, который рассматривался в пьесе. Крайности, которые чем дальше, тем больше беспокоили совесть многих людей нашего поколения, в том числе и мою совесть.

Увы, почти в те же самые дни мы получили наглядное подтверждение, что это не так. Но обо всем этом я расскажу позже, а сейчас о том трагикомическом аккорде, которым закончилась история с моей пьесой «Чужая тень».

Я сделал в финале пьесы исходившие от Сталина поправки, которые, повторяю, были мне по душе, сделал их буквально за один день, пьесу успели напечатать в первом, январском номере журнала «Знамя», после чего она была вместе с другими пьесами выдвинута, уже не помню кем — комиссией по драматургии или журналом — на Сталинскую премию. Этого, будучи в отлучке, я не знал и попал прямо на секретариат Союза писателей, на котором предварительно, до начала заседания комитета по Сталинским премиям, обсуждались произведения, выдвинутые теми или другими литературными организациями на Сталинскую премию.

Среди других выдвинутых вещей я увидел и название своей пьесы. Не мое дело было что бы то ни было говорить на эту тему. В дальнейшем я иногда набирался решимости и писал, как это было, скажем, с романом «Товарищи по оружию», что прошу снять роман с обсуждения. Но в данном случае при сложившихся обстоятельствах я не мог говорить ни за свою пьесу, ни против нее, мне оставалось только молчать. А между тем некоторые из присутствовавших на секретариате моих коллег стали довольно резко выступать не столько против пьесы в целом, сколько против ее неправильного, слишком мягкого, слишком либерального, по чьему-то выра-

жению, даже чуть ли не капитулянтского конца. Одни говорили, что Трубников непременно должен быть наказан на глазах у зрителя; другие предлагали сделать так, как у меня и было вначале, — чтобы над ним в финале продолжал висеть дамоклов меч будущего возмездия. Но с тем, чтоб правительство его простило, выступавшие были решительно не согласны и считали, что такой конец пьесы никак не позволяет выдвигать ее на Сталинскую премию. Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если возникнут какие-либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что, поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.

Тем дело и закончилось. На том этапе, который представлял собой секретариат Союза писателей, пьеса была отведена с обсуждения. Но впереди были другие этапы, и Фадееву предстояло этим заниматься еще и как председателю Комитета по Сталинским премиям. Было бы неправильным и некрасивым с моей стороны не рассказать доверительно хотя бы ему одному, с глазу на глаз, о парадоксальности сложившейся ситуации. В тот же день, через несколько часов, поймав его одного, я это и сделал. Первой реакцией Фадеева был безудержный хохот, он долго и заливисто хохотал и сразу после этого, без малейшей паузы, стал совершенно серьезен.

— Почему ты заранее не сказал, почему поставил нас всех в такое глупое положение?

Я довольно резонно ответил на это, что, во-первых, Сталин не поручал мне рассказывать об этом телефонном разговоре и о том, что финал пьесы переделан именно так, как он предложил, в нескольких репликах даже текстуально точно; во-вторых, распространяться об этом и даже намекать на это мне казалось некрасивым с моей стороны и даже не очень приличным; а в-третьих, откуда я мог заранее знать, что на секретариате в несколько голосов сразу так кинутся на этот финал. Я никак не ожидал этого, наоборот, он нравился мне самому, и мне казалось, что он понравится и другим.

— Да, посадил ты нас в лужу, — снова заливисто расхохотался Фадеев и снова, сразу став серьезным, сказал: — Другой раз ты должен хотя бы мне сразу говорить о таких вещах. А я, в свою очередь, — тебе.

На этом и кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим, то злившимся на меня Фадеевым.

В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде — Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы — ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как-то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полицеймако в Большом драматическом театре.

Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это среди многих происходивших в том, сорок девятом году тяжелых событий было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно.

А теперь, закончив эту историю, вернусь примерно на год назад, к тридцать первому марта 1948 года, когда происходила вторая, хотя и не полно, с пропусками, но все-таки записанная мною встреча со Сталиным. Но прежде чем привести свои записи, несколько слов еще об одном заседании, на котором я присутствовал. Было это заседание в июне сорок



седьмого года, через две недели после того, как Сталин принимал нас по литературным вопросам. Записи об этом заседании у меня не осталось, очевидно, потому, что оно происходило вскоре после разговора Сталина с нами и ничего существенного к этому разговору не добавило. Как я сейчас вспоминаю, о литературе на этом заседании почти не говорилось, во всяком случае, ничего из говорившегося не запомнилось. Заседание было более официальное, более многолюдное, пожалуй, более короткое, чем все другие, на которых я присутствовал. На этом заседании одновременно обсуждались и премии по науке и технике, и премии по литературе и искусству. Впоследствии они всегда обсуждались отдельно. Докладчиком от ЦК по литературе и искусству был Жданов, по науке и технике — Вознесенский.

Одно из воспоминаний, связанных у меня с этим заседанием, как раз о Вознесенском. Это было бы неправдой, если б я сказал, что этот человек, которого я видел впервые, мне понравился, как говорится, лег на душу. Было другое: он запомнился мне не потому, что понравился, а потому, что чем-то удивил меня, видимо, тем, как резковато и вольно он говорил, с какой твердостью объяснял, отвечая на вопросы Сталина, разные изменения, по тем или иным причинам внесенные в первоначальные решения Комитета по премиям в области науки и техники, как несколько раз настаивал на своей точке зрения — решительно и резковато. Словом, в том, как он себя вел там, был некий диссонанс с тональностями того, что произносилось другими, — и это мне запомнилось.

Что же до литературы и искусства, то запомнилась история, внешне вполне юмористическая, но, если можно так выразиться, обоюдно, с двух сторон оперенная некоторой циничностью. Обсуждался фильм «Адмирал Нахимов». Когда Жданов, как председатель комиссии, доложил о присуждении этому фильму первой премии и перечислил всех, кому предполагалось дать премию за фильм, Сталин спросил его, всё ли по этому фильму. Допускаю, что спросил, уже заранее зная, что нет, не всё, и заранее забавляясь тем, чему предстояло произойти.

— Нет, не всё, — сказал Жданов.

— Что?

— Вот есть письмо, товарищ Сталин.

— От кого?

Жданов назвал имя очень известного и очень хорошего актера.

— Что он пишет?

Он пишет, сказал Жданов, что будет политически не совсем правильно, если его не включат в число актеров, премированных по этому фильму, поскольку он играет роль турецкого паши, нашего главного противника, и если ему не дадут премии, то это может выглядеть как неправильная оценка роли нашего противника в фильме, искажение соотношения сил.

Не поручусь за точность слов, но примерно так изложил это письмо Жданов.

Сталин усмехнулся и, продолжая усмехаться, спросил:

— Хочет получить премию, товарищ Жданов?

— Хочет, товарищ Сталин.

— Очень хочет?

— Очень хочет.

— Очень просит?

— Очень просит.

— Ну раз так хочет, так просит, надо дать человеку премию, — все еще продолжая усмехаться, сказал Сталин. И, став вдруг серьезным, добавил: — А вот тот актер, который играет матроса Кошку, не просил премии?

— Не просил, товарищ Сталин.

— Но он тоже хорошо играет, только не просит. Ну человек не просит, а мы дадим и ему, как вы думаете?

За исключением изложения той просьбы, которую пересказал Жданов, в дальнейшем помню все слово в слово и готов поручиться за точность сказанного, но комментировать это охоты нет.

Пожалуй, следует, поскольку я упомянул здесь Вознесенского, как известно, погибшего два с лишним года спустя — ни за что, ни про что по

так называемому Ленинградскому делу, привести здесь одно связанное с Вознесенским воспоминание — не мое.

Тридцатью годами позже того заседания, на котором поведение Вознесенского привлекло мое внимание, один из тогдашних министров — Иван Владимирович Ковалев, с которым мы оказались в одной больнице между чахлыми, недавно посаженными деревцами, вспомнил, как, в качестве министра железнодорожного транспорта сопровождая Сталина в одну из его первых послевоенных поездок, по времени относившуюся примерно к тем же годам, о которых у меня шла речь, услышал от Сталина одобрительные слова о Вознесенском:

— Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих, — как объяснил мне Ковалев, Сталин иногда так иронически «заведующими» называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких подведомственных им министерств. — Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются не согласными друг с другом, все равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу все знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу все знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чем дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям возражения Вознесенского.

Так, по воспоминаниям Ковалева, говорил тогда, где-то за год или за два до того, как уничтожить его, Сталин о Вознесенском и о стиле работы Вознесенского, который ему, Сталину, тогда нравился.

Слушать это спустя тридцать лет было страшновато.

А сейчас о той встрече, которая записана первого апреля сорок восьмого года, на следующий день после того, как она произошла. Вот эта запись с некоторыми сделанными мною тогда же комментариями, а все дополнения, которые сейчас мне кажутся необходимыми, я сделаю после того, как приведу всю тогдашнюю запись со всеми тогдашними комментариями.

Вот она, эта запись:

«Хочу по горячим следам записать основное, что говорилось по вопросам литературы в связи со вчерашним, 31 марта 1948 года, обсуждением Сталинских премий.

К Сталину на этот раз был вызван Фадеев и редакторы толстых журналов — Панферов, Вишневский, я и Друзин. В ходе обсуждения выдвинутых на премии вещей Сталин заговорил о том, что количество премий — элемент формальный и если появилось достойных премии произведений больше, чем установлено премий, то можно число премий и увеличить. Это и было тут же практически сделано, в том числе за счет введения не существовавших ранее премий третьей степени.

Свою мысль о том, что формальные соображения не должны быть решающими, Сталин несколько раз повторил и потом, в ходе заседания, и вообще в том, как он вел обсуждение, совершенно ясно проявилась тенденция — расширить и круг обсуждавшихся произведений, и круг обсуждаемых авторов, и если окажется достаточное количество заслуживающих внимания вещей, то премировать их пошире. Думаю, что, наверное, в связи с расширением этого круга и были впервые на такое заседание вызваны редакторы всех толстых журналов.

При обсуждении ряда вещей Сталин высказывал соображения, имеющие для нас общелитературное значение. Когда обсуждали «Бурю» Эренбурга, один из присутствовавших (докладывавший от комиссии ЦК по премиям в области литературы и искусства Д. Т. Шепилов. — К. С.), объясняя, почему комиссия предложила изменить решение Комитета и дать роману премию не первой, а второй степени, стал говорить о недостатках «Бури», считая главным недостатком книги то, что французы изображены в ней лучше русских.



Сталин возразил:

— А разве это так? Разве французы изображены в романе лучше русских? Верно ли это?

Тут он остановился, ожидая, когда выскажутся другие присутствовавшие на заседании. Мнения говоривших, расходясь друг с другом в других пунктах, в большинстве случаев совпали в том, что русские выведены в романе сильно и что, когда изображается заграница, Франция, то там показаны и любовь французских партизан и коммунистов к Советскому Союзу, показана и роль побед Советского Союза и в сознании этих людей, и в их работе, а также в образе Медведя показана активная роль русских советских людей, попавших в условия борьбы с фашистами в рядах французского Сопротивления. Подождав, пока все выскажутся, Сталин, в общем, поддержал эти соображения, сказав:

— Нет, по-моему, тоже неверно было бы сказать, что французы изображены в романе Эренбурга сильнее русских, — потом, помолчав, задумчиво добавил: — Может быть, Эренбург лучше знает Францию, это может быть. У него есть, конечно, недостатки, он пишет неровно, иногда торопится, но «Буря» — большая вещь. А люди, что ж, люди у него показаны средние. Есть писатели, которые не показывают больших людей, показывают средних, рядовых людей. К таким писателям принадлежит Эренбург. — Сталин снова помолчал и снова добавил: — У него хорошо показано в романе, как люди с недостатками, люди мелкие, порой даже дурные люди в ходе войны нашли себя, изменились, стали другими. И хорошо, что это показано».

Далее в моей записи стоит пробел и заголовок: «Несколько слов примечаний». Привожу их, напоминая еще раз, что примечания тогдашние:

«Это не было достаточно прямо сказано, но лично у меня было ощущение двух разных пониманий недостатков Эренбурга, которые выявились в этом разговоре. В речи того, кто первым говорил при обсуждении романа, получила свое отражение критика, уже прозвучавшая в нашей печати. Указывая на недостатки романа Эренбурга в изображении советских людей, она взяла крен в сторону эстетическую и морально-психологическую. Говорилось о том, что эти люди показаны хуже, слабее французов, во-первых, с точки зрения того, как они показаны, и во-вторых, с точки зрения того, как изображены их душевные изгибы, психологические нюансы, тонкости и так далее. Именно с этой точки зрения критики пришли к выводу, что французы в романе Эренбурга показаны сильнее, а русские — слабее.

Сталин (как я по крайней мере его понял) подошел к этому вопросу с другой, главной стороны — что советские люди показаны в романе сильнее французов в буквальном смысле этого слова. Они сильней, на их стороне сила строя, который стоит за ними, сила их морали, сила воли, сила убежденности, сила правды, сила их советского воспитания. Со всех этих точек зрения они в романе сильней французов. И несмотря на все недостатки «Бури», а эти недостатки абсолютно точно сформулированы простым замечанием: «Может быть, он лучше знает Францию», сделанным с выделением слова «знает», — они, эти недостатки, не перевешивают положительного эффекта понятия «сильнее» в буквальном смысле этого слова».

На этом заканчиваются мои тогдашние примечания и продолжается запись происходившего на заседании:

«В связи с Эренбургом заговорив о писателях, изображающих рядовых людей, Сталин вспомнил Горького. Вспомнил его вообще и роман «Мать» в частности:

— Вот «Мать» Горького. В ней не изображено ни одного крупного человека, всё — рядовые люди.

Еще более подробный разговор, чем о «Буре», возник, когда стали обсуждать роман Веры Пановой «Кружилиха». Фадеев, объясняя причины, по которым на Комитете по Сталинским премиям отвели этот первоначально выдвинутый на премию роман, стал говорить о присущем автору объективизме в изображении действующих лиц и о том, что этот объективизм подвергался критике в печати.

Вишневский, защищая роман, долго говорил, что критика просто-напросто набросилась на эту вещь, только и делали, что ругали ее.

— По-моему, и хвалили! — возразил Сталин. — Я читал и положительные статьи.

(Скажу в скобках, что по всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясшую меня осведомленность).

— Что это — плохо? — возразив Вишневскому, спросил Сталин у Фадеева. — Объективистский подход?

Фадеев сказал, что объективистский подход, по его мнению, это безусловно плохо.

— А скажите, — спросил Сталин, — вот «Городок Окуров», как вы его оцениваете?

Фадеев сказал, что в «Городке Окурове» за всем происходящим там стоит Горький с его субъективными взглядами. И в общем-то ясно, кому он отдает свои симпатии и кому — свои антипатии...

— Но, — добавил Фадеев, — мне лично кажется, что в этой вещи слишком многое изображено слишком черными красками и авторская тенденция Горького, его субъективный взгляд не везде достаточно прощупываются.

Выслушав это, Сталин спросил:

— Ну, а в «Деле Артамоновых» как? На чьей стороне там Горький? Ясно вам?

Фадеев сказал, что ему ясно, на чьей стороне там Горький.

Сталин немножко развел в стороны руки, усмехнулся и полуповторил, полуспросил, обращаясь и ко всем, и ни к кому в особенности:

— Ясно? — и перед тем, как вернуться к обсуждению «Кружилихи», сделал руками неопределенно насмешливый жест, который, как мне показалось, означал: «А мне, например, не так уж ясно, на чьей стороне Горький в «Деле Артамоновых»».

Кто-то из присутствующих стал критиковать «Кружилиху» за то, как выведен в ней предзавкома Уздечкин.

— Ну, что ж, — сказал Сталин. — Уздечкины у нас еще есть.

Жданов подал реплику, что Уздечкин — один из тех, в ком особенно явен разлад между бытием и сознанием.

— Один из многих и многих, — сказал Сталин. — Вот всё критикуют Панову за то, что у людей в ее романе нет единства между личным и общественным, критикуют за этот конфликт. А разве это так просто в жизни решается, так просто сочетается? Бывает, что и не сочетается, — Сталин помолчал и, ставя точку в споре о «Кружилихе», сказал про Панову: — Люди у нее показаны правдиво.

Потом перешли к обсуждению других произведений. Вдруг в ходе этого обсуждения Сталин спросил:

— А вот последние рассказы Полевого — как они, по вашему мнению?

Ему ответили на это, что рассказы Полевого неплохи, но значительно слабее, чем его же «Повесть о настоящем человеке».

— Да, вот послушайте, — сказал Сталин, — что это такое? Почему под этим рассказом стоит «литературная редактура Лукина»? Редакция должна редактировать рукописи авторов... Это ее обязанность. Зачем специально ставить «литературная редактура Лукина»?

Панферов в ответ на это стал объяснять, что во всех изданиях книжного типа всегда ставится, кто редактор книги. А когда вещь печатается в журнале — кто именно ее редактировал, — обычно не ставится, а если при публикации указывается ее литературный редактор, то это имеет особый смысл, как форма благодарности за большую редакторскую работу.

Сталин не согласился.

— В каждом журнале есть редакция. Если у автора большие недостатки и если он молод, редакция обязана помогать ему, обязана редактировать его произведения. Это и так ее обязанность, — жестко подчеркнул Сталин, — зачем же эти слова «литературная редактура»? Вот, например, в третьем номере «Знамени» напечатано: «Записки Покрышкина при участии Денисова». Тоже литературная редакция Денисова и благодарность за помощь Денисову.

Вишневский стал объяснять Сталину, как родилась эта книга, что Покрышкин хотел рассказать эпизоды из своей жизни, но что всю книгу



от начала и до конца написал полковник Денисов, и они вместе избрали наиболее деликатную форму: Покрышкин благодарит Денисова за помощь.

— Если написал Денисов, — сказал Сталин, — так пусть и будет написано: Денисов о Покрышкине. А то так много писателей у нас появится.

**10 марта 1979 года**

На эту тему говорили еще довольно долго и подробно. А общий смысл того, к чему вел этот разговор Сталин, и смысл тех реплик, которые он подавал в ходе этого разговора, заключается, насколько я понимаю, в следующем. Редактура, даже самая большая и глубокая, есть дело редакции, дело общественное, за которое нет оснований требовать особой благодарности, почета и публичности. А что касается вещи, которую пишет один человек, а подписывает другой, и всяческих «спасательных» форм, вроде «литературная редакция» или «литературная запись», благодарность за помощь и прочее, — все это вызвало у Сталина категорические возражения. Это вопрос сложный, и нам, конечно, предстоит его продумать, ибо выходы из него безусловно есть — и такой, как соавторство, и такой, как честное предисловие, описывающее метод работы. Наконец, возможна и такая форма, как «книга такого-то о таком-то, написанная по его собственным рассказам», причем в этом случае предисловие может принадлежать или тому, кто писал книгу, или тому, кому принадлежит устный рассказ, положенный в ее основу.

После разговора, связанного с рассказами Полевого, зашла речь о книге Василия Смирнова «Сыновья». Фадеев характеризовал ее и объяснил, почему она была отведена на Комитете, — в связи с ее не особенно актуальной сейчас тематикой, изображением деревни начала этого века.

Сталин сказал задумчиво:

— Да, он хорошо пишет, способный человек, — потом помолчал и добавил полувопросительно, полуутвердительно: — Но нужна ли эта книга нам сейчас?!

Панферов заговорил о книгах Бабаевского и Семушкина, настаивая на том, что их можно было бы включить в список премированных произведений, сделав исключение, премировав только первые, вышедшие части романов и таким образом поощрив молодых авторов.

Сталин не согласился.

— Молодой автор, — сказал он. — Что значит молодой автор? Зачем такой аргумент? Вопрос в том, какая книга — хорошая ли книга? А что же — что молодой автор?

Эти его слова не были отрицательной оценкой названных Панферовым книг. Наоборот, об этих книгах он отозвался, в общем, положительно. А его замечание — что значит молодой автор? — носило в данном случае принципиальный характер».

Вот то, что было записано тогда, включая соображения, возникшие у меня после заседания и перед записью.

А теперь несколько дополнений, связанных с тем заседанием, которые я, по понятным причинам, не мог тогда записать, и некоторые мои нынешние воспоминания и размышления.

Первое дополнение связано с тем, что Сталин имел обыкновение — я видел это на нескольких заседаниях, не только на том, о котором сейчас пишу, — брать с собой на заседание небольшую пачку книг и журналов. Она лежала слева от него под рукой, что там было, оставалось неизвестным до поры до времени, но пачка эта не только внушала присутствующим интерес, но и вызывала известную тревогу — что там могло быть. А были там вышедшие книгами и напечатанные в журналах литературные произведения, не входившие ни в какие списки представленных на премию Комитетом. То, о чем шла, точнее, могла пойти речь на заседании в связи с представлениями Комитета по Сталинским премиям, Сталин, как правило, читал. Не могу утверждать, что он всегда читал всё. Могу допустить, что он какие-то произведения и не читал, хотя это на моей памяти ни разу прямо не обнаружилось. Все, что во время заседания попадало в поле общего внимания, в том числе все, по поводу чего были расхождения в Союзе писателей, в Комитете, в комиссии ЦК, — давать, не давать премию, перенести с первой степени на вторую или наоборот, — всё, что в какой-то

мере было спорно и вызывало разногласия, он читал. И я всякий раз, присутствуя на этих заседаниях, убеждался в этом.

Когда ему приходила в голову мысль премировать еще что-то сверх представленного, в таких случаях он не очень считался со статусом премий, мог выдвинуть книгу, вышедшую два года назад, как это в мое отсутствие было с моими «Днями и ночами», даже напечатанную четыре года назад, как это произошло в моем присутствии, в сорок восьмом году. В тот раз я сидел рядом с редактором «Звезды» Друзиным, сидел довольно далеко от Сталина, в конце стола. Уже прошла и поэзия, и проза, и драматургия, как вдруг Сталин, взяв из лежавшей слева от него пачки какой-то журнал, перегнутый пополам, очевидно, открытый на интересовавшей его странице, спросил присутствующих:

— Кто читал пьесу «Вороний камень», авторы Груздев и Четвериков?

Все молчали, никто из нас пьесы «Вороний камень» не читал.

— Она была напечатана в сорок четвертом году в журнале «Звезда»,— сказал Сталин.— Я думаю, что это хорошая пьеса. В свое время на нее не обратили внимания, но я думаю, следует дать премию товарищам Груздеву и Четверикову за эту хорошую пьесу. Какие будут еще мнения?

По духу, который сопутствовал этим обсуждениям на Политбюро, вопрос Сталина: «Какие будут еще мнения?» — не предполагал, что иных мнений быть не может, но в данном случае их действительно не предполагалось, поскольку стало ясно, что никто, кроме него самого, пьесу не читал.

Последовала пауза. В это время Друзин, лихорадочно тряхнув меня за локоть, прошептал мне в ухо:

— Что делать? Она была напечатана у нас в «Звезде», но Четвериков арестован, сидит. Как, сказать или промолчать?

— Конечно, сказать,— прошептал я в ответ Друзину, подумав про себя, что если Друзин скажет, то Сталин, наверное, освободит автора понравившейся ему пьесы. Чего ему стоит это сделать? А если Друзин промолчит сейчас, ему дорого это обойдется потом — то, что он знал и не сказал.

— Остается решить, какую премию дать за пьесу, какой степени?— выдержав паузу, неторопливо сказал Сталин.— Я думаю...

Тут Друзин, решившись, наконец, решившись, выпалил почти с отчаянием, очень громко:

— Он сидит, товарищ Сталин.

— Кто сидит?— не понял Сталин.

— Один из двух авторов пьесы, Четвериков сидит, товарищ Сталин.

Сталин помолчал, повертел в руках журнал, закрыл и положил его обратно, продолжая молчать. Мне показалось, что он несколько секунд колебался — как поступить, и, решив это для себя совсем не так, как я надеялся, заглянул в список премий и сказал:

— Переходим к литературной критике. За книгу «Глинка»...

После критики перешли к кино, тут хорошо помню, как я испытал некую мстительную радость, когда среди других фильмов была дана премия и фильму «Русский вопрос», к которому я имел отношение только как автор первоисточника сценария — пьесы. Все остальное было сделано Михаилом Ильичом Роммом, он был не только режиссером, но и автором сценария, для которого я написал всего несколько фраз, показавшихся Ромму необходимыми для последнего монолога героя пьесы Смита. Я получил премию за «Русский вопрос» годом раньше и, разумеется, в числе премированных на этот раз не фигурировал. А некоторая мстительная радость возникла у меня вот почему. Еще в последние годы войны при руководителе кинематографии был создан независимый от него художественный совет. Туда входили различные известные деятели искусства, литературы, журналисты, философы, председателем его был Леонид Федорович Ильичев, человек, уму и незаурядным способностям которого я отдавал должное, но при этом стойко и однообразно не любил его на всех тех постах, на которых он в разное время находился. Не любил за тот способ употребления своего ума и способностей, который он избирал в различных конфликтных ситуациях.

Я не бывал на художественном совете чуть ли не с первого послевоенного лета — не то два, не то три года, и явился на него, когда обсуждался фильм «Русский вопрос». Характер этого обсуждения после долгого перерыва поразил меня и по сути, и по форме. По форме тон, который задавал председатель, был желчным и грубым, а по сути от Ромма требовали того, чего не было в пьесе «Русский вопрос»: отношения с Америкой за время, пока делалась картина, сильно обострились, ужесточились, и от Ромма хотели, чтобы эту новую ситуацию сильно ожесточившихся отношений он механически перенес в фильм, действие которого, как и пьесы, разворачивалось сразу же после окончания войны в той атмосфере, которая тогда существовала, а не в той, которая сложилась к сорок восьмому году. В сущности, от него требовали, чтобы он сделал другой фильм, этот к выпуску на экран не рекомендовали, причем все это еще сопровождалось грубыми высказываниями по адресу актеров и актрис — а надо добавить, главную роль в «Русском вопросе» играла жена Ромма, превосходная актриса Кузьмина,— что усугубляло и грубость высказываний.



Я там, на этом художественном совете, не согласился ни с существом упреков, адресованных Ромму, ни с формой. А по поводу формы в заключение сказал, что не узнаю художественного совета. Видимо, за то время, что я не был на его заседаниях, здесь успели привыкнуть к грубости и даже к хамству, не украшающим наше собрание. Примерно так. Некоторые из моих коллег сочли себя оскорбленными, на следующем собрании художественного совета постановили осудить мое непозволительное поведение.

Вот почему присуждение Ромму за его фильм Сталинской премии первой степени было для меня связано с некоей долей мстительной личной радости или, если угодно, удовлетворения. А в принципиальном плане, что было, конечно, куда важнее, давало, как мне тогда показалось, некоторую почву для борьбы со сверхконъюнктурщиками, подчинившись которым нам пришлось бы в связи то с теми, то с другими общественными изменениями и веяниями чуть не каждый год заново черкать и дописывать раньше написанные вещи.

Я вспомнил всю эту, в общем, не столь значительную историю, имевшую отношение ко мне и к Ромму, потому что она весьма характерна для тех, во многих отношениях очень трудных ситуаций, когда отнюдь не всегда дело кончалось таким образом, как у нас с Роммом, порою как раз наоборот к немалому, а порою просто-напросто стыдному ущербу для нашего искусства и нашей литературы.

Обсуждение всех премий было уже закончено, но Сталин, к концу обсуждения присевший за стол, не вставал из-за стола, похоже было, что он собирался сказать нам нечто, припасенное к концу встречи. Да мы в общем-то и ждали этого, потому что существовал один вопрос, оставленный без ответа. Список премий по поэзии открывался книгой Николая Семеновича Тихонова «Югославская тетрадь», книгой, в которой было много хороших стихов. О «Югославской тетради» немало писали и вполне единодушно выдвигали ее на премию. Так вот эту премию как корова языком слизала, обсуждение велось так, как будто никто этой книги не выдвигал, как будто она не существовала в природе. Это значило, что произошло что-то чрезвычайное. Но что? Я и другие мои товарищи не задавали вопросов на этот счет, думая, что если в такой ситуации спрашивать, то это должен сделать Фадеев как старший среди нас, как член ЦК. Но Фадеев тоже до самого конца так и не задал этого вопроса про «Югославскую тетрадь» Тихонова — или не считал возможным задавать, или знал что-то, чего не знали мы, чем не счел нужным или не счел себя вправе с нами делиться.

Просидев несколько секунд в молчании, Сталин, обращаясь на этот раз не к нам, как он это делал обычно, а к сидевшим за столом членам Политбюро, сказал:

— Я думаю, нам все-таки следует объяснить товарищам, почему мы сняли с обсуждения вопрос о книге товарища Тихонова «Югославская тетрадь». Я думаю, им надо это знать, и у них, и у товарища Тихонова не должно быть недоумений.

В ответ на этот полувопрос, полуутверждение кто-то сказал, что да, конечно, надо объяснить. В общем, согласились со Сталиным.

Должен в связи с этим заметить, что, как мне показалось, в тех случаях, когда какой-то вопрос заранее, без нашего присутствия, обговаривался Сталиным с кем-то из членов Политбюро или со всеми ними, Сталин не пренебрегал возможностью подчеркнуть нам, что он высказывает общее мнение, а не только свое. Другой вопрос, насколько это было намеренно

и насколько естественно, что шло тут от привычки и давнего навыка, что от сиюминутного желания произвести определенное впечатление на тех представителей интеллигенции, которыми мы являлись для Сталина на этих заседаниях.

— Дело в том, — сказал Сталин, — товарищ Тихонов тут ни при чем, у нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито плохо себя ведет.

Сталин встал и прошелся. Прошелся и повторил:

— Плохо себя ведет. Очень плохо.

Потом Сталин походил еще, не то подыскивая формулировку специально для нас, не то еще раз взвешивая, употребить ли ту, что у него была наготове:

— Я бы сказал, враждебно себя ведет, — заключил Сталин и снова подошел к столу. — Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, мы дадим ему премию в следующем году за его новое произведение. Ну, а почему мы не могли сделать это сейчас, надо ему разъяснить, чтоб у него не возникло недоумения. Кто из вас это сделает?

Сделать это вызвался я. Примерно на этом и кончилось заседание. Никаких более подробных объяснений, связанных с Тито, Сталин давать не счел нужным.

Задаю себе сейчас вопрос: почему я сам вызвался тогда идти к Тихонову и рассказывать ему о том, что произошло с его «Югославской тетрадью»? Может быть, помимо дружбы с Тихоновым, желания по-дружески взять на себя этот, нерадостный для него разговор играло роль и то, что я, пожалуй, острее других моих товарищей чувствовал какое-то назревшее неблагополучие в наших отношениях с Тито.

Осенью сорок седьмого года как глава маленькой делегации, в которую входили один из секретарей ЦК комсомола Шелепин и заведующий московским парткабинетом, в прошлом секретарь партийной организации Союза писателей Хвалебнова, я был в Югославии на конгрессе Народного фронта, — это был последний конгресс, на котором присутствовали в те годы представители Советского Союза. Когда мы прилетели в Белград, на аэродроме никого из нашего посольства не было, нас встречал один из членов тогдашнего Политбюро Югославии, председатель их Госплана Андрия Хебранг. Мы поехали прямо на конгресс, потому что мы, как почти всегда в те годы, опаздывали или прибывали к самому началу, — так и не заехав в посольство.

На конгрессе Народного фронта мы сидели, как и все другие делегации, на сцене, в первом из нескольких, косо спускавшихся вниз рядов. Председательствовавший на конгрессе Сретен Жуйович вел заседание сверху, из-за наших спин, а перед нами был зал, и в его широком центральном проходе на двух отдельно поставленных прямо перед сценой креслах на протяжении нескольких дней заседаний сидели Тито и Ранкович. Прямо перед нами, в нескольких метрах от нас, глаза в глаза.

Я не видел Тито три года, с осени сорок четвертого, и он, особенно рядом с одетым в пиджачную пару Ранковичем, показался мне каким-то холеным и броско нарядным. Некоторая барственная повадка была ему свойственна и тогда, в сорок четвертом году. За эти три года она стала куда заметней, так же, как и его забота о своей внешности и костюме.

Было и что-то странное в этом сидении в креслах — вроде и со всеми, но отдельно от всех, вроде и демократично, но как-то афишированно. Особенно это меня поразило, зацепило мое внимание в первый день; потом, в следующие дни — а конгресс продолжался три или четыре дня — я уже стал привыкать к этому, потому что Тито вместе с Ранковичем бывал на конгрессе каждый день.

В посольстве нашем, куда мы приехали в первый вечер, была какая-то странная сумятица. Посол Лаврентьев, которому Шелепин со свойственной ему прямотой высказал все, что думал о том, что нас не встретили и не позаботились проинформировать, и пообещал об этом безобразии рассказать в Москве, в ответ говорил что-то невнятное. Мол, ни о чем особенном информировать ему нас нет необходимости, о своих наблюдениях и выводах он информирует Москву, а нам предстоит сделать то же самое на основании наших наблюдений. Он явно не хотел входить с нами ни в какие подробности обстановки, предоставив нас самим себе.



Из последующих впечатлений этой поездки в мою память запали два.

Во-первых, прием у Тито в каком-то загородном или пригородном дворце. Прием этот происходил в самом дворце и — благо, погода была еще хорошая, стояла золотая осень — в парке и на открытой площадке около дворца. Тито был необыкновенно нарядно одет, в каком-то весьма шедшем ему мундире, с перстнями на пальцах. Он был гостеприимен и, я бы сказал, обаятелен, если бы это обаяние не было каким-то подчеркнутым, осознанным и умело эксплуатируемым. Он был радушен со всеми, с нами тоже, и вообще в его обращении с нами не чувствовалось ничего, что бы говорило о грядущем изменении отношений. Но сам он был не таким, как в сорок четвертом году. Другим, чем в первый ноябрьский праздник в освобожденном Белграде. Там он был первым среди своих товарищей, неоспоримо первым, а здесь была встреча вождя с народом, встреча, требовавшая если не кликов, то шепота восхищения.

Сейчас, думая о том, что это мне напоминает, я вдруг вспомнил по ассоциации завершающую или одну из завершающих сцен в фильме «Падение Берлина». Сцену, которая была вставлена туда по предложению самого Сталина: Сталин, величественно сыгранный Алексеем Диким, нарядный, непохожий на себя самого, среди встречающих его на аэродроме в Берлине ликующих людей. Кто знает, почему Сталин при его уме и иронии заставил вкатить в фильм эту чудовищную по безвкусице сцену, кстати, не имевшую ничего общего ни с исторической действительностью, потому что ничего этого не было, ни с его личностью, ибо он был в этом фильме, в этой его сцене совершенно не похож на самого себя? У меня есть только одно объяснение: Сталин считал, что главное лицо победившей страны — Верховный главнокомандующий ее армии, он должен остаться в памяти народа этакой выбитой на бронзе медалью, этаким помпезным победителем, нисколько не похожим на него самого в жизни. Если это так, то за этим стояло высокомерие, презрение к простым людям, якобы неспособным понять его роль в истории без этой пышной и дешевой сцены апофеоза.

Я вспомнил сейчас именно эту резавшую мне и тогда глаз сцену из фильма «Падение Берлина» по ассоциации с тем явлением Тито народу, которое мы наблюдали в Белграде с чувством внутренней неловкости и неодобрения.

То, как вел себя Тито на этом приеме, не понравилось всем нам троим. А то, как вел себя Жуйович, провожавший нас на аэродром, встревожило нас, меня уж во всяком случае. Мы сидели и говорили с ним на аэродроме так долго, как только можно было, пили вино, снова говорили. Он был очень взволнован чем-то, ему явно не хотелось нас отпускать. Задерживалась раза два посадка на самолет, может быть, даже был задержан на сколько-то минут и сам отлет. Было такое ощущение, как будто этот человек в последнюю минуту что-то хочет нам сказать или хотя бы что-то дать понять. Но что? За этим чувствовалось какое-то не понятное еще нам неблагополучие.

И Хебранг, встречавший нас, и Жуйович, провожавший нас, были людьми, о которых я потом слышал — сначала много хорошего, потом много плохого. Но так или иначе оба они впоследствии погибли там, в Югославии, в ходе того конфликта, который возник у Сталина с Тито. В сочетании с их драматическим финалом все это с большой остротой запечатлелось в моей памяти.

**16 марта 1979 года**

Тогда, когда я ехал к Николаю Семеновичу Тихонову рассказывать ему о происшедшем на заседании, предстоящая трагедия еще только разворачивалась, но слова Сталина о Тито, хотя и были для меня в его устах абсолютной неожиданностью, все-таки упали на почву какого-то моего собственного недоумения и ощущения неблагополучия или, во всяком случае, не полного благополучия.

Раз я уж затронул эту тему, надо в том, что касается лично меня, договорить все до конца, тем более, что, как я уже убедился за то время, пока пишу этот черновик, тема: «Сталин глазами человека моего поколения» во многих случаях почти неотделима от темы, порой еще более внутренне трудной: «Ты сам своими собственными глазами много лет спустя».

Как-то, дело было уже после заседания Коминформа и полного разрыва отношений с Тито, меня вызвали и, познакомив с рядом материалов ТАСС, связанных с выступлениями Тито и с выступлениями председателя Союзной Скупщины Моше Пиаде, предложили мне откликнуться на эти выступления политическим памфлетом и добавили, что я должен рассматривать это как прямое поручение товарища Сталина.

Что теперь сказать об этом вышедшем из-под моего пера так называемом политическом памфлете. Мне стоило немалого труда заставить себя перечесть это сочинение, написанное с постыдной грубостью и, самое главное, ложное по своим предпосылкам и по своему материалу. Тогда меня вызвал по поводу этой статьи Молотов. Усадив меня у себя в кабинете за стол для заседаний и сев рядом со мной, он показал мне мою статью, лист за листом, не передавая ее мне в руки. Оказывается, статью правил Сталин и поручил Молотову прежде, чем передать статью в печать, познакомить меня, автора, с этой правкой. Не буду повторяться, я уже сказал то, что думаю сейчас об этой статье, она была хороша и без правки, но правка, и довольно значительная, еще больше усугубляла грубость статьи. Финальный абзац, целиком написанный Сталиным, и название, им же придуманное, доводили эту грубость до геркулесовых столбов. Спросив для проформы, согласен ли я с той правкой, которая сделана в статье, Молотов, так и не дав мне в руки ни одной страницы, оставил ее у себя, простился со мной, а на следующий день я имел возможность прочесть ее именно в этом виде. Так выглядело все, связанное с этой статьей, не украсившей ни моего жизненного, ни моего журналистского пути.

Если вспомнить наши тогдашние ощущения, то во мне, например, в связи с югославскими делами, боролись разные чувства. Чему-то из писавшегося про Югославию в статьях и документах я верил, чему-то не верил; на душе была тяжесть от всего происшедшего между нами и югославами. Было хорошо понятное мне сейчас стремление уверить себя в том, что югославское руководство больше, чем наше, виновато в том, что произошло. Но самое главное противоречие состояло в том, что я ведь помнил Югославию сорок четвертого года, помнил по тем временам не только Тито, а и других людей, многих и разных, в частности Кочу Поповича, с которым мы не один день и не одну ночь провели бок о бок в Южной Сербии и который стал затем начальником Генерального штаба, а после этого государственным секретарем и, стало быть, разделял политику и позицию Тито. А облик Кочи Поповича, все воспоминания о нем не могли связаться для меня с понятием предательства. И вообще всё вместе не укладывалось в нечто единое. Вспоминая Югославию сорок четвертого года, я не мог мысленно совместить это с тем, что, если верить всему, что писалось и говорилось, происходило там теперь.

Поездка в пятьдесят пятом году нашей правительственной делегации во главе с Хрущевым в Югославию, возрождение отношений и та откровенность, с которой при обсуждении итогов этой поездки на пленуме ЦК говорилось о мере нашей ответственности,—все это было мне не просто по душе, а снимало тот камень, который на ней лежал. Тогда же, в пятьдесят пятом году, готовясь к выступлению на московском городском партийном активе, я решил, что с моей стороны будет непорядочным умолчать о собственной доле ответственности. Повторяться на такие темы довольно мучительно, поэтому приведу здесь сказанное тогда:

«Мне было, например, горько, что в годы разрыва с Югославией и я, как журналист, вложил свою лепту в тот хор, прямо скажем, брани по адресу руководителей Югославии, в тот хор, который не один год звучал со страниц наших газет. Я думаю о том, что, конечно, можно сейчас сослаться на ту чудовищную дезинформацию, которую преступно стремилась поставлять шайка Берии — Абакумова; можно сослаться на очень авторитетные документы, которые появились в результате ошибочного доверия к этой чудовищной дезинформации, но я вот сейчас спрашиваю себя не в порядке бития в грудь—это никому из нас не нужно,—а вот так, просто по-человечески: ну, безусловно, можно было поверить в то, что кто-то в той же Югославии не оправдал доверия народа, оказался не тем, кем его считали, это бывает в истории, мы знаем. Но как все-таки можно было до конца поверить в то, что почти все буквально люди, которые в годы войны руководили югославской компартией, коммунистической партией, были во главе правительства, командовали партизанскими бригадами, дивизиями и корпусами, что все они якобы оказались не теми, за кого их считал народ. Нельзя было в это верить, такая доверчивость не делает чести никому, так, говоря просто по-человечески, быть не могло и не было».



Остается добавить, что и после пятьдесят пятого года в течение ряда лет я не находил в себе сил поехать в Югославию даже тогда, когда возникла прямая необходимость побывать в тех местах, где я был во время своего пребывания у партизан. Мне было стыдно ехать, все из-за той же проклятой статьи. Многое из происходившего за последующее десятилетие там, в Югославии, не привлекало моих симпатий к личности Тито, скорее наоборот, он все чаще вспоминался мне в своем дворце при том явлении вождя народу, о котором я уже упоминал, и все реже вспоминался поющим вместе с командирами партизанских корпусов «Эй, комроты, даешь пулеметы!» в сорок четвертом году на празднике седьмого ноября. Все так, но та давнишняя статья моя про этого человека оставалась ложью, и мне продолжало быть стыдно за нее.

Когда я наконец все-таки решился, придравшись к случаю—к какой-то международной туристической конференции, которая происходила в Сплите и на которую меня пригласили,—взял и поехал в Югославию, побывал не только в Сплите, но и в местах, знакомых мне по военному времени, при всем радушии и добром отношении всех югославов, с которыми я встречался, при их явно выраженном нежелании вспоминать тяжелые страницы прошлого, для меня оставался очень важным и болезненным вопрос: захочет ли теперь встретиться со мной Коча Попович? Захочет ли он этого после той, несомненно читанной им в бытность не то начальником Генерального штаба, не то государственным секретарем моей статьи?

В то время, когда я приехал в Югославию, он был не то что не у дел, но занимал пост скорее весьма почетный, чем сопряженный с реальной властью. Я через третьих лиц сообщил ему, что хотел бы с ним встретиться, если у него есть на то желание. Он подтвердил, что готов встретиться, назначил час и заехал за мной в гостиницу, чтобы, как выяснилось, вместе пойти пообедать в какой-то любимый рыбный ресторанчик. Был он все такой же легкий, худощавый, как раньше, очень похожий на себя самого, каким был двадцать с лишним лет назад. В разговоре с этим человеком, который, по первому моему впечатлению, остался таким же, каким был, и к которому я продолжал чувствовать прежнюю симпатию, я не уклонился от тяготившего меня воспоминания о моей статье. Он задумался, помолчал, потом сказал, что время было очень плохое, что вы, конечно, были во многом виноваты. «Но и мы тоже были виноваты»,—добавил он с грустью. Мне вообще показалось, что он был грустен. Было нечто в обстановке, сложившейся к тому времени в Югославии, тяготившее его, было что-то не то или не совсем то, о чем он мечтал в сорок четвертом году, когда мы ездили с ним на одном «джипе», и, может быть, воспоминания об этом даже обострили его нынешнюю грусть.

Мы довольно долго просидели вместе, потом он меня завез обратно в гостиницу, и мы расстались. Его все узнавали в лицо—на улице, в ресторане, в гостинице, но он вел себя, совершенно не замечая этого. Накинув плащ, он быстрой походкой вышел на улицу. Было что-то в этом человеке, во всей его худощавой легкости, во всем его спартанстве, в его одновременной скромности и резкости, в его смешанной с иронией грусти, никак не сочетавшееся с обликом другого человека, с обликом Тито. Наверное, облик того и другого был частью их человеческой сути. Это были два очень разных человека, и у меня тогда осталось ощущение, хотя на эту тему между нами не было сказано ни единого слова, что им, кажется, уже давно, уже не первый, далеко не первый год, в чем-то не по дороге.

Однако хочу вернуться к своим размышлениям, связанным с тем заседанием Политбюро в сорок восьмом году. Хотя о нем сказано и так уже много, а все же что-то остается недосказанным. Во-первых, о присутствующих. Заседания эти—и в сорок восьмом, и в последующие годы, вплоть до пятьдесят второго, скажу обо всех сразу, в одном месте,—никогда не были многолюдными. Были там обычно члены Политбюро и начальник или заместитель начальника управления агитации и пропаганды ЦК, на заседаниях бывали министр кинематографии, председатель Комитета по делам искусств и трое-четверо писателей—секретарей Союза. Однажды к

ним добавились еще два редактора толстых журналов и редакторы, совмещавшие свои должности с секретарством в Союзе, как это было у нас с Вишневским. Вот и все. По-моему, бывал на этих заседаниях от композиторов еще и Тихон Хренников. Чтобы хоть когда-нибудь были актеры или художники, или театральные и кинорежиссеры, я что-то не могу вспомнить. Словом, все это было очень немноголюдно. От этого и доверительная тональность — не столько заседаний, сколько разговоров с нами, — с которой Сталин вел эти встречи. Члены Политбюро высказывались мало, особенно на литературные темы. Видимо, литература, особенно после смерти Жданова, воспринималась всецело как епархия самого Сталина, и только его.

Иногда высказывались о живописи, о которой судили по репродукциям, представленным Комитетом по делам искусств. Иногда о спектаклях, чаще о кино. Это, пожалуй, понятно: ощущения, что кто-нибудь, кроме Сталина, следит за литературой, у меня не было. Каждый, конечно, что-то читал, один — одно, другой — другое, а кино смотрели все вместе и зачастую не единожды. Должно быть, поэтому и возникал общий разговор на тему, премию какой степени дать той или иной кинокартине. И когда возникали разные мнения в этой единственной области, в кино, Сталин прибегал к голосованию:

— Давайте проголосуем, кто за первую премию, кто за вторую.

Сам он рукй не поднимал, смотрел на поднятые руки и мысленно, очевидно, присоединял себя к тем или к другим, и говорил результат:

— Значит, даем первую.

Или:

— Значит, даем вторую.

Ничего похожего при обсуждении всех других сфер искусства на моей памяти не происходило. Когда дело касалось кино, Сталин больше общался с членами Политбюро, чем с нами, приглашенными, интересовался их мнением, а не нашим. Не могу припомнить, чтобы он во время этих заседаний когда-нибудь спросил наше мнение о кинофильмах. С литературой же все было наоборот. Он ничьего мнения, кроме нашего, о произведениях литературы, на моей памяти, не спрашивал.

Помню, как на последнем заседании, на котором я присутствовал, — оно происходило уже в пятьдесят втором году не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний со столиками-пюпитрами, когда мы пришли и стали садиться подальше, ожидая, что поближе к Сталину сядут вошедшие вместе с ним члены Политбюро, — он полушутя-полусерьезно сказал:

— Давайте вы садитесь поближе, они-то тут каждый день бывают, а с вами мы редко видимся (или: вы редкие гости здесь — что-то в этом духе было сказано).

Но я тогда не понимал до конца того значения, которое придавал Сталин этим встречам, происходившим раз в год. Только уже после его смерти, узнав, как редко в последние годы он принимал людей, его по много месяцев не видели даже и некоторые члены Политбюро; все общение его с миром происходило преимущественно через посредство нескольких людей, никаких сколько-нибудь широких встреч не бывало, — только тогда я задним числом сообразил, что в последние годы жизни Сталин, приглашая нас к себе, на эти заседания, и проводя их неторопливо и, я бы сказал, весьма терпимо к высказыванию и повторению разных мнений, — он как бы раз в год пробовал прощупать пульс интеллигенции через нас самих и через разговор с нами о тех книгах, которые пишутся и издаются. С этим был связан, по-моему, не только характер обсуждений, но и манера поведения Сталина. Мне много раз доводилось читать и слышать о том, как он бывал жесток, груб с людьми, в том числе с теми военными людьми, с которыми он повседневно работал и на которых опирался в годы войны. Так вот, такого Сталина я на этих заседаниях ни разу не видел. С нами он ни разу не был груб — это не значит, что другие люди рассказывали о нем неправду, смешно было бы так думать, люди рассказывали о нем правду, и их рассказы заслуживают полного доверия, а просто раз в год, кладя руку на пульс интеллигенции в нашем лице, он считал нужным создавать у нас последовательно именно такое представление о себе, какое он хотел создать. В этом представлении о нем грубости не было места.



Перечитывая сейчас свою запись сорок восьмого года, обратил внимание на одну фразу Сталина, на которую раньше, перечитывая эту запись не раз, не обращал внимания. Подумал о том, какая позиция стояла за его фразой: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — сказанной Сталиным о хорошо написанной, по его же собственному мнению, книге Василия Смирнова о русской деревне начала века? Что значила эта фраза, лишившая премии хорошо написанную, по мнению самого Сталина, книгу? То, что Сталин был прежде всего политик, а потом уже ценитель художественных достоинств литературы? Разумеется, и это. Но не только это. Говоря о Сталине как о политике, в связи с этим конкретным примером стоит, как мне кажется, подумать о его в высшей степени утилитарном подходе к истории.

**17 марта 1979 года**

Добавлю, что в принципе утилитарное отношение к истории в некоторых случаях сочеталось у Сталина с личным отношением к тем или иным историческим личностям, в действиях которых он таким образом получал дополнительную опору в истории. Я еще вернусь к этому, сначала же хочу сказать об историческом утилитаризме Сталина шире, как об общей концепции, включавшей в себя и личный момент.

Начну с того, что Сталин никогда не высказывался против увлечения исторической тематикой вообще и никогда не призывал писателей к непременному изображению современности как самого главного и неотложного для них дела. Таких высказываний у него я не помню. Но, анализируя книги, которые он в разные годы поддерживал, вижу существовавшую у него концепцию современного звучания произведения, концепцию, в конечном счете связанную с ответом на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» Да или нет?

Если начать не с литературы, а с истории, то для меня несомненно, что замечания Сталина, Жданова и Кирова к конспектам учебников новой истории и истории СССР, появившиеся в январе тридцать шестого года, отнюдь не были свидетельством вдруг возникшей у Сталина симпатии к царям и иным государственным деятелям царской России. Покровский отвергался, а на его место ставился учебник истории Шестакова не потому, что вдруг возникли сомнения в тех или иных классовых категориях истории России, а потому, что потребовалось подчеркнуть силу и значение национального чувства в истории и тем самым в современности, в этом и был корень вопроса. Сила национально-исторических традиций, в особенности военных, была подчеркнута в интересах современной задачи. Задача эта, главная в то время, требовала мобилизовать все, в том числе и традиционные, национальные, патриотические чувства, для борьбы с германским нацизмом, его претензиями на восточное пространство и с его теориями о расовой неполноценности славянства.

Если говорить о литературе, то Сталин за те годы, когда существовали Сталинские премии, делавшие более очевидными его оценки, поддержал или сам выдвинул на премии целый ряд произведений исторических. А если говорить о кино, то даже составил программу — о каких исторических событиях и о каких исторических личностях следует сделать фильмы.

И всякий раз — и за произведениями, получившими премии, и за идеями о создании произведений о чем-то или о ком-то, произведений, которые впоследствии были обречены, как правило, на премию, стояли сугубо современные политические задачи. В свое время Сталин сначала поддержал «Чапаева», а вслед за тем выдвинул идею фильма о Щорсе. И Чапаев, и Щорс были подлинными героями гражданской войны, но при этом с точки зрения общих масштабов были, конечно, фигурами второго плана. И поддержка Сталиным фильма «Чапаев», и его идея фильма о Щорсе пришлись на ту пору, когда фигуры первого плана, занимавшие высокие посты в современной армии, такие, как Егоров, как Тухачевский или Уборевич, бывшие командующие Юго-Западным, Западным, Дальневосточным фронтами, были предназначены к исчезновению из истории гражданской войны, — не просто к исчезновению из жизни, а к исчезновению из истории. Троцкий был прямым политическим врагом, и не о нем и его сторонниках в данном случае речь, но, разумеется, не случайно, что по идее Сталина делался фильм о Щорсе, а не о таких, как и Щорс, уже ушедших

в небытие, но куда более крупных, притом политически никак не запятнанных фигурах, как, скажем, Фрунзе или Гусев.

С выходом «Щорса» кино обогатилось еще одной хорошей картиной, в целом хорошей, а местами потрясающей, но одновременно с этим закрепилась важная тогда для Сталина концепция истории гражданской войны, современная схема: Ленин — Сталин — Щорс — Чапаев — Лазо. После великого «Чапаева» братья Васильевы делают очень хорошую картину «Волочаевские дни», закрепляющую все ту же концепцию, при которой из поля зрения исчезают фигуры людей, руководивших борьбой на Дальнем Востоке, Уборевича и Постышева.

В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар ее, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингиз-хан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородина. Повествование о событиях, отдаленных от сорок второго года семью с лишним и без малого шестью веками, видимо, по соображениям Сталина, имело сугубо современное значение. Роман «Чингиз-хан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобедимыми. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побежденным, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории.

Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же, в сорок втором. Но в сороковом или в сорок первом году вышел еще один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет. Этот очень интересный факт подтверждает утилитарность сталинского взгляда на исторические произведения. Я говорю о романе Степанова «Порт-Артур», который был премирован не раньше, не позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур — была выполнена. В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она нам сейчас? Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура. А в сорок шестом Сталин счел, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы.

Быть может, я несколько огрубляю и упрощаю, но в сути написанного мною сейчас я уверен.

Из довольно большого потока исторических сочинений Сталин выделял то, что, по его мнению, служило интересам современности. История падения ныне возвращенного Порт-Артура служила современности, а история русской деревни — примерно в те же самые годы начала века, — по его представлениям, интересам современности не служила, и на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — Сталин отвечал отрицательно.

Думаю, что премия Костылеву за роман об Иване III, присужденная в первые послевоенные годы, тоже была связана с мыслью о современном звучании этого романа, о перекличке времен. Иван III вчерне завершил двухвековое объединение Руси вокруг Москвы. Видимо, у Сталина именно в те годы могло быть схожее представление о собственной роли в истории России — и на западе, и на востоке было возвращено все, ранее отнятое, и все, ранее отданное, и вдобавок была решена и задача целых столетий о соединении Восточной и Западной Украины, включая даже Буковину и Закарпатье.

Фигура Ивана Грозного была важна для Сталина как отражение личной для него темы — борьбы с внутренними противниками, с боярским своеволием, борьбы, соединенной со стремлением к централизации власти. Здесь был элемент исторического самооправдания, вернее, не столько самооправдания, сколько самоутверждения. Кто знает, как это было в глубинах его души, но внешне это выглядело в исторической теме Ивана Грозного не столько самооправданием за происшедшее в современности, сколько утверждением своего права и исторической необходимости для себя сделать то же, что в свое время сделал Грозный.



Надо сказать, что если в оценке событий войны в речи Сталина перед участниками парада Победы прозвучала нота самокритического отношения к событиям первого периода войны, то по отношению к тридцать седьмому, тридцать восьмому году самооборонительной позиции, как я понимаю, он никогда не занимал. Те, кого не тронули, должны были быть благодарны ему за то, что остались целы, те, кто вернулся и был оправдан, должны были быть благодарны ему за то, что они вернулись и оправданы; а те, что не вернулись, так и оставались до конца его жизни в виноватых.

То, что сделанный козлом отпущения Ежов был покаран, никогда и нигде публично не фигурировало, об этом никогда и нигде не писалось. Официально это не было признано именно потому, что он был не чем иным, как козлом отпущения. Хотя, казалось бы, фигура Ивана Грозного требовала к себе по всем своим историческим особенностям диалектического подхода, Сталин в данном случае был далек от диалектики. Для него Грозный был безоговорочно прав, и этой правотою его и удовлетворяла, может быть, гениальная в своих художественных частностях и находках, но исторически безнравственная первая серия эйзенштейновского «Ивана Грозного». Со второй серией, делавшейся после войны, Эйзенштейна постигла катастрофа. Сталин не принял этого фильма. Почему? Тут были и еще могут быть разные объяснения, в той или иной мере справедливые.

Мне же кажется весьма существенным то, что сама история царствования Грозного сопротивлялась продолжению этой картины. После первых, еще до опричнины, внешнеполитических успехов, прежде всего взятия Казани, Грозный терпит в военных походах неудачу за неудачей. Если какую-то фигуру в русской истории можно было связывать с борьбой России за выход к морю, то не Грозного, а Петра, не того, кто неудачно пытался, а того, кто достиг своей цели. Грозный закончил свои дни в обстановке военных поражений и резкого ослабления военной мощи России. Мне думается, что сначала Сталин в восприятии этой фигуры обошелся без диалектики. Если не ошибаюсь, сценарий, охватывавший собою не только первую серию, а и дальнейшее, заканчивался одним из победоносных эпизодов в первой половине ливонской войны, выходом к морю и гибелью в бою Малюты Скуратова, народная память о коем связывала его имя, ставшее нарицательным в смысле жестокости, с чем угодно, но только не с военными подвигами. Фильм кончался в тот момент, когда его можно было кончить чем-то наподобие апофеоза. Дальнейшее царствование Грозного, ставшее прологом к последующим бедствиям России, включая смутное время, в фильм не влезало, отбрасывалось и оставалось за бортом. Так это проектировалось перед войной. Думаю, что в первой серии, в сущности, уже было исчерпано то, что по аналогии укрепляло позиции Сталина, подтверждало его правоту в борьбе с тем, условно говоря, боярством, которое он искоренял.

Первая серия вышла на экран в конце войны, а вторая делалась уже после нее, и военные успехи, которые венчали в конце второй серии обрубленную на этом месте биографию Грозного, после Великой Отечественной войны могли показаться очень уж мизерными, а тема борьбы с боярством исчерпанной в первой серии. По-моему, вторая серия попала к Сталину в такое время, когда интерес его к аналогиям с Грозным ослабел, это стало не очень актуальным для него — может быть, временно. Но фильм попал к нему именно в такой момент, и какие-то, раздражившие Сталина частности или эпизоды фильма, которые в других случаях не обрубали судьбу картин, а только вели к обязательным переделкам, в данном случае при утрате прежнего острого интереса к самой теме обернулись для судьбы фильма трагическим образом.

Думаю, что, рассуждая так, я в принципе не слишком далек от политической сути происшедшего. В наибольшей степени Сталин был склонен программировать именно кино. И как вид искусства, более государственный, чем другие, то есть требовавший с самого начала работы государственного разрешения на нее и государственных затрат, и потому еще, что

он в своих представлениях об искусстве относился к режиссерам не как к самостоятельным художникам, а как к толкователям, осуществителям написанного. Я никогда не забуду, как Столпер мне в лицах рассказывал историю резко не понравившегося Сталину в сороковом году, перед войной, фильма «Закон жизни», который они делали вдвоем с режиссером Ивановым по сценарию Авдеенко. Весь огонь резкой, можно сказать, почти беспощадной критики был обрушен Сталиным на автора сценария, на Авдеенко, а Столпер и Иванов как бы при сем присутствовали. И когда кто-то на этом разгроме обратил внимание Сталина на двух сидевших тут же режиссеров: дескать, что же делать с ними, надо, мол, покарать и их, а не только одного Авдеенко, Сталин не поддержал этого. Небрежно покрутил пальцем в воздухе, показывая, как крутится в аппарате лента, и сказал: «А что они? Они только крутили то, что он им написал». И, сказав это, возвратился к разговору об Авдеенко.

Разумеется, я не свожу к этому случаю представления Сталина о режиссуре вообще. Он любил кино, много смотрел его, сам давал задания некоторым из режиссеров, в числе которых были Чиаурели, Довженко, Эйзенштейн, причем последние два писали сценарии для своих фильмов и сами, без чужой помощи. Конечно, он смотрел на создание фильмов шире, чем это проявилось в разговоре с молодым Столпером и Ивановым, но какой-то оттенок подобного свойства в его суждениях о видах и родах искусства все же был. Во всяком случае, он ничего так не программировал — последовательно и планомерно, — как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими. Он не фантазировал на темы о том, как и каким надо изображать современного человека. Он брал готовую фигуру в истории, которая могла быть утилитарно полезна с точки зрения современной политической ситуации и современной идейной борьбы. Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. Причем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих, на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти — Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих орденов будет высшим, была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь.

Разумеется, все это могло быть и так, и иначе, но мне кажется, все же не случайно, что у Сталина получилось именно так: полководческие ордена, введенные после победы под Сталинградом, были именно в такой последовательности: Суворов, Кутузов, Ушаков и Нахимов.

О Глинке — не без связи с восстановлением на сцене «Ивана Сусанина» — было поставлено один за другим два фильма. Программа борьбы с низкопоклонством предопределила создание целого ряда фильмов, утверждавших наш приоритет в той или иной сфере: полевая хирургия — Пирогов, радио — Попов, Мичурин — биология, Павлов — физиология. Я далек от мысли, что работа над этими фильмами была для их создателей вынужденной, — по большей части эти фильмы делались с увлечением. Но во всем этом, вместе взятом, в последовательности, с которой эти фильмы делались, и в требованиях, которые к ним предъявлялись, несомненно, присутствовало исходившее непосредственно от Сталина волевое начало, связанное с его утилитарным отношением к истории, в том числе и к истории культуры и искусства, с поддержкой того и только того в истории, что могло послужить прямым интересам современности.

В сорок девятом году на заседании Политбюро по присуждению Сталинских премий я не был, находился в это время в зарубежной поездке. Следующее обсуждение Сталинских премий, на котором я присутствовал, происходило шестого марта пятидесятого года. Между записанным, уже



приведенным и прокомментированным мною в этой рукописи обсуждением премий в сорок восьмом году и этим, пятидесятого года, прошло около двух лет. Многое изменилось и ужесточилось. Произошло много арестов, в том числе и в среде литераторов. Возникло и приобрело страшный оттенок «Ленинградское дело», связанное с целой цепью арестов и смещений с должностей. Борьба с низкопоклонством, о котором шла речь в сорок седьмом году, приобретала новые и тягчайшие формы. Рубежом в этом смысле оказалась напечатанная в «Правде» редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Статья эта имела тяжелейшие последствия для литературы, а инициатива ее появления в «Правде» принадлежала непосредственно Сталину.

Я не могу в данный момент входить в то, что происходило в литературе в конце сорок восьмого и на протяжении сорок девятого года. Изложение всего этого должно включать целый ряд моих старых записей, которых у меня сейчас нет перед собой, и, чтоб два раза не возвращаться к одному и тому же, будем считать, что между написанным в этой рукописи раньше и тем, к чему я перехожу сейчас, пропущено по крайней мере несколько десятков страниц, которые мне предстоит восполнить. Оговорив это, перехожу в пятидесятый год.

* * *

За несколько дней до заседания Политбюро по присуждению Сталинских премий, происходившего шестого марта пятидесятого года, я стал редактором «Литературной газеты», сменив на этой должности Ермилова. Уходить из «Нового мира» или желать для себя этого ухода у меня не было ровно никаких причин. Причины для того, чтобы перебросить меня с «Нового мира» на «Литгазету», были у Александра Александровича Фадеева, и причины для него, очевидно, достаточно веские, если говорить о том литературном политиканстве, которое иногда, как лихорадка, судорожно овладевало Фадеевым, вопреки всему тому главному, здоровому и честному по отношению к литературе, что составляло его истинную сущность. В истории с критиками-антипатриотами, начало которой, не предвидя ужаснувших его потом последствий, положил он сам, Фадеев, я был человеком, с самого начала не разделявшим фадеевского ожесточения против этих критиков. Из Софронова, оценив его недюженную энергию, но не разобравшись нисколько в сути этого человека, Фадеев сделал поначалу послушного подручного, при первой же возможности превратившегося во вполне самостоятельного литературного палача.

После всей этой истории, которой хочешь не хочешь придется коснуться более подробно, Фадеев, с одной стороны, не хотел иметь дела с Софроновым как с ответственным секретарем Союза, своим главным практическим помощником. А тут вдобавок еще Владимир Владимирович Ермилов стал проявлять излишнюю самостоятельность и публично и неблагодарно кусать столько лет во всех перипетиях поддерживавшую его руку.

В итоге Фадееву с великим трудом удалось уговорить впоследствии многократно жалевшего об этом Алексея Александровича Суркова уйти из полюбившегося ему журнала «Огонек» в первые заместители к Фадееву, Софронова спровадить в «Огонек», Ермилова снять с газеты и перекантовать на творческую работу, а меня, оставив одним из своих заместителей, рокировать в редакторы «Литературной газеты», на что я не сразу согласился. В том, что я согласился на это, большую роль сыграл Твардовский. Фадееву, который очень любил Твардовского как поэта, ценил его строгость, самостоятельность суждений, внутренне даже сверялся с ними, давно искренне хотелось поближе втянуть Твардовского в какую-то большую общественно-литературную работу. Именно Фадеев уговорил Твардовского, если возникнет такой вариант, согласиться пойти редактировать «Новый мир» вместо меня. И решительный разговор по поводу «Литературной газеты» произошел у нас втроем — с Фадеевым и Твардовским. Мне было жалко оставлять «Новый мир», и я не знал, на кого его оставить. Но после уговоров Фадеева Твардовский вдруг неожиданно для меня сказал, что, если я соглашусь тянуть на себе такой воз, как «Литературная газета», он, если предложат, не откажется и возьмется за мой гуж

в «Новом мире». Дело решил этот разговор и плюс к нему, пожалуй, мое молодое самоуверенное стремление к неизведанному. Редактором газеты я еще никогда не был. в том, как Ермилов вел газету, мне далеко не все нравилось, и мне казалось, что если я пойду туда, многое переделаю в ней по-своему и к лучшему. Так, в итоге за несколько дней до заседания, о котором пойдет речь, я стал редактором «Литературной газеты» и уже подписал три ее номера.

Записи за шестое марта, поначалу лаконичные, связаны с отдельными короткими замечаниями Сталина, чаще всего ироническими или с оттенком иронии.

«По поводу выдвинутого на премию батального полотна под названием «Курская дуга» Сталин заметил: «Никакой дуги тут нет. Если не будет написано, что это Курская дуга, никто этого не узнает». При обсуждении вопроса, можно ли присуждать премию исполнителям и режиссеру за спектакль, сделанный по пьесе не получающего премии драматурга, Сталин выразил сомнение: «Как же так? Без драмы спектакль — не может этого быть».

**23 марта 1979 года**

Затем возник вопрос о премиях артистам цирка. Кто-то сослался на то, что это зрелище любит народ. И тут же последовало замечание Сталина:

— Ну и что, народ смотрит и балаган. Что ж, и балаган тоже включить в искусство? Нет, я не возражаю по поводу цирка, над этим следует подумать. В данном случае я возражаю только против вашего довода насчет народа.

Вслед за этим разговор перешел на то, следует или не следует премировать первые книги произведений, авторам которых предстоит написать еще вторые, а может быть, и третьи книги.

— Ну что же, он хитро поступил, — сказал Сталин об одном из писателей. — У него на самом-то деле тоже первая часть, но он не стал называть ее первой частью романа, а назвал романом. А другой человек поступил честно: у него первая часть романа — он так и назвал ее первой частью романа. Так почему же, спрашивается, ему не дать премии?

После этого рассматривался вопрос о премировании романа Константина Седых «Даурия».

— Я читал критику романа Седых, — сказал Сталин. — и, по-моему, она во многом неверная. Говорят про него, что там плохо показана роль партии, а, по-моему, роль партии у Седых показана хорошо. Центральная фигура Улыбина прекрасно показана, отличная фигура. Упрекают Седых за то, что у него Лазо не показан. Но Лазо туда позже приехал, поэтому он и мало показан. Но там, где он показан, он показан хорошо. Седых критикует в романе казачество, показывает его расслоение. Но душа движения — комиссар — у него как раз человек из казачества. Есть в романе недостатки: растянутая вещь. Есть места очень растянутые. Есть места, где просто-напросто нехудожественно рассказано. Вот тут говорили, что Седых переделывает свой роман, вставляет в него новые публицистические места. А я бы не советовал ему исправлять роман, вставлять в него публицистику, этим можно только испортить роман.

После романа Седых обсуждалась повесть Веры Пановой «Ясный берег».

— Из женщин Панова самая способная, — сказал Сталин. — Я всегда поддерживаю ее как самую способную. Она хорошо пишет. Но если оценивать эту новую ее вещь, то она слабее предыдущих. Пять лет назад за такую вещь, как эта, можно было дать и бóльшую премию, чем сейчас, а сейчас нельзя. У Пановой немного странная манера подготовки к тому, чтобы написать произведение. Вот она взяла один колхоз и тщательно его изучила. А это неверно. Надо иначе изучать. Надо изучать несколько колхозов, много колхозов, потом обобщить. Взять вместе и обобщить. И потом уже изобразить. А то, как она поступает, это неверно по манере изучения.

После Пановой дошла очередь до обсуждения романа Коптяевой «Иван Иванович». Сталин счел нужным вступиться за этот роман:



— Вот тут нам говорят, что в романе неверные отношения между Иваном Ивановичем и его женой. Но ведь что получается там у нее в романе? Получается так, как бывает в жизни. Он большой человек, у него своя большая работа. Он ей говорит: «Мне некогда». Он относится к ней не как к человеку и товарищу, а только как к украшению жизни. А ей встречается другой человек, который задевает эту слабую струнку, это слабое место, и она идет туда, к нему, к этому человеку. Так бывает и в жизни, так и у нас, больших людей, бывает. И это верно изображено в романе. И быт Якутии хорошо, правдиво описан. Всё говорят о треугольниках, что тут в романе много треугольников. Ну и что же? Так бывает».

Здесь мне придется оторваться от своих записей, чтобы сказать несколько слов о Фадееве. Как мне помнится, заседание это происходило уже не в кабинете Сталина, а в небольшом зале заседаний. В сущности, это был не зал, а довольно большая комната, в которой стояло несколько рядов кресел с пюпитрами, перед ними небольшой стол для председательствующего, слева от него (если смотреть от нас) маленькая трибунка для выступающих. Не помню, чтобы когда-нибудь в другой раз кто-то пользовался этой трибункой, выступал с нее. Но на этот раз Сталин пригласил Фадеева как докладчика от Комитета по Сталинским премиям на эту трибунку. Фадеев докладывал, стоя эа нею. Продолжая еще в это время работу над переделками и новыми главами второго варианта «Молодой гвардии», Фадеев, как мне помнится, одновременно с этим начал собирать материалы для своего, впоследствии так и оставшегося ненаписанным романа «Черная металлургия». Он ездил на Урал, его срочно накануне этого заседания вытащили из поездки, он полдня летел оттуда в Москву, там, в Магнитогорске, он, как выражался на этот счет Твардовский, похоже, основательно, водил медведя, плюс к этому минимум времени на то, чтобы прийти в себя, час или два на подготовку к докладу — и вот он здесь, на заседании Политбюро, перед Сталиным, за этой шаткой, не по росту ему, трибункой. Он стоит за ней, прихватил ее как-то неловко руками, перед ним — листы доклада или заметок к докладу, пиджак на нем какой-то коротковатый, куцый, тесный; лицо кирпично-бурое, а голос в диапазоне его физического состояния — от хрипотцы до дисканта, прорывающегося сквозь эту хрипотцу недавней опохмелки.

Сталин, сидящий за столом, как мне кажется, все это прекрасно видит, понимает, да наверняка к тому же и знает все, как оно есть, и наблюдает за Фадеевым со смешанным чувством любопытства (как-то он выйдет из этого положения) и некоторого даже любования Фадеевым (смотри-ка, оказывается, выходит из положения, да еще как выходит). Стоять там, за этой трибункой, под наблюдающим взглядом Сталина Фадееву было, наверное, физически тошно и нравственно мучительно, но он, как он умел это делать, собрал в кулак всю свою волю, сделал доклад по всем правилам, сказал все, что собирался сказать, и даже ввязался в спор со Сталиным по поводу романа Коптяевой, который ему, Фадееву, решительно не нравился.

Что говорил по поводу романа Коптяевой Сталин, у меня записано, но в диалоге с Фадеевым все это выглядело несколько иначе. Сталин перечислял достоинства романа, главным образом упирая на то, что так бывает в жизни. Фадеев, не споря с ним, гнул свое, говоря, что, конечно, так бывает, но это все плохо написано. И треугольники бывают, но тут он плохо написан, этот треугольник. И быт Якутии верно дан, правдиво, но и это тоже с художественной стороны написано плохо, худо написано.

— И все-таки я считаю, что премию роману надо дать, — сказал в заключение Сталин, относившийся к возражениям Фадеева терпеливо и с долей любопытства.

Услышав это, Фадеев впервые, кажется, за все время, оторвал от трибунки свои вцепившиеся в нее руки, беспомощно развел ими в стороны и упрямо, не желая согласиться с тем, что роману Коптяевой надо дать премию, сказал: «А это уж ваша воля». И немножко подержав свои, беспомощно и удивленно раскинутые руки в воздухе, опять вцепился ими в трибунку.

Вспоминая об этом сейчас, ловлю себя на том, что мог бы перепутать день и год, в который это было, да и не помнил, пока не взглянул

в своих святцах на даты происходившего, а то мне даже казалось, что это было на два года позже, в последний раз, когда присуждались там, на Политбюро, Сталинские премии. Но то, как говорил Фадеев, как он держался за эту трибунку, как ни за что не хотел соглашаться со Сталиным по поводу книги Коптяевой, а вернее, по поводу значения художественного качества литературы и так и не согласился, а развел руками,—все это стоит у меня по сей день перед глазами и сидит в ушах, существует и в лицах, и в голосах.

А теперь снова вернусь к своим записям, к двум наиболее подробным, сделанным мною в связи с этой встречей шестого марта пятидесятого года. Обе эти записи связаны с вещами принципиально важными и выходящими за пределы оценки самих произведений, о которых шла речь.

Первая из этих записей связана с романом Эммануила Казакевича «Весна на Одере», которому была присуждена в тот год Сталинская премия второй степени.

«— В романе есть недостатки,— сказал Сталин, заключая обсуждение «Весны на Одере».—Не все там верно изображено: показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там, на Одере, командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского. Вот эта сторона в романе товарища Казакевича неверная. Есть в романе член Военного совета Сизокрылов, который делает там то, что должен делать командующий, заменяет его по всем вопросам. И получается пропуск, нет Жукова, как будто его и не было. Это неправильно. А роман «Весна на Одере» талантливый. Казакевич писать может и пишет хорошо. Как же тут решать вопрос? Давать или не давать ему премию? Если решить этот вопрос положительно, то надо сказать товарищу Казакевичу, чтобы он потом это учел и исправил, неправильно так делать. Во всяком случае так пропускать, как он пропустил,—значит делать неправильно».

На этом стоит точка в моей записи разговора по поводу романа Казакевича. После этих размышлений Сталина премия за роман Казакевичу все-таки была дана. А на следующий день я встретился с ним самим в фадеевском кабинете в Союзе писателей. Почему именно на меня выпала эта обязанность говорить с Казакевичем, в точности вспомнить не могу. Остается предположить, что Фадеев, которому и по службе и по дружбе куда больше с руки, чем мне, было говорить с Казакевичем, на следующий день по каким-то причинам отсутствовал, а поручение Сталина—разговор с Казакевичем по поводу «Весны на Одере» был именно поручением—не принято было откладывать исполнением.

Я встретился с Казакевичем и рассказал ему от слова до слова все, как было. Он был в бешенстве и в досаде—и на других, и на самого себя, и, взад и вперед расхаживая по фадеевскому кабинету, скрипел зубами, охал и матерился, вспоминая редакционную работу над своей «Весной на Одере», как на него жали, как не только заставляли убрать фамилию Жукова, но и саму должность командующего фронтом. «Конечно,—с досадой говорил он,—Сталин правильно почувствовал, совершенно правильно. Половину того, что делает Сизокрылов, делал у меня командующий фронтом, а потом меня просто вынудили все это передать Сизокрылову. Как я согласился, как поддался? А как было не поддаться—никто бы не напечатал, даже и думать не желали о том, чтобы напечатать до тех пор, пока я это не переделаю. А как теперь переделывать обратно? Как вставлять командующего фронтом, когда роман уже вышел в журнале, уже вышел двумя изданиями, уже переведен на другие языки, как я могу теперь его исправлять, заменять одного другим?»

Казакевичем владели хорошо мне понятные смешанные чувства. Разумеется, он был рад, что все-таки роман его получил премию, но ощущение того тупика, в который его загнали, из которого теперь неизвестно как вылезать даже с помощью Сталина, угнетало его.

Последнее, записанное мною со всей возможной точностью высказывание Сталина на этом заседании пятидесятого года было хотя и привязанным непосредственно к пьесе Бориса Лавренева «Голос Америки», но имело заведомо программное значение и могло иметь далеко идущие последствия во всей нашей критике и литературоведении, во всяком случае,



вызвать изменения ее терминологии. Последствий этих не произошло. Почему, сказать не берусь, скорее всего потому, что в эти годы Сталин, как я не раз впоследствии слышал об этом, нередко забывал собственные предложения и не возвращался к выдвинутым им идеям. Ему, разумеется, никто об этом не напоминал, и они уходили в песок. Иногда это бывало к лучшему, а иногда, быть может, и к худшему. В данном случае, по-моему, к худшему. При всех обстоятельствах мне остается привести дословно свою запись, сделанную в тот день, а потом уже рассказать обо всем последующем.

«— Ну что же, что его критикуют,—сказал Сталин о Лавреневе.— А вы помните его старую пьесу «Разлом»? Хорошая была пьеса. А теперь вот его берут и критикуют всё с той же позиции, что он недостаточно партийный, что он беспартийный. Правильно ли критикуют? Неправильно. Все время используют цитату: «Долой литераторов беспартийных». А смысла ее не понимают. Когда это сказал Ленин? Он сказал это, когда мы были в оппозиции, когда нам нужно было привлечь к себе людей. Когда люди были — одни там, другие тут. Когда людей ловили к себе эсеры и меньшевики. Ленин хотел сказать, что литература — это вещь общественная. Мы искали людей, мы их привлекали к себе. Мы, когда мы были в оппозиции, выступали против беспартийности, объявляли войну беспартийности, создавая свой лагерь. А придя к власти, мы уже отвечаем за все общество, за блок коммунистов и беспартийных,—этого нельзя забывать. Мы, когда находились в оппозиции, были против преувеличения роли национальной культуры. Мы были против, когда этими словами о национальной культуре прикрывались кадеты и всякие там иже с ними, когда они пользовались этими словами. А сейчас мы за национальную культуру. Надо понимать две разные позиции: когда мы были в оппозиции и когда находимся у власти. Вот тут этот был—как его?—Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятьем литературы.

Недавно выступал и писал в журнале Белик. Кто это? Этот тоже пользуется словами «Долой литераторов беспартийных». Неверно пользуется. Рапповец нашего времени. Новорапповская теория. Хотят, чтобы все герои были положительные, чтобы все стали идеалами. Но это же глупо, просто глупо. Ну, а Гоголь? Ну, а Толстой? Где у них положительные или целиком положительные герои? Что же, надо махнуть рукой и на Гоголя, и на Толстого? Это и есть новорапповская точка зрения в литературе. Берут цитаты, и сами не знают, зачем берут их. Берут писателя и едят его: почему ты беспартийный? Почему ты беспартийный? А что, разве Бубеннов был партийным, когда он написал первую часть своей «Белой березы»? Нет. Потом вступил в партию. А спросите этого критика, как он сам-то понимает партийность? Э-эх!»

### 25 марта 1979 года

На этом кончается сделанная мною тогда запись слов Сталина.

Записывая их, я счел необходимым там же, вслед за этой записью, изложить свое понимание сути того, о чем шел разговор. Вот что я написал тогда: «Насколько я уловил смысл разговора, он шел о каком-то более правильном объединении сил литературы; об отношении к ней как к общему хозяйству, позиции хозяев этой литературы, хозяев всего ее общественного богатства и, в конечном счете, хозяев всего общества. Было подчеркнуто, что цитатами пользуются неверно, вне времени и пространства, не сообразуясь с обстановкой, очень ограниченно подходят к лозунгу партийности литературы, понимая его неправильно, не по существу. При этом требуют изображения не реальной жизни, а каких-то идеальных и сверхположительных героев, и всем этим вместе взятым отрывают от литературы беспартийных писателей».

Что добавить теперь к записанному мною тогда?

Через несколько дней после этого заседания Фадеев собрал маленькое совещание, в котором участвовал и я, но главным образом на совещании этом были не писатели, а критики-коммунисты по его персональному подбору. Придав тому, что сказал Сталин по поводу понимания термина партийности в литературе и по поводу появившихся в критике новорапповских тенденций, еще большее значение, чем я, в силу своего политического опыта, вдобавок, наверное, и в силу того, что Сталин употребил

этот термин «новорапповская критика», вспомнив при этом Авербаха, и, стало быть, вообще РАПП, в числе вождей которого некогда был сам Фадеев,— Фадеев оценил существенность сказанного и решил принять свои меры, а именно коллективно подготовить представление в ЦК, а в дальнейшем для печати недлинную статью, по первой его мысли, сделанную в виде ответов на вопросы. В статье объяснялся бы вред бездумного и неконкретного применения лозунга «Долой литераторов беспартийных», предлагалась иная критическая терминология, при которой принцип партийности литературы включался в более широкое понятие идейности литературы. Тем самым исключалась бы возможность нанесения напрасных обид беспартийным писателям, употребление по делу и не по делу, кстати и некстати слов «партийность литературы». Я участвовал тогда в обсуждении этого вопроса, был всецело на стороне Фадеева, поддерживал сделанные им первоначальные предложения, потому что мне казалось, что Фадеев правильно понял самую суть высказываний Сталина на этот счет и причины, вызвавшие эти высказывания, и потому что термин — идейность литературы — мне самому казался более правильным и справедливым по отношению ко всей нашей литературе, включавшей и партийных, и беспартийных писателей.

Добавлю, что именно так мне кажется и по сей день, хотя история с составлением этого теоретического документа, протянувшись некоторое время, ушла в песок. Каким образом ушла в песок — не знаю. Напоминал ли об этом Фадеев или не напоминал — тоже не знаю. Скорей всего, однажды высказавшись по этому поводу, Сталин посчитал это достаточным и сам больше об этом не вспоминал. Напоминать же ему о том, о чем он или забыл, или не считал нужным вновь повторять, никто не брался. Наверное, для опасения напоминать Сталину о том, к чему Сталин по собственной инициативе не возвращался, у людей, близко имевших с ним дело, были основания. Должно быть, это было связано с той или иной долей риска, что подтверждалось немалым предыдущим опытом.

На заседании, когда присуждались Сталинские премии за 1950 год, я не был: лежал с высокой температурой. Если мне не изменяет память, с очередным воспалением легких. Но в середине марта 1952 года, когда последний раз присуждались Сталинские премии, я на этом заседании присутствовал. Не могу назвать точно дату, когда оно происходило,— она оказалась у меня не записанной. Но обычно сообщение о присуждении премий публиковалось двумя, самое большее тремя днями позже заседания, я держу сейчас перед собой «Литературную газету» за пятнадцатое марта 1952 года и думаю, что недалек от истины, говоря, что заседание это было где-то в середине марта.

Заседание это отличалось от всех предыдущих тем, что Сталин не стал сам вести его, а с самого начала передал председательство Маленкову, который, надо сказать, чувствовал себя не в своей тарелке. Он сидел за председательским столом, остальные — неподалеку от него. Ближайшим к этому председательскому столу в кресле с пюпитром, таком, как и для всех остальных участников заседания, сидел Сталин. Впрочем, сидел он мало, больше прохаживался взад и вперед по тому ряду, в котором сидел, взглядывал на присутствующих, высказываясь и задавая вопросы. Председательствование же Маленкова практически сводилось к тому, что он называл те или другие обсуждавшиеся вещи в том порядке, в каком они стояли по разделам проекта постановления.

Я приведу свои тогдашние записи не в той последовательности, в которой они у меня сохранились, а в той, в которой мне сейчас хочется их прокомментировать, идя от более частного к более общему и существенному.

«При обсуждении произведений, выдвинутых на премию третьей степени, впервые на моей памяти выяснилось, что Сталин не все эти книги читал. Когда зашла речь о премировании романа Турсуна «Учитель» и повести Баялинова «На берегах Иссык-Куля», Сталин вдруг спросил:

— За что даете им премию? За то, что это хорошие книги, или за то, что это представители национальных республик?

Такая постановка вопроса заставила несколько замяться тех, кто докладывал об этих вещах. Сразу же заметив эту заминку, Сталин сказал:



— Вы лишаете людей перспективы. Они же решат, что это хорошо. А людям надо иметь перспективу. Если вы будете давать премии из жалости, то вы убьёте этим творчество. Им надо еще работать, а они уже решат, что это хорошо. Раз это заслужило премию, то куда же дальше им стремиться? Воспитать умение работать можно только строгостью, только при помощи строгости в оценках можно создать перспективу.

Когда после этого речь зашла о повести Янки Брыля «В Заболотье светает», которую хвалили и говорили, что повесть хорошая, Сталин недоверчиво спросил:

— А почему хорошая? Что, там все крестьяне хорошие? Все колхозы передовые? Никто ни с кем не спорит? Все в полном согласии? Классовой борьбы нет? Все вообще хорошо, поэтому и повесть хорошая. Да? А как художественно-то, хорошая это книга?

И только когда ему горячо подтвердили, что книга Янки Брыля действительно хорошая с художественной точки зрения книга, он согласился с ее выдвижением на премию, отведя при этом предыдущие вещи, о которых шел разговор».

А теперь, оторвавшись от записей, скажу о своих нынешних мыслях по этому поводу. Было некое противоречие в том, как Сталин сам же расширял круг присуждаемых премий, относясь к этому с неким циничным добродушием, терпимостью. Достаточно вспомнить: «Очень хочет. Очень просит», и все с этим связанное. По его собственной инициативе возникли все эти премии третьей степени, расширившие сразу вдвое, если не больше, круг премированных каждый год вещей. И он же сам, причем главным образом это относилось к литературе, вдруг начинал проявлять требовательность, отводил слабые вещи, говорил о необходимости высокого художественного качества, вдавался в подробности — что вышло, что не вышло у автора, высказывался в том духе, что избыток публицистичности может испортить книгу, что надо держаться поближе к жизни, что литература не создается из одних положительных, идеальных героев, и так далее и тому подобное.

Чем объяснить это противоречие в его суждениях и даже в поступках? Сменой настроений и душевных состояний? Вряд ли только этим. Думаю, как это ни странно звучит, что в Сталине было некое сходство с Фадеевым — в оценках литературы. Прежде всего он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или почти все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях. Где-то у него была — для меня это несомненно — некая собственная художественная жилка, может быть, шедшая от юношеского занятия поэзией, от пристрастия к ней, хотя в общем-то он рассматривал присуждение премий как политик, как дело прежде всего политическое, и многочисленные его высказывания, которые я слышал, подтверждают это. В то же время некоторые из этих книг он любил как читатель, а другие нет. Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус. Не буду строить домыслов насчет того, насколько он любил Маяковского или Пастернака, или насколько серьезным художником считал Булгакова. Есть известные основания считать: и в том, и в другом, и в третьем случае вкус не изменял ему. В других случаях изменял. Резкая, нервная манера письма, полная преувеличений, гиперболических подробностей, свойственная, скажем, Василевской, была ему по душе. Он любил эту писательницу и огорчался, когда она кому-то не нравилась. В то же время ему нравились вещи совершенно другого рода: книги Казакевича, «В окопах Сталинграда» Некрасова.

Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического, сиюминутного значения, оценками, которых он нисколько не стеснялся и не таил их. Для него, например, тогда, в пятьдесят втором году, не составляло проблемы дать одновременно премии первой степени по прозе роману Степана Злобина «Степан Разин», который ему очень нравился именно как художественное произведение, и роману Вилиса Лациса «К новому берегу», который ему совсем не нравился как художественное произведение, но который он считал настолько важным, что опре-

делил ему именно премию первой степени. Так он и высказался о романе Лациса на том заседании, о котором идет речь: «Этот роман имеет художественные недостатки, он ниже романа Василевской, но он будет иметь большое значение для Прибалтики и, кроме того, для заграницы».

В итоге трилогия Василевской, которую он как читатель любил, но которая, по его мнению, в тот момент не имела максимального политического значения, получила вторую премию, а роман Лациса «К новому берегу», который был, как он полагал, ниже романа Василевской, получил первую премию.

Усомнившись на этот раз в количестве книг, заслуживающих премию третьей степени, Сталин тут же предложил — совершенно неожиданно для всех присутствующих — дать премию Дмитрию Еремину за его роман «Гроза над Римом» и привел следующие мотивы: «У нас писатели пишут все об одном и том же, все об одном и том же. Очень редко берутся за новое, неизвестное. У всех одни и те же темы. А вот человек взял и написал о незнакомой нам жизни. Я прочел и узнал, кто он такой. Оказывается, он сценарист, был там, в Италии, недолгое время, написал о положении в Италии, о назревании там революционной ситуации. Есть недостатки, есть, может быть, и промахи, но роман будет с интересом прочтен читателями. Он сыграет полезную роль».

**26 марта 1979 года**

После этой совершенно неожиданной для меня оценки романа «Гроза над Римом», который никто не предполагал премировать, было довольно трудно поднять руку и говорить на эту тему, тем более что Сталин высказался достаточно определенно.

Автор романа, Дмитрий Иванович Еремин, был мой добрый знакомый по Литинституту и по сценарной студии. Беда была только в том, что роман его был очень уж слаб и беспомощен. Впрочем, одно это, по правде говоря, не заставило бы меня поднять руку. За тем спором, в который вступил со Сталиным Фадеев по поводу романа Коптяевой «Иван Иванович», было тогда его принципиальное неприятие художественных достоинств литературы этого рода, и он не мог или не хотел переломить себя и назвать хорошим то, что считал плохим. В данном случае — с романом Еремина — у меня такого чувства не было, да и, наверное, у меня духу не хватило бы, как у Фадеева, после высказывания Сталина вступать с ним в препирательства о художественных достоинствах романа Еремина. Но было тут одно привходящее обстоятельство: буквально за день или за два до этого в «Литературную газету» пришло письмо не то одного, не то двух специалистов по Италии, в котором было выписано несколько страниц всякого рода ошибок, неточностей, нелепостей, свидетельствовавших о полном незнании автором романа «Гроза над Римом» того материала, на котором он писал свою книгу. Это письмо и заставило меня поднять руку. Мне казалось, что о нем я был обязан сказать.

Когда я сказал об этом письме и о его содержании, Маленков немедленно спросил меня: «А где оно? С вами?» За этим вопросом было молчаливое предположение, что сейчас я выну это письмо из кармана и положу на стол. Но у меня, разумеется, не было его с собой, потому что появление романа «Гроза над Римом» в числе произведений, которым предполагалось присудить Сталинскую премию, было для меня полной неожиданностью. Я сказал, что письма у меня с собой нет, но я могу его, если потребуется, предоставить завтра.

— Когда ставите здесь такие вопросы, надо иметь при себе все материалы, — сказал Маленков.

Я сел на свое место, а «Грозе над Римом» была присуждена Сталинская премия третьей степени.

Чтобы уже не возвращаться к этой теме, не оставившей никакого следа в моих тогдашних записях, добавлю, что мне после закончившегося неудачей выступления, как выяснилось, предстояло еще одно испытание. В самом конце заседания, когда прошлись уже, казалось, по всем премиям, Сталин потрогал лежавшую перед ним пачку книг и журналов, чаще всего, как я уже успел заметить, там лежали номера журнала «Звезда», потому что он по-прежнему неотрывно следил за этим ленинградским журналом, а через него и за Ленинградом, и сказал:



— Вот тут напечатана неплохая повесть известного нашего подводника Иосселиани в переводе с грузинского Кремлева. Не стоило бы нам дать премию этой вещи? Какие будут мнения?

Мнения были положительные.

«Надо дать», «Надо, надо», «Хорошая книга». — Примерно такие реплики я услышал из первых рядов, где сидели члены Политбюро.

И тут я снова поднял руку. На этот раз я нисколько не колебался и считал себя просто-напросто не вправе промолчать. Я знал эту историю с книгой «Записки подводника», книгою действительно неплохой, написанной литератором Ильей Кремлевым по рассказам подводника Иосселиани. К тому времени, когда была написана эта книга, возникло уже в литературе несколько историй не слишком красивого свойства, когда соавторы — авторы воспоминаний и авторы их литературного текста — препирались между собой относительно гонораров. Причем так называемые литературные обработчики обычно в итоге терпели в этих препирательствах поражения: при первом издании они и авторы делили между собой гонорар так, как было договорено, а при последующих в ряде случаев автора литературной записи просто-напросто лишали его части гонорара. По букве авторского права в последующих изданиях это можно было сделать. Очевидно, опасаясь этого, Кремлев и придумал форму перевода с грузинского на русский, с таким обозначением и появилась повесть Иосселиани в «Звезде», хотя на самом деле перевода не было и быть не могло, потому что Иосселиани (по национальности сван, а по обстоятельствам жизни с малых лет воспитанник русского детского дома) грузинского языка вообще не знал. Говорил только по-русски, и переводить его с грузинского было физически невозможно. Но после того как повесть в журнале имела успех и хорошие отзывы, была издана отдельной книгой. Кремлев в мыслях о возможности присуждения ей в будущем Сталинской премии заставил не слишком разбиравшегося в литературных делах Иосселиани подписать с ним, с Кремлевым, договор, что в случае присуждения книге Сталинской премии они эту Сталинскую премию разделят пополам. Договор до того времени, насколько мне известно, беспрецедентный в литературном быту. Через какое-то время после этого у Иосселиани и Кремлева возникло очередное сомнение во взаимной добропорядочности, и Иосселиани, проявивший во время войны незаурядное мужество, а тут запутавшийся в литературных джунглях, пришел ко мне в «Литературную газету» и, изложив свои опасения, в частности, рассказал и об этом превентивном договоре насчет Сталинской премии. Такого мне еще слышать не приходилось, и я сначала ушам своим не поверил, и это, должно быть, отразилось на моем лице. Тогда Иосселиани сказал, что он сейчас сядет и напишет все как есть, и пусть это лежит у меня как доказательство. У меня не было оснований возражать против этого, Иосселиани написал все, что рассказал мне, и я положил эту бумагу в сейф.

Прошло с месяц, Илья Кремлев, очевидно, прослышав о недружественных акциях со стороны Иосселиани, тоже явился в «Литературную газету» с довольно кляузным письмом, в котором излагались разные прегрешения его соавтора Иосселиани. Я и это письмо положил в сейф вместе с первым. Что проблема со Сталинской премией, уже договорно поделенной соавторами, на самом деле когда-нибудь возникнет, мне в голову не приходило. Но как редактору газеты, уже столкнувшемуся с несколькими подобными хотя и не столь вопиющими историями, мне казалось, что эти материалы в числе других помогут нам приготовить статью о ненормальном положении в этой сфере литературной деятельности и выдвинуть предложения о том, как ввести это дело в строгие рамки, чтоб больше не позорить ни литераторов, ни бывалых людей.

Так вот, услышав возгласы: «Надо дать»; «Надо, надо»; «Хорошая книга», — я поднялся и попросил слова. Мне его дали. Я сказал, что книга в самом деле интересная, но давать ей Сталинскую премию нельзя, хотя бы потому, что публикация этой книги началась с обмана: это не перевод с грузинского, сделанный Кремлевым, а литературная запись, переводом с грузинского это сочинение не может быть, потому что Иосселиани грузинского языка не знает.

Хорошо помню, как, грузно поворотясь ко мне со скрипнувшего под ним кресла, Берия резко оборвал меня:

— Как так не знает? Как так — Иосселиани не знает грузинского языка? Он знает грузинский язык.

— Нет, — сказал я, — он не знает грузинского языка. Это знают моряки, его сослуживцы, да и он сам этого не скрывает, в письме в «Литературную газету» поминает об этом.

— Где у вас это письмо? Имеется у вас это письмо?

— Имеется в «Литературной газете», — сказал я.

Как мне показалось, Берия хотел сказать что-то еще, но в этот момент Сталин спросил:

— Так. Какие теперь будут мнения, давать или не давать за эту книгу премию? — Он сказал это спокойно, возможно, даже решив пренебречь не столь уж существенной, с его точки зрения, историей с переводом, которого не было.

— Товарищ Сталин, — сказал я. — Вы должны знать, что Кремлев заранее подписал с Иосселиани бумагу о том, что если они получат Сталинскую премию, то поделят ее пополам. Мне кажется, что когда так делают, то нельзя давать премию.

— А где у вас доказательства, что это так? — опять повернулся ко мне Берия. — Имеете ли вы их или так просто болтаете? — На этот раз он был еще более груб и агрессивен.

Я не успел ответить на этот вопрос, потому что вдруг установилась тишина. Очевидно, за криком Берии я не расслышал начала фразы, сказанной Сталиным, и в тишине услышал только ее конец.

— Снимем этот вопрос, — сказал он.

На лице его было брезгливо-недовольное выражение.

Активное вмешательство Берии в это дело встревожило меня: здесь могла таиться опасность, и опасность серьезная. Кто знает, что он мог сделать? Мы не знали тогда о Берии того, что узнали потом, но то, что он человек достаточно страшный, некоторое представление уже имели и, как говорится, носили это представление при себе. Поэтому, как только кончилось заседание Политбюро, я немедленно рванулся в «Литгазету», по дороге думая о том, что все может случиться: пока продолжалось заседание, пока я сюда еду, кто-то мог явиться без меня, открыть сейф и к моему приезду в нем могло уже не оказаться тех бумаг, на которые я ссылался. Что тогда? Однако все было на месте, бумаги лежали там. Я забрал их и, не теряя времени, поехал к своему старому другу, стенографистке Музе Николаевне Кузько, дождался у нее, пока она перепечатает мне две копии с обоих писем, одну из них отвез обратно и положил в сейф в «Литгазете», вторую положил к себе в карман, а подлинник завез в Союз писателей и положил в сейф там. Наверное, действия мои были наивными. Впрочем, в них была своя логика: я понимал, что со мной в той ситуации при благожелательном отношении ко мне Сталина Берия вряд ли что-нибудь сделает, а вот с письмами могло случиться что угодно, о них надо было думать. Так мне во всяком случае тогда казалось.

На следующее утро я приехал в Союз с самого утра и правильно сделал: в девять с минутами мне позвонили по вертушке, но не от Берии, а из секретариата Булганина, бывшего тогда министром вооруженных сил, и спросили меня, могу ли я сейчас предоставить те документы, связанные с книгой «Записки подводника», о которых я вчера упоминал. Я сказал, что да, что можно прислать за ними. Пригласив заведующую нашей канцелярии Союза писателей, вынул из кармана копии, вынул из своего сейфа в Союзе подлинники, дал ей сличить то и другое, после чего на копиях были поставлены соответствующие надписи и печати. Едва это было сделано, как из Министерства вооруженных сил явился фельдъегерь забирать материал.

Сейчас я пишу обо всем этом с некоторым сомнением и даже усмешкой над самим собой, над той мелочностью, которая отчетливо видится с большого расстояния во времени. Сейчас все это отдает даже чем-то смехотворным, но тогда мне было вовсе не до смеху, и, рассказывая о том времени, наверное, я все-таки прав, когда не миную вещи и такого рода.

Возвращаюсь к записям:

«После того, как были отведены некоторые другие книги, один из присутствовавших на заседании внес предложение дополнить список премированных произведений романом Ольги Зив «Горячий час». Как выяснилось, Сталин читал этот не выдвинутый ранее на премию роман. В ответ на предложение дать роману премию он сказал, что роман интересный, но у нас почему-то в романах почти никогда не описывается быт рабочих. Плохо описан быт рабочих. Во всех романах нет быта, только одно соревнование, а быт рабочих не описан, повторил Сталин. Исключение составляет книга Кочетова «Журбины», там есть жизнь и быт рабочих. Но эта книга — единственное исключение, когда рассказано, как человек живет, что он получает, какие у него культурные интересы, какая у него жизнь, какой у него быт. А у Зив нет этого быта рабочих, а раз нет быта, значит, нет рабочих. Хотя книга написана хорошо, написана с большим знанием дела.

Отклонив книгу, Сталин еще несколько минут продолжал говорить о том, как мало у нас занимаются жизнью и бытом людей и какой это большой недостаток нашей литературы».



А весь разговор в тот день начался с обсуждения романа Степана Злобина «Степан Разин». Я хочу выделить эту запись и особо рассказать о том, как происходило это обсуждение, потому что оно произвело на меня сильное и вместе с тем гнетущее впечатление.

Сначала — запись:

«— Злобин хорошо вскрыл разницу между крестьянской и казачьей основой движения Разина, — сказал Сталин. — Злобин это вскрыл впервые в литературе и сделал это хорошо. Вообще, из трех движений — Разина, Пугачева и Болотникова — только одно движение Болотникова было собственно крестьянской революцией. А движение Разина и движение Пугачева были движениями с сильным казачьим оттенком. И Разин, и Пугачев лишь терпели союз с крестьянами, лишь мирились с ним, они не понимали всей силы, всей мощи крестьянского движения».

Вот вся тогдашняя запись.

**27 марта 1979 года**

Хорошо помню, что Сталин, сказав о политической стороне романа и его исторической правдивости, перешел к его художественным достоинствам и несколько минут хвалил роман Злобина в таких выражениях, которые он не часто употреблял. Он называл роман очень талантливым, говорил, что автор талантливый человек и что он написал выдающееся историческое сочинение. Судя по всему, что говорил Сталин о романе, ему очень нравилось, как он был написан Злобиным.

Казалось бы, на этом все должно было и закончиться, но в тот момент, когда я так же, как и все другие, посчитал, что обсуждение переходит к следующему произведению, что со Злобиным все ясно и кончено, — уже не помню кто, — может быть, это был председательствовавший на Политбюро Маленков, — перелистнув какую-то папку, сказал:

— Товарищ Сталин, тут вот проверяли и сообщают: во время пребывания в плену, в немецком концлагере, Злобин плохо себя вел, к нему есть серьезные претензии.

Это было как гром среди ясного неба, такого я еще не слышал ни на одном заседании, хотя понимал, конечно, что, готовя материалы для присуждения Сталинских премий, кто-то по долгу своей службы представлял соответствующие сведения в существовавшие где-то досье на авторов. Но об этом никогда, ни разу до сих пор не говорилось, а если что-то и обсуждалось, связанное с этим, то, очевидно, где-то в другое время и без нас, грешных.

Услышав сказанное, Сталин остановился — он в это время ходил — и долго молчал. Потом пошел между рядами мимо нас — один раз вперед и назад, другой раз вперед и назад, третий — и только тогда, прервав мо чание, вдруг задал негромкий, но в полной тишине прозвучавший достаточно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе.

— Простить... — прошел дальше, развернулся и, опять приостановившись, докончил — ...или не простить?

И опять пошел. Не знаю, сколько это заняло времени, может быть, и совсем немного, но от возникшего напряжения все это казалось нестерпимо долгим.

— Простить или не простить?—снова повторил Сталин, теперь уже не разделяя двух половинок фразы.

Опять пошел, опять вернулся. Опять с той же самой интонацией повторил:

— Простить или не простить?

Два или три раза прошелся взад и вперед и, отвечая сам себе, сказал:

— Простить.

Так на наших глаза, при нас, впервые Сталиным единолично решалась судьба человека, которого мы знали, книгу которого читали. Я знал Злобина меньше, чем другие, к книге его был равнодушен, к нему самому не питал ни симпатии, ни антипатии, но само это ощущение, что вот тут, на твоих глазах, решается судьба человека—быть или не быть ему, потому что «простить или не простить» произносилось с такой интонацией, за которой стояла, как мне тогда казалось, с одной стороны, Сталинская премия, а с другой—лагерь, а может быть, и смерть. Во всем этом было нечто угнетающе-страшное, тягостное—и это не последующее мое ощущение, а тогдашнее.

Если ж говорить о последующем, то в сущности речь шла не о том, чтобы простить или не простить человека, виноватого перед страной, но написавшего выдающуюся книгу, посвященную истории этой страны. Злобин, как это было доказано впоследствии, был не только ни в чем не виноват перед своей страной, но, наоборот, проявил в лагере незаурядное мужество, играл важную роль в советском лагерном подполье. Таким образом, на наших глазах шла речь не о том, чтобы простить или не простить виноватого, а о том, поверить или не поверить клевете на ни в чем не повинного, клевете, соответствующим образом оформленной в духе того времени со всеми необходимыми атрибутами мнимой неопровержимости.

Думая об этом сейчас, задним числом, видишь сцену, на которой Сталин играет свою роль верховного судьи, обладающего безапелляционным правом и казнить, и миловать, еще более тягостной, чем она представилась моим глазам тогда. Но вдобавок ко всему вот ведь еще какое неожиданное соображение возникает. Здравый смысл задним числом подсказывает мне, что вряд ли в этом единственном случае могло вдруг неожиданно всплыть со Злобиным то, что не всплывало ни в каких других случаях, то, что, очевидно, обсуждалось всегда заранее. Рассказанная мною история с Четвериковым не опровергает этого—там речь шла о журнале, который вдруг прочел и вспомнил Сталин и неожиданно для всех назвал фамилии авторов пьесы, один из которых оказался сидящим в лагере. Такое вполне могло быть, ибо никто не знал заранее, что Сталин назовет эту пьесу. А с личностью Злобина, с его романом, который возглавлял весь список Сталинских премий, был предложен на премию первой степени, такого не могло быть.

Сейчас я почти убежден в том, что Сталин заранее, еще до заседания, и прекрасно знал о том досье, которое в соответствующем месте заготовили на Злобина, и уже принял решение, не посчитавшись с этим досье, дать Злобину за «Степана Разина» премию первой степени, даже не снизив премии до второй или третьей—так и оставив ее первой. Если так, то, стало быть, сцена—«простить или не простить»—была сыграна для нас, присутствовавших при этом представителей интеллигенции. Чтобы мы знали, как это бывает, кто окончательно решает такие вопросы. Кто, несмотря на прегрешения человека, принимает решение простить его и дать ему премию. За кем остается право на эту высшую справедливость, даже перед лицом вины человека. Какие-то другие люди помнят только о вине и считают, что нельзя простить, а Сталин считает, что вину можно простить, если этот же человек сделал нечто выдающееся.

С достоверностью утверждать, что все это было именно так, не смею, но почти убежден, что догадка моя справедлива и что способность в некоторых обстоятельствах быть большим, а может быть, даже великим актером была присуща Сталину и составляла неотъемлемую часть его политического дарования. Что это так, меня укрепляет еще одна подробность той же самой последней встречи пятьдесят второго года. Сейчас мне кажется, что на этой встрече Сталин дважды сыграл перед нами, как перед специально предназначенной для этого аудиторией,—в первом случае это было с романом Злобина, а во втором—с романом Мальцева «Югославская трагедия».



Сначала текст записи—такой, каким он у меня сохранился:

«Когда начали обсуждать роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия», Сталин задал вопрос:

— Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним—это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо? Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него самого естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?»

Вот и вся запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему, хотя как раз в данном случае он попал пальцем в небо.

**30 марта 1979 года**

Дело в том, что автор романа «Югославская трагедия» Орест Михайлович Мальцев, вслед за фамилией которого стояло так раздражившее Сталина—Ровинский, на самом деле по происхождению был русский, уроженец деревни Скародная Курской области, а еврейскую фамилию Ровинский, кстати, совпадавшую с фамилией тогдашнего редактора «Известий», поставил вслед за собственным звучным именем Орест на своей предыдущей книжке рассказов, называвшейся тоже достаточно звучно «Венгерская рапсодия». Причины всего этого мне были неведомы, но, хочешь не хочешь, пришлось подняться и сказать, что в данном случае при постановке в скобках фамилии Ровинский антисемитизм места не имел. Задаю себе сейчас вопрос: почему именно меня тогда потянуло подняться и дать эту справку? Скорее всего потому, что примерно за год до этого на страницах «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» происходила не прошедшая ни мимо внимания читателей, ни мимо внимания писателей дискуссия о псевдонимах между Бубенновым, Шолоховым и мною. Самый болезненный характер этот вопрос приобрел в сорок девятом году, во время печально памятной кампании против критиков-космополитов, когда находились люди, стремившиеся как можно чаще, вслед за давно и привычно уже звучащим в литературе псевдонимом непременно поставить действительную еврейскую фамилию автора.

За некоторые вещи из происходивших тогда на мне лежит горькая доля моей личной ответственности, о которой я и говорил, и писал потом в печати и о которой скажу еще и в этих записках, когда буду писать главу о сорок девятом годе. Но антисемитом я, разумеется, не был, и когда я выступал, и писал в те мрачные времена, скобок вслед за псевдонимами не ставил. Хорошо помню, как больно, прямо по сердцу, меня хлестнуло возмущенное письмо, присланное мне писательницей Фридой Абрамовной Вигдоровой, человеком чистым и строгим, которого я уважал. В этом письме она возмущалась: как же я мог, как я позволил себе в одном из своих выступлений поставить эти проклятые скобки вслед за псевдонимами. На самом деле я был тут ни при чем, просто, излагая мое без того достаточно дурное выступление на каком-то обсуждении, составитель отчета сам понаставлял скобки всюду, где ему это вздумалось.

Прошло некоторое время, острота этого вопроса, к счастью, как будто бы уменьшилась, кое-какие из самых очевидных перехлестов и несправедливостей хоть и со скрипом, но были исправлены, когда в феврале пятьдесят первого года «Комсомольская правда», не знаю уж по чьей инициативе и под чьим давлением, вдруг вылезла со статьей Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?». Видимо, кому-то понадобилось, готовя почву к чему-то новому в том же духе, что и кам-

пания против критиков-космополитов, пустить такого рода пробный шар. В статье присутствовала известная доля мимикрии, но антисемитские уши торчали из нее достаточно явно.

Мы в «Литературной газете» решили не оставить эту статью безнаказанной, и я коротко ответил на нее. Тогда против нас была двинута тяжелая артиллерия. Каким образом и кто организовал, что ответную, поддерживавшую Бубеннова статью в «Комсомольской правде» подписал Шолохов, — я так и не знаю. Моей первой реакцией было, когда я прочитал ее, позвонить ему и спросить его, человека, с которым до тех пор у нас не бывало никаких личных столкновений: «Миша, неужели ты сам это писал?» Это был глупый порыв, потому что на такого рода вопрос, хочешь не хочешь, человеку отвечать приходится только утвердительно, но я как-то и до сих пор не до конца верю в его авторство.

Однако ничего не поделаешь, пришлось отвечать еще раз, на этот раз Шолохову. На моем ответе дискуссия и кончилась. Очевидно, пробный шар, инспирированный кем-то в «Комсомолке», был выпущен преждевременно, и попытка разоблачения псевдонимов, их искоренения не была поддержана теми или тем, от кого ждали этой поддержки.

Пожалуй, поставив здесь звездочки, я прерву свое повествование и приведу как примечание к нему текст той дискуссии о псевдонимах, которая занимала немногим больше десятка страниц на машинке, но при этом, как мне кажется, имела известное отношение и к тому высказыванию Сталина насчет скобок, которое я уже привел, и к некоторым из наиболее мрачных событий, развернувшихся в последние месяцы жизни Сталина.

* * *

**«Комсомольская правда», 27 февраля 1951 г.**

**Михаил Бубеннов**

### НУЖНЫ ЛИ СЕЙЧАС ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПСЕВДОНИМЫ?

Употребление псевдонимов, то есть вымышленных имен, как явление общественного порядка имеет довольно большую историю. В царской России это явление вызывалось главным образом условиями общественного строя, основанного на насилии и унижении. Очень многие революционеры, общественные деятели, писатели и журналисты демократического направления, боровшиеся против царизма, зачастую работавшие в подполье, были вынуждены самой жизнью, всей обстановкой своей деятельности скрываться за псевдонимами и кличками. У некоторых писателей и деятелей искусства псевдонимы служили или маскировкой от «светского» общества, пренебрегавшего их «недостойной» деятельностью, или выражением их идейной сущности и политической направленности, или несли в себе своеобразный протест против существовавшего строя, а иногда — и мечту о будущем. Наконец, псевдонимами были вынуждены пользоваться представители угнетенных национальностей, которые нередко могли выступать только на русском языке и поэтому брали для себя русские имена и фамилии.

После социалистической революции, установившей новый общественный строй в нашей стране, положение резко изменилось. Основные причины, побуждавшие ранее скрываться за псевдонимами, были уничтожены. Конечно, вполне естественно и вполне оправдано, что некоторые товарищи, долгие годы пользовавшиеся псевдонимами, и после победы социалистической революции продолжали ими пользоваться, но это только потому, что их псевдонимы давно стали фамилиями, известными широким слоям народа. Но не было ни одного случая, чтобы какой-нибудь партийный или государственный деятель, вступивший на общественную арену после революции, заменил свою фамилию псевдонимом. Не было и нет! Псевдонимами, как правило, и то в отдельных случаях, некоторое время пользовались только селькоры, но это и понятно — они боролись за дело социализма в условиях ожесточенной классовой борьбы. И только работники литературы оказались ярыми приверженцами старой традиции.

Социализм, построенный в нашей стране, окончательно устранил



все причины, побуждавшие людей брать псевдонимы. Любая общественная и культурная деятельность, направленная на построение коммунизма, получает в нашей стране всяческое поощрение. Люди, занимающиеся такой деятельностью, старающиеся с помощью большевистской критики двинуть вперед общее дело, находятся у нас в большом почете. Им ничто не мешает выступать открыто, не прячась от общества за псевдонимы. Наоборот, наше общество хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой.

Несмотря на все это, некоторые литераторы с поразительной настойчивостью, достойной лучшего применения , поддерживают старую, давно отжившую традицию. Причем многие из этих литераторов — молодые люди, только начинающие свою литературную деятельность.

Приведем примеры.

Молодой и способный русский писатель Ференчук вдруг ни с того ни с сего выбрал псевдоним Ференс. Зачем это? Чем фамилия Ференчук хуже псевдонима Ференс?

Марийский поэт А. И. Бикмурзин взял псевдоним Анатолий Бик. В чем же дело? Первая треть фамилии поэту нравится, а две остальные — нет?

Удмуртский писатель И. Т. Дядюков решил стать Иваном Кудо. Почему же ему не нравится его настоящая фамилия?

Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?

Украинский поэт Е. Бондаренко, видимо, глядя на других, не вытерпел и хотя только две буквы, но все же изменил в своей фамилии и теперь подписывается псевдонимом Бандуренко.

Чувашский поэт Н. Васянка подписывается Шаланка, молодой московский поэт Лидес стал Л. Лиходеевым, С. Файнберг — С. Северцевым, Н. Рамбах — Н. Гребневым.

Любители псевдонимов всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности.

Одни говорят: «Я не могу подписываться своей фамилией, у меня много однофамильцев». Однако всем нам известно, что в русской литературе трое Толстых, и их всех знают и не путают!

Другой восклицает: «Помилуйте, но я беру псевдоним только потому, что моя фамилия трудно произносится и плохо запоминается читателями». Однако всем понятно: создавай хорошие произведения — и читатели запомнят твое имя! (Конечно, у нас еще встречаются неблагозвучные и даже оскорбительные фамилии — когда-то бары давали их своим рабам. Такие фамилии просто надо менять в установленном порядке).

Словом, оправданий много.

Но всем, кто не уважает свои фамилии, мне хочется привести здесь строки известного стихотворения Сергея Смирнова «Всем товарищам Смирновым». С гордостью рассказав о том, как много у него однофамильцев по всей стране, Сергей Смирнов пишет далее, что из газет он узнал о своем однофамильце — разоблаченном враге народа:

Я замышлял,  
Не утаю,  
Из-за него, из-за прохвоста  
Менять  
фамилию свою.

Но здесь С. Смирнов вспомнил о всех своих родных и однофамильцах, о труженике деде своем, который оставил по себе светлые воспоминания...

Случись такая перемена,  
И было б ясно до конца,  
Что это явная измена  
Отцу и родичам отца.  
Нет!  
Всеми силами своими  
Клянусь на будущие дни  
Хранить фамилию  
Во имя  
Моей родни и неродни!  
Во имя вас,

Собратьев новых,
Хранящих Родину, как дом,
Во имя армии Смирновых,
Живущих
Правильным трудом!

Как видно, у поэта Сергея Смирнова, не в пример многим упомянутым и не упомянутым в этой статье, были очень серьезные основания взять себе не только псевдоним, но даже сменить фамилию. Однако он не сделал этого — таким сильным оказалось у него чувство гордости за свой род, издавна носящий фамилию Смирновых!

Почему мы ставим вопрос о том, нужны ли сейчас литературные псевдонимы?

Не только потому, что эта литературная традиция, как и многие подобные ей, отжила свой век. В советских условиях она иногда наносит нам даже серьезный вред. Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе. Не секрет, что и сейчас для отдельных окололитературных типов и халтурщиков псевдонимы служат средством маскировки и помогают им заниматься всевозможными злоупотреблениями и махинациями в печати. Они зачастую выступают одновременно под разными псевдонимами или часто меняют их, всячески запутывая свои грязные следы. Есть случаи, когда такие темные личности в одной газете хвалят какое-нибудь произведение, а в другой через неделю охаивают его.

Кстати, несколько слов о роли редакций газет и журналов в этом деле. Нередко редакции смотрят сквозь пальцы на то, как некоторые литераторы и журналисты прячутся за псевдонимами, а иногда и сами потакают им в этом своеобразном хамелеонстве. Напишет какой-нибудь журналист маленькую заметку, скажем, о начале уборки хлебов в колхозе и под ней обязательно ставит свой псевдоним, а редакторы считают, что так и должно быть. А зря так считают!

Нам кажется, что настало время навсегда покончить с псевдонимами. Любое имя советского литератора, честно работающего в литературе, считается в нашей стране красивым и с большим уважением произносится нашим многонациональным народом. Несомненно, что борьба с псевдонимами имеет весьма важное значение в повышении личной ответственности каждого, кто работает на литературном поприще.

---

**«Литературная газета», 6 марта 1951 г.**

## ОБ ОДНОЙ ЗАМЕТКЕ

В советском авторском праве узаконено, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно» (БСЭ, изд. 2-е, т. 1, стр. 281). Однако ныне решение этого вопроса, ранее решавшегося каждым литератором самостоятельно, взял на себя единолично писатель Михаил Бубеннов и, решив его один за всех, положил считать отныне литературные псевдонимы «своеобразным хамелеонством», с которым «настало время навсегда покончить».

В своей заметке «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Комсомольская правда», № 47) Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу.

На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам лично и порознь, а не в печати и чохом, так как вопрос о том, нравится или не нравится ему литературный псевдоним того или иного товарища, — вопрос личный, а не общественный.

Однако если Михаил Бубеннов решил начать публикацию списков писателей, имеющих литературные псевдонимы, то непонятно, почему он в первом же таком списке обошел ряд видных наших писателей, избравших себе



такие, например, литературные имена, как: Полевой, Погодин, Мальцев, Яшин, Самед Вургун, Остап Вишня, Галин, Айбек, Крапива, Ян, Максим Танк, М. Ильин, Киачели, бр. Тур, Медынский, Иван Ле, Баширов?

Мне лично кажется, что Бубеннов сознательно назвал псевдонимы нескольких молодых литераторов и обошел этот (а он мог бы быть расширен) список псевдонимов известных писателей, ибо, приведи Бубеннов его, сразу бы стала во сто крат наглядней (явная, впрочем, и сейчас) нелепость бесцеремонного и развязного обвинения в «хамелеонстве», по существу, брошенного в его заметке всем литераторам, по тем или иным причинам (касающимся только их самих и больше никого) избравшим себе литературные псевдонимы.

Мне остается добавить, что аргументы, приводимые Бубенновым против литературных псевдонимов, в большинстве смехотворны. «Наше общество, — пишет Бубеннов, — хочет знать настоящие, подлинные имена таких людей и овевает их большой славой». Непонятно, почему наше общество хочет знать и овевать славой фамилию Кампов и почему оно не должно овевать славой литературное имя Борис Полевой?

«Всем понятно, — пишет Михаил Бубеннов, — создавай хорошие произведения, и читатель запомнит твое имя». Непонятно, почему читатели должны обязательно запомнить фамилию Рогалин и что им мешает запомнить литературное имя Борис Галин?

Говоря о неблагозвучных фамилиях, Бубеннов пишет, что «такие фамилии просто надо менять в установленном порядке». Во-первых, благозвучие фамилий — дело вкуса, а во-вторых, непонятно, зачем, скажем, драматургу Погодину, фамилия которого по паспорту Стукалов, вдруг менять эту фамилию в установленном порядке, когда он, не спросясь у Бубеннова, ограничился тем, что избрал себе псевдоним «Погодин», и это положение более двадцати лет вполне устраивает читателей и зрителей.

«Любители псевдонимов, — пишет Бубеннов, — всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности». Непонятно, о каких оправданиях говорит здесь Бубеннов, ибо никто и ни в чем вовсе и не собирается перед ним оправдываться.

А если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.

Что же касается вопроса о халтурщиках, который Бубеннов попутно затронул в своей заметке, то и тут, вопреки мнению Бубеннова, литературные псевдонимы ни при чем. Халтурность той или иной проникшей в печать статьи или заметки определяется не тем, как она подписана — псевдонимом или фамилией, — а тем, как она написана, и появляются халтурные статьи и заметки не в результате существования псевдонимов, а в результате нетребовательности редакций.

Константин СИМОНОВ
(Кирилл Михайлович Симонов)

---

**«Комсомольская правда», 8 марта 1951 г.**
**Михаил Шолохов**

## С ОПУЩЕННЫМ ЗАБРАЛОМ...

Внимательно прочитав в «Комсомольской правде» статью М. Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» и, как ответ на эту статью, заметку К. Симонова в «Литературной газете» — «Об одной заметке», по совести говоря, удивлен непонятной запальчивостью, которую проявил Симонов, полемизируя с Бубенновым, и необоснованностью доводов, приведенных Симоновым, яростно отстаивающим существование в литературе псевдонимов.

Подводя «юридический базис» под свои доводы в защиту псевдонимов, Симонов начинает со ссылки на советское авторское право, в котором

сказано, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно». Но Симонов не упоминает о том, что авторское право узаконено было двадцать пять лет тому назад, что оно устарело и едва ли стоит его канонизировать. Примером «дряхлости» авторского права, появившегося на свет в 1925 году, служит хотя бы тот факт, что ни одного анонимного произведения за истекшие четверть века в нашей литературе не появилось, да и едва ли могло появиться по причинам вполне понятным.

Некоей загадочностью веет от полемического задора и критической прыти К. Симонова. Иначе чем же объяснить хотя бы то обстоятельство, что Симонов сознательно путает карты, утверждая, будто вопрос о псевдонимах — личное дело, а не общественное? Нет, это вопрос общественной значимости, а будь он личным делом, не стоило бы редактору «Литературной газеты» Симонову печатать в этой газете заметку «Об одной заметке», достаточно было бы телефонного разговора между Симоновым и Бубенновым.

Симонов пишет: «...Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлись ему, Бубеннову, не по вкусу». Но дело вовсе не во вкусовых ощущениях и не в том, что кому нравится и что не нравится. Разговор идет не о сливочном мороженом, а о литературе, о литературном быте, — стало быть, глагол «нравиться» в данном споре неуместен и в аргументации Симонова позиций его отнюдь не укрепляет.

С неоправданной резкостью обвиняя Бубеннова в бесцеремонности, крикливости, зазнайстве, развязности, нелепости и прочем, Симонов не видит всех этих качеств в своей собственной заметке, а качества эти прут у него из каждой строки и достаточно дурно пахнут. К примеру, чего стоит такой «разумный», по мнению Симонова, совет: «...На мой взгляд, было бы разумней, если бы Бубеннов обратился со своими соображениями к этим товарищам (т. е. к тем, кто носит литературные псевдонимы. — М. Ш.) лично и порознь, а не в печати и чохом...» Кому-кому, а Симонову должно быть известно, что так много у нас литераторов, имеющих литературные псевдонимы, что Бубеннов, пожалуй, дожил бы до седин, если бы отважился на то, чтобы каждому «лично и порознь» высказывать свои соображения о псевдонимах.

Желая сознательно увести читателя подальше от существа вопроса, Симонов как бы обвиняет Бубеннова в том, что тот не приводит в своем списке известных писателей, носящих псевдонимы. Но в статье Бубеннова речь идет не о тех, кто издавна избрал себе ту или иную вымышленную фамилию и под этой фамилией широко известен советскому читателю, не посягает Бубеннов на изничтожение их псевдонимов. Речь идет о том, что молодежи наших дней, вступающей на литературное поприще, не нужна эта отжившая свой век «традиция». И думается мне, что правильно ставит вопрос Бубеннов, когда говорит о том, что не к лицу молодым литераторам стыдиться даже неблагозвучных фамилий своих отцов и праотцов и взамен их подыскивать себе надуманные звонкие фамилии.

В конце концов, правильно сказано в статье Бубеннова и о том, что известное наличие свежеиспеченных обладателей псевдонимов порождает в литературной среде безответственность и безнаказанность. Окололитературные деляги и «жучки», легко меняющие в год по пять псевдонимов и с такой же поразительной легкостью, в случае неудачи, меняющие профессию литератора на профессию скорняка или часовых дел мастера, — наносят литературе огромный вред, развращая нашу здоровую молодежь, широким потоком вливающуюся в русло могучей советской литературы.

Никого Бубеннов не поучает и не хочет поучать. Сам заголовок его статьи целиком снимает обвинение, которое пытается приписать ему Симонов. А что касается зазнайства и кичливости, то желающие могут с успехом научиться этому у Симонова. Чего стоит одна его фраза в конце заметки, адресованная Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Этакое барски-пренебрежительное и покровительственное похлопывание по плечу! Любопытно было бы знать, когда же и от кого получил Симонов паспорт на маститость и бессмертие? И стоит ли ему раньше времени записываться в литературные «старички»?

Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь...



Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами. Он опустил забрало и наглухо затянул на подбородке ремни. Потому и невнятна его речь, потому и не найдет она сочувственного отклика среди читателей.

---

**«Литературная газета», 10 марта 1951 г.**

## ЕЩЕ ОБ ОДНОЙ ЗАМЕТКЕ

Писатель Михаил Шолохов в «Комсомольской правде» (№ 55) выступил в защиту заметки Михаила Бубеннова «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Комсомольская правда», № 47), подвергнутой с моей стороны критике в «Литературной газете» (№ 27).

Несколько кратких замечаний по этому поводу.

Первое. Дискутировать в газетах о правомерности или неправомерности литературных псевдонимов, по-моему, нет нужды, ибо избирать или не избирать себе литературное имя — это личное дело писателя. Подчеркнуть именно это обстоятельство и было целью моего краткого ответа Бубеннову.

Второе. Шолохов спрашивает: «Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь...» Я думаю, что это понятно, но, уважая имя Шолохова, могу объяснить еще раз. Я выступил в защиту писателей, пожелавших избрать себе литературные имена, от облыжных обвинений в хамелеонстве. Шолохов пишет, что Бубеннов говорит лишь о «молодежи наших дней, вступающей на литературное поприще», и не «посягает на изничтожение псевдонимов» известных писателей. Шолохов невнимательно прочел Бубеннова. Бубеннов связывает все вообще литературные псевдонимы с попытками «прятаться от общества» и с «своеобразным хамелеонством». Он пишет, что «настало время навсегда покончить с псевдонимами». На мой же взгляд, и маститый Погодин, избравший себе литературное имя двадцать лет назад, и молодой Мальцев, избравший его пять лет назад, одинаково не заслуживают нелепых попреков в хамелеонстве.

Третье. Считаю неверным и оскорбительным для нашей литературы соединение и в заметке Бубеннова и в заметке Шолохова вопроса о литературных псевдонимах писателей с вопросом о борьбе с «отдельными халтурщиками», «окололитературными делягами и жучками».

Четвертое. Шолохов видит «барское пренебрежение» в моей фразе, адресованной Бубеннову: «Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя». Остаюсь при убеждении, что Бубеннов талантлив и как писатель молод. Не видя в том ничего обидного, причисляю себя вместе с Бубенновым к молодым писателям, которым предстоит еще учиться многому и у многих, в том числе и у такого мастера литературы, как Михаил Шолохов. Не хотел бы учиться у Шолохова только одному — той грубости, тем странным попыткам ошельмовать другого писателя, которые обнаружились в этой его вдруг написанной по частному поводу заметке после пяти лет его полного молчания при обсуждении всех самых насущных проблем литературы. Мое глубокое уважение к таланту Шолохова таково, что, признаюсь, я в первую минуту усомнился в его подписи под этой неверной по существу и оскорбительно грубой по форме заметкой. Мне глубоко жаль, что эта подпись там стоит.

Наконец, последнее. Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя. Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.

К. СИМОНОВ

* * *

Раздраженная тирада Сталина против двойных фамилий: «Зачем это подчеркивать? Зачем это делать? Зачем насаждать антисемитизм? Кому это надо?» — на меня лично произвела сильное впечатление. По разным

поводам я сталкивался в разговорах с людьми разных поколений с мнением, что Сталин не любит или, во всяком случае, недолюбливает евреев; сталкивался и с попытками объяснить это многими причинами, начиная с его отношения к Бунду и кончая приведением списка его основных политических противников, с которыми он в разное время покончил разными способами, списка, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и многие другие сторонники Троцкого и левые оппозиционеры. Это звучало, с одной стороны, вроде бы убедительно, а с другой — нет, потому что во главе правой оппозиции, с которой Сталин так же беспощадно расправился, были как на подбор люди с русскими фамилиями и с русским происхождением. С третьей же стороны, Каганович в нашем представлении большой период времени числился ближайшим соратником Сталина и чуть ли не так и назывался, до самого конца оставался членом Политбюро; Мехлис был долгие годы помощником Сталина, в годы войны, несмотря на керченский провал, за который можно было не сносить головы, оставался членом Военного совета разных фронтов, а потом стал министром государственного контроля; Литвинов полтора десятилетия фактически, а потом и официально руководил Наркоматом иностранных дел. В кинематографии, где с самого начала ее у нас так сложилось, что среди самых крупных ее дарований большинство составляли люди еврейского происхождения, в самые жестокие годы — тридцать седьмой и тридцать восьмой — было затронуто репрессиями людей куда меньше, чем в любой другой сфере искусства.

Правда, что-то смещалось и начинало происходить в последние годы, после войны. Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к ее официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей; появление вслед за псевдонимами скобок, в которых сообщались фамилии; подбор людей, попавших в статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», по тому же признаку; различного рода попущения действующим в этом направлении доброхотам, иногда делавшим или пытавшимся делать на антисемитизме собственную карьеру, — все это, однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина. Мне, например, в его антисемитизм верить не хотелось: это не совпадало с моими представлениями о нем, со всем тем, что я читал у него, и вообще казалось чем-то нелепым, несовместимым с личностью человека, оказавшегося во главе мирового коммунистического движения.

А все-таки чувствовалось, что происходит нечто ненормальное, после войны что-то переменилось в этом смысле. Проблемы ассимиляции или неассимиляции евреев, которые просто-напросто не существовали в нашем юношеском быту, в школе, в институте до войны, эти проблемы начали существовать. Евреи стали делиться на тех, кто считает свою постепенную ассимиляцию в социалистическом обществе закономерной, и на тех, кто не считает этого и сопротивляется ей. В этих послевоенных катаклизмах, кроме нагло проявлявшегося антисемитизма, появился и скрытый, но упорный ответный еврейский национализм, который иногда в некоторых разговорах квалифицировался как своего рода национализм в области подбора кадров, — все это наличествовало и в жизни, и в сознании.

Но при том отношении к Сталину, которое у подобных мне людей продолжало в те годы оставаться почти некритическим, мы в разговорах между собою не раз возвращались к тому, кто же закоперщик этих все новых и новых проявлений антисемитизма. Кто тут играет первую скрипку, от кого это идет, распространяется? Кто, используя те или иные неблагоприятные для евреев настроения и высказывания Сталина, существование которых мы допускали, стремится все это гиперболизировать и утилизировать? Разные люди строили разные предположения, подразумевая при этом то одного, то другого, то третьего, то сразу нескольких членов тогдашнего Политбюро.

И вот, высказываясь по поводу книги Ореста Мальцева и двойных фамилий, сам Сталин, может быть, к чьему-то неудовольствию, но к радости большинства из нас, недвусмысленно заявил, что если есть люди, которые уже второй год не желают принимать к исполнению, казалось бы, ясно выраженное им, Сталиным, отрицательное отношение к этим двойным фамилиям, к этому насаждению антисемитизма, то сам он, Сталин, не только далек от того, чтоб поддерживать нечто похожее, но счел нужным при нас с полной ясностью высказаться на этот счет и поставить все точки над «и», объяснив, что это идет не от него, что он этим недоволен, что он это намерен пресечь.



Так я думал тогда и продолжал думать еще почти целый год, до тех пор, пока уже после смерти Сталина не познакомился с несколькими документами, не оставлявшими никаких сомнений в том, что в самые последние годы жизни Сталин стоял в еврейском вопросе на точке зрения, прямо противоположной той, которую он нам публично высказал. Вполне можно допустить, что ему не понравились какие-то, в определенный момент показавшиеся ему глупыми или неудачными мелочи вроде этих скобок после псевдонимов, но это не имело отношения к существу дела. Просто Сталин сыграл в тот вечер перед нами, интеллигентами, о чьих разговорах, сомнениях и недоумениях он, очевидно, был по своим каналам достаточно осведомлен, спектакль на тему: держи вора, дав нам понять, что то̀, что нам не нравится, исходит от кого угодно, но только не от него самого. Этот маленький спектакль был сыгран мимоходом. Сколько-нибудь долго объясняться с нами на эту тему он не считал нужным и был прав, потому что мы привыкли верить ему с первого слова.

Вернусь, однако, к тексту давно отложенной мною в сторону записи. Кстати, как я выяснил, посмотрев сейчас копию своего сопроводительного письма к замечаниям специалистов по Италии о романе Еремина, заседание Политбюро, о котором идет речь, происходило не в марте пятьдесят второго года, а примерно за неделю до публикации списка премий — двадцать шестого февраля.

«В заключение заседания Сталин заговорил о нашей драматургии, выразил свое недовольство ею.

— Плохо с драматургией у нас, — сказал он. — Вот говорят, что нравится пьеса Первенцева, потому что там конфликт есть. Берут заграничную жизнь, потому что там есть конфликты. Как будто у нас в жизни нет конфликтов. Как будто у нас в жизни нет сволочей. И получается, что драматурги считают, что им запрещено писать об отрицательных явлениях. Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни. А если у кого-нибудь появляется что-нибудь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают. Вот у Бабаевского в одной из его книг сказано про какую-то бабу, про обыкновенную отсталую бабу, или про людей, которые были в колхозе, а потом вышли, оказались отсталыми людьми. И сразу же напали на него, говорят, что этого быть не может, требуют, чтоб у нас все было идеальным; говорят, что мы не должны показывать неказовую сторону жизни, — а на самом деле мы должны показывать неказовую сторону жизни. Говорят так, словно у нас нет сволочей. Говорят, что у нас нет плохих людей, а у нас есть плохие и скверные люди. У нас есть еще немало фальшивых людей, немало плохих людей, и с ними надо бороться, и не показывать их — значит совершать грех против правды. Раз есть зло, значит, надо его лечить. Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины. У нас немало еще зла. Немало еще недостатков. Далеко не все еще хорошо. Вот Софронов высказывал такую теорию, что нельзя писать хороших пьес: конфликтов нет. Как пьесы без конфликтов писать. Но у нас есть конфликты. Есть конфликты в жизни. Эти конфликты должны получить свое отражение в драматургии — иначе драматургии не будет. А то нападают на все отрицательное, показанное драматургами, в результате они пугаются и вообще перестают создавать конфликты. А без конфликтов не получается глубины, не получается драматургии. Драматургия страдает от этого. Это надо объяснить, чтоб у нас была драматургия. У нас есть злые люди, плохие люди — это надо сказать драматургам. А критики им говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии».

**31 марта 1979 года**

На этом заканчивается моя тогдашняя запись. Это были последние слова, что я услышал из уст Сталина в том, сравнительно нешироком кругу, в котором проходили эти заседания.

Перечитывая это сейчас, думаю, что жили мы тогда в поистине трудное время для человека, занимающегося литературой, пишущего или, как я, редактирующего в те годы «Литературную газету». На протяжении года, двух, трех все буквально по нескольку раз могло перевернуться с головы на ноги, с ног на голову: достаточно сравнить хотя бы то, что говорилось в статье о критиках-антипатриотах и в бесчисленных последующих статьях того времени о наших театральных критиках, с тем, что говорил Сталин о них же три года спустя, в феврале пятьдесят второго года. Всякий раз он был прав, не мог не быть прав, но чем дальше, тем труднее выстраивалась ложная логика этой правоты. Чем дальше, тем труднее было приводить у себя в голове в какую-то систему, сколько-нибудь похожую на единую систему, то, что он требовал от критики, от литературы: то, что он говорил о необходимости правды жизни,—с тем, что сплошь и рядом тут же происходило вокруг попыток сказать об этой правде жизни. Не укладывалось в систему и то, что он иногда по собственной инициативе отбирал для присуждения премий действительно правдивые произведения, как это было с Пановой, или Некрасовым, или с Казакевичем, с тем, что при его поддержке проходили на премию произведения, вопиюще далекие от чего-либо похожего на правду жизни, такие, как «Борьба за мир» Панферова и его же «В стране поверженных», да и многое другое в том же духе.

Думал ли я об этом тогда? В последние годы жизни Сталина думал. Не с той, конечно, категоричностью в суждениях, наоборот, с внутренними искренними попытками понять его логику, объяснить его суждения той или иной политической необходимостью. Но мозги иногда лопались от этих по-своему честных стараний совместить несовместимое.

* * *

Моя следующая запись о Сталине датирована шестнадцатым марта 1953 года, то есть уже через какое-то количество дней после его смерти. Через какое именно, если быть до конца честным, сказать затрудняюсь. Возможно, на этом лежит печать государственной тайны, допускаю, что Сталин умер сразу, а не боролся еще несколько дней за жизнь, находясь без сознания. Бюллетени с медицинской точки зрения с первого же дня рисовали картину, с медицинской точки зрения, безнадежную. Могу допустить, что было признано необходимым растянуть на несколько дней в сознании большинства людей потрясающую новость, что Сталина нет. Допускаю, что нас приучали несколько дней к тому, что его вот-вот не будет. Может быть, я не прав, и все было именно так, как писалось в бюллетенях, но мысль о том, что могло быть и так, как я сейчас думаю, из головы не выходит. Не до конца уверен и в том, как именно умер Сталин. Действительно ли его хватил удар в том одиночестве, на которое он себя обрек, и лишь через несколько часов обнаружили его лежащим на полу без сознания? Или его конец своими руками ускорил Берия?

Это можно допустить по нескольким причинам сразу.

Последнее полугодие своей жизни, в частности в связи с так называемым мингрельским делом, Сталин заметно отодвинул Берию от себя, хотя и сделал это, видимо, непоследовательно, не до конца, может быть, преувеличивая в тот момент свои возможности, часть которых была уже блокирована Берией. В этой ситуации Берия, конечно, был заинтересован в скорейшем конце Сталина.

Второе основание для таких размышлений связано с тем, что на протяжении ряда лет все-таки именно Берия больше, чем кто-либо другой, способен был проникнуть к Сталину не только по его воле, но и, очевидно, помимо ее.

Третье основание. Все то, что мы узнали о Берии, выяснившаяся в июне пятьдесят третьего года его попытка захватить власть в свои руки, подсказывают и такую возможность, что первым шагом к этому могло быть и устранение Сталина—или прямое устранение, или под видом прихода ему на помощь.

Все эти допущения—результат многолетних размышлений, не столько над самими этими тайнами, в гораздо большей степени вообще над тем коротким отрезком нашей истории.



А тогда, в марте пятьдесят третьего года, как свидетельствуют мои записи, все это еще не приходило мне в голову:

«Последний день заседания XIX съезда партии. Уже объявлены результаты выборов в ЦК и в ревизионную комиссию, и после этого Ворошилов снова предоставляет слово одному за другим нескольким иностранным делегатам, приветствующим съезд. После нескольких дней отсутствия Сталин в этот, последний день с самого начала заседания сидит в президиуме. Все в зале напряженно ждут того, о чем уже говорили между собою и вчера, и сегодня перед началом заседаний,—будет ли выступать Сталин? Если будет выступать, то как и по какому вопросу? Может быть, он закроет съезд?

Между тем заседание идет своим ходом, и оттого, что оно все продолжается и продолжается, возникают сомнения: а вдруг Сталин все-таки так и не выступит? Ворошилов предоставляет слово Копленигу; потом, когда тот, под аплодисменты сойдя с трибуны, садится на свое место, Ворошилов выдерживает небольшую паузу и говорит: «Приветствия делегаций коммунистических братских партий закончены». И уже без паузы объявляет: «Слово предоставляется товарищу Сталину».

Зал поднимается и рукоплещет. Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре. Кладет перед собой листки, которые, как мне кажется, он держал в руке, когда шел к трибуне, и начинает говорить—спокойно и неторопливо. Так же спокойно и неторопливо он пережидает аплодисменты, которыми зал встречает каждый абзац его речи. В одном месте зал прерывает его речь так, что если продолжить ее с того слова, на котором она была прервана аплодисментами, то форма одного из строго построенных абзацев речи будет нарушена. Сталин останавливается, дожидается конца аплодисментов и начинает снова не с того места, с какого его прервали аплодисменты, а выше, с первого слова той фразы, которая кончается словами о знамени: «Больше некому его поднять».

В самом конце своей речи Сталин впервые чуть-чуть повышает голос, говоря: «Да здравствуют наши братские партии! Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между народами!» После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой поджигателей войны!» Он произносит ее не так, как произнесли бы, наверное, другие ораторы — повысив голос на этой последней фразе. Наоборот, на этой фразе он понижает голос и произносит ее тихо и презрительно, сделав при этом левой рукой такой жест спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает куда-то в сторону этих поджигателей войны, о которых он вспомнил, потом поворачивается и, медленно поднявшись по ступенькам, возвращается на свое место.

После этого мне довелось видеть Сталина еще два раза: на обеде, который давал Центральный Комитет членам иностранных делегаций коммунистических братских партий, и на последнем пленуме Центрального Комитета, в работе которого принимал участие Сталин».

На этом месте оторвусь от записи для того, чтобы и объяснить, и рассказать некоторые обстоятельства, связанные лично для меня с ее последним абзацем.

На XIX съезде партии я был в числе гостей с билетом на все заседания, за исключением, разумеется, того закрытого, на котором избирался новый состав ЦК. Вечером этого дня мне позвонил домой писатель Бабаевский и абсолютно неожиданно для меня поздравил меня с тем, что я выбран кандидатом в члены ЦК. Если бы мне позвонил кто-то другой, я, может быть, вообще не поверил бы в это, счел за розыгрыш и обругал бы говорившего, но Бабаевский был делегатом съезда, человеком, с которым мы были весьма далеки, и у меня не было оснований не поверить ему. Я поблагодарил его за поздравление, позвонил одному из своих знакомых делегатов съезда и проверил еще и у него, так ли это в действительности, и, убедившись, что так, подумал, что, очевидно, оказался в числе кандидатов в члены ЦК как главный редактор «Литературной газеты». Догадка была верной, так оно впоследствии и оказалось. Одновременно со мной, тоже впервые в своей жизни, были выбраны в ревизионную комиссию ЦК Твардовский—в то время редактор «Нового мира» и Сурков—в то

время редактор «Огонька». Мне почему-то кажется, что во всех трех случаях это была инициатива Сталина, хотя, может быть, я и ошибаюсь.

На обеде, который давал ЦК в честь делегаций коммунистических партий и который происходил чуть ли не в тот же вечер, когда закрылся съезд, я оказался сидящим рядом с Георгием Константиновичем Жуковым, выбранным так же, как и я, в кандидаты в члены ЦК. Тут уж не приходилось сомневаться, что это произошло по инициативе Сталина,— никаких иных причин в то время быть не могло. Многих эта перемена в судьбе Жукова обрадовала и в то же время удивила. Меня удивила, наверное, меньше, чем других, потому что я помнил то, что говорил еще два года назад Сталин о Жукове в связи с обсуждением романа Казакевича «Весна на Одере». Теперь, во время этого ужина, сидя рядом с Жуковым, я не только вспомнил тот разговор о нем, который происходил на Политбюро, но и счел себя вправе рассказать о нем Георгию Константиновичу. Я чувствовал сквозь не изменявшую ему сдержанность, что он в тот вечер был в очень хорошем настроении. Думаю, что избрание в ЦК было для него неожиданностью. Тем сильнее, наверное, было впечатление, которое это произвело на него. Однако чувство собственного достоинства не позволило ему ни разу, ни словом коснуться этой, несомненно больше всего волновавшей его темы за те несколько часов, что мы просидели с ним рядом.

Вел ужин и произносил тосты на нем Ворошилов. А Сталин, сидевший во главе стола, но чуть подальше от центра его, почти весь ужин общался с сидевшими — один совсем рядом с ним, а другой близко от него — (неразборчиво.— **Л. Л.**) и Торезом. Внимание его к ним обоим ощущалось даже как подчеркнутое, и, очевидно, это было не случайным,— так, во всяком случае, мне тогда показалось.

Пленум ЦК — первый, на котором я присутствовал в своей жизни, и единственный, на котором я видел Сталина,— состоялся днем позже, шестнадцатого октября. В мартовской 1953 года записи о пленуме этом по многим причинам я не распространялся. Но все же сначала приведу — такой, какая она есть,— тогдашнюю краткую запись, а потом по памяти расшифрую некоторые моменты ее, которые теперь, спустя двадцать семь лет, расшифровать, пожалуй, будет меньшим грехом, чем вовсе предать забвению.

Вот эта запись в первозданном виде:

«Естественно, я не вправе записывать все то, что происходило на пленуме ЦК, но, не касаясь вопросов, которые там стояли, я все-таки хочу записать некоторые подробности.

Когда ровно в назначенную минуту начался пленум, все уже сидели на местах, и Сталин вместе с остальными членами Политбюро, выйдя из задней двери, стал подходить к столу президиума, собравшиеся в Свердловском зале захлопали ему. Сталин вошел с очень деловым, серьезным, сосредоточенным лицом и, быстро взглянув в зал, сделал очень короткий, но властный жест рукой — от груди в нашу сторону. И было в этом жесте выражено и то, что он понимает наши чувства к себе, и то, что мы должны понять, что этого сейчас не надо, что это пленум ЦК, где следует заняться делами.

Один из членов ЦК, выступая на пленуме, стоя на трибуне, сказал в заключение своей речи, что он преданный ученик товарища Сталина. Сталин, очень внимательно слушавший эту речь, сидя сзади ораторов в президиуме, коротко подал реплику: «Мы все ученики Ленина».

Выступая сам, Сталин, говоря о необходимости твердости и бесстрашия, заговорил о Ленине, о том, какое бесстрашие проявил Ленин в 1918 году, какая неимоверно тяжелая обстановка тогда была и как сильны были враги.

— А что же Ленин? — спросил Сталин.— А Ленин — перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой неимоверно тяжелой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел.

Сталин дважды или трижды, раз за разом повторил это слово: «Гремел!»

Затем в связи с одним из возникших на пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, Сталин сказал:

— Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было только записано за мною. Я не так воспитан,— последнее он сказал очень резко».



Что же происходило и что стояло за этой краткой, сделанной мною в пятьдесят третьем году, записью? Попробую вспомнить и объяснить в меру своего разумения.

**2 апреля 1979 года**

Не хочу брать грех на душу и пытаться восстанавливать те подробности происходившего на пленуме, которые я помнил, но тогда не записал. Скажу только о том, что действительно врезалось в память и осталось в ней как воспоминание тяжелое и даже трагическое.

Весь пленум продолжался, как мне показалось, два или два с небольшим часа, из которых примерно полтора часа заняла речь Сталина, а остальное время речи Молотова и Микояна и завершившие пленум выборы исполнительных органов ЦК. Сколько помнится, пока говорил Сталин, пленум вел Маленков, остальное время — сам Сталин. Почти сразу же после начала Маленков предоставил слово Сталину, и тот, обойдя сзади стол президиума, спустился к стоявшей на несколько ступенек ниже стола президиума, по центру его кафедре. Говорил он от начала и до конца все время сурово, без юмора, никаких листков или бумажек перед ним на кафедре не лежало, и во время своей речи он внимательно, цепко и как-то тяжело вглядывался в зал, так, словно пытался проникнуть в то, что думают эти люди, сидящие перед ним и сзади. И тон его речи, и то, как он говорил, вцепившись глазами в зал,— все это привело всех сидевших к какому-то оцепенению, частицу этого оцепенения я испытал на себе. Главное в его речи сводилось к тому (если не текстуально, то по ходу мысли), что он стар, приближается время, когда другим придется продолжать делать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с капиталистическим лагерем предстоит тяжелая и что самое опасное в этой борьбе дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою очередь, было связано с темою собственной старости и возможного ухода из жизни.

Говорилось все это жестко, а местами более чем жестко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и были как составные части элементы игры и расчета, но за всем этим чувствовалась тревога истинная и не лишенная трагической подоплеки. Именно в связи с опасностью уступок, испуга, капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину в тех фразах, которые я уже приводил в тогдашней своей записи. Сейчас, в сущности, речь шла о нем самом, о Сталине, который может уйти, и о тех, кто может после него остаться. Но о себе он не говорил, вместо себя говорил о Ленине, о его бесстрашии перед лицом любых обстоятельств.

Главной особенностью речи Сталина было то, что он не счел нужным говорить вообще о мужестве или страхе, решимости и капитулянтстве. Все, что он говорил об этом, он привязал конкретно к двум членам Политбюро, сидевшим здесь же, в этом зале, за его спиною, в двух метрах от него, к людям, о которых я, например, меньше всего ожидал услышать то, что говорил о них Сталин.

Сначала со всем этим синодиком обвинений и подозрений, обвинений в нестойкости, в нетвердости, подозрений в трусости, капитулянтстве он обрушился на Молотова. Это было настолько неожиданно, что я сначала не поверил своим ушам, подумал, что ослышался или не понял. Оказалось, что это именно так. Из речи Сталина следовало, что человеком, наиболее подозреваемым им в способности к капитулянтству, человеком самым в этом смысле опасным был для него в этот вечер, на этом пленуме Молотов, не кто-нибудь другой, а Молотов. Он говорил о Молотове долго и беспощадно, приводил какие-то не запомнившиеся мне примеры неправильных действий Молотова, связанных главным образом с теми периодами, когда он, Сталин, бывал в отпусках, а Молотов оставался за него и неправильно решал какие-то вопросы, которые надо было решить иначе. Какие, не помню, это не запомнилось, наверное, отчасти потому, что Сталин говорил для аудитории, которая была более осведомлена в политических тонкостях, связанных с этими вопросами, чем я. Я не всегда понимал, о чем идет речь. И, во-вторых, наверное, потому, что обвинения, которые он излагал,

были какими-то недоговоренными, неясными и неопределенными, во всяком случае, в моем восприятии это осталось так.

Я так и не понял, в чем был виноват Молотов, понял только то, что Сталин обвиняет его за ряд действий в послевоенный период, обвиняет с гневом такого накала, который, казалось, был связан с прямой опасностью для Молотова, с прямой угрозой сделать те окончательные выводы, которых, памятуя прошлое, можно было ожидать от Сталина. В сущности, главное содержание своей речи, всю систему и обвинений в трусости и капитулянтстве, и призывов к ленинскому мужеству и несгибаемости Сталин конкретно прикрепил к фигуре Молотова: он обвинялся во всех тех грехах, которые не должны иметь места в партии, если время возьмет свое и во главе партии перестанет стоять Сталин.

При всем гневе Сталина, иногда отдававшем даже невоздержанностью, в том, что он говорил, была свойственная ему железная конструкция. Такая же конструкция была и у следующей части его речи, посвященной Микояну, более короткой, но по каким-то своим оттенкам, пожалуй, еще более злой и неуважительной.

В зале стояла страшная тишина. На соседей я не оглядывался, но четырех членов Политбюро, сидевших сзади Сталина за трибуной, с которой он говорил, я видел: у них у всех были окаменевшие, напряженные, неподвижные лица. Они не знали так же, как и мы, где и когда, и на чем остановится Сталин, не шагнет ли он после Молотова, Микояна еще на кого-то. Они не знали, что еще предстоит услышать о других, а может быть, и о себе. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они — сначала Молотов, потом Микоян — спустились один за другим на трибуну, где только что стоял Сталин, и там — Молотов дольше, Микоян короче — пытались объяснить Сталину свои действия и поступки, оправдаться, сказать ему, что это не так, что они никогда не были ни трусами, ни капитулянтами и не убоятся новых столкновений с лагерем капитализма и не капитулируют перед ним.

После той жестокости, с которой говорил о них обоих Сталин, после той ярости, которая звучала во многих местах его речи, оба выступавшие казались произносившими последнее слово подсудимыми, которые, хотя и отрицают все взваленные на них вины, но вряд ли могут надеяться на перемену в своей, уже решенной Сталиным судьбе. Странное чувство, запомнившееся мне тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди, которых я довольно много раз и довольно близко от себя видел, а белые маски, надетые на эти лица, очень похожие на сами лица и в то же время какие-то совершенно не похожие, уже неживые. Не знаю, достаточно ли я точно выразился, но ощущение у меня было такое, и я его не преувеличиваю задним числом.

Не знаю, почему Сталин выбрал в своей последней речи на пленуме ЦК как два главных объекта недоверия именно Молотова и Микояна. То, что он явно хотел скомпрометировать их обоих, принизить, лишить ореола одних из первых после него самого исторических фигур, было несомненно. Он хотел их принизить, особенно Молотова, свести на нет тот ореол, который был у Молотова, был, несмотря на то, что, в сущности, в последние годы он был в значительной мере отстранен от дел, несмотря на то, что Министерством иностранных дел уже несколько лет непосредственно руководил Вышинский, несмотря на то, что у него сидела в тюрьме жена, — несмотря на все это, многими и многими людьми — и чем шире круг брать, тем их будет больше и больше, — имя Молотова называлось или припоминалось непосредственно вслед за именем Сталина. Вот этого Сталин, видимо, и не желал. Это он стремился дать понять и почувствовать всем, кто собрался на пленум, всем старым и новым членам и кандидатам ЦК, всем старым и новым членам исполнительных органов ЦК, которые еще предстояло избрать. Почему-то он не желал, чтобы Молотов после него, случись что-то с ним, остался первой фигурой в государстве и в партии. И речь его окончательно исключала такую возможность.

Допускаю, что, зная Молотова, он считал, что тот не способен выполнять первую роль в партии и в государстве. Но бил он Молотова как раз в ту точку, как раз в тот пункт, который в сознании людей был самым сильным «за» при оценке Молотова. Бил ниже пояса, бил по представлению, сложившемуся у многих, что как бы там ни было, а Молотов все-таки самый ближайший его соратник. Бил по представлению о том, что Молотов самый твердый, самый несгибаемый последователь Сталина. Бил, обвинял в капитулянтстве, в возможности трусости и капитулянтства, то есть как раз в том, в чем Молотова никогда никто не подозревал. Бил предательски и целенаправленно, бил, вышибая из строя своих возможных преемников. Вот то главное, что сохранилось в моем сознании в связи с этой речью.



И еще одно. Не помню, в этой же речи, еще до того как дать выступить Молотову и Микояну, или после этого, в другой, короткой речи, предшествовавшей избранию исполнительных органов ЦК, — боюсь даже утверждать, что такая вторая речь была, возможно, все было сказано в разных пунктах первой речи, — Сталин, стоя на трибуне и глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в состоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. Он может продолжать нести свои обязанности Председателя Совета Министров, может исполнять свои обязанности, ведя, как и прежде, заседания Политбюро, но он больше не в состоянии в качестве Генерального секретаря вести еще и заседания Секретариата ЦК. Поэтому от этой последней своей должности он просит его освободить, уважить его просьбу. Примерно в таких словах, передаю почти текстуально, это было высказано. Но дело не в самих словах. Сталин, говоря эти слова, смотрел на зал, а сзади него сидело Политбюро и стоял за столом Маленков, который, пока Сталин говорил, вел заседание. И на лице Маленкова я увидел ужасное выражение — не то чтоб испуга, нет, не испуга, — а выражение, которое может быть у человека, яснее всех других или яснее, во всяком случае, многих других осознавшего ту смертельную опасность, которая нависла у всех над головами и которую еще не осознали другие: нельзя соглашаться на эту просьбу товарища Сталина, нельзя соглашаться, чтобы он сложил с себя вот это одно, последнее из трех своих полномочий, нельзя. Лицо Маленкова, его жесты, его выразительно воздетые руки были прямой мольбой ко всем присутствующим немедленно и решительно отказать Сталину в его просьбе. И тогда, заглушая раздавшиеся уже и из-за спины Сталина слова: «Нет, просим остаться!», — или что-то в этом духе, зал загудел словами: «Нет! Нельзя! Просим остаться! Просим взять свою просьбу обратно!» Не берусь приводить всех слов, выкриков, которые в этот момент были, но, в общем, зал что-то понял и, может быть, в большинстве понял раньше, чем я. Мне в первую секунду показалось, что это все естественно: Сталин будет председательствовать в Политбюро, будет Председателем Совета Министров, а Генеральным секретарем ЦК будет кто-то другой, как это было при Ленине. Но то, чего я не сразу понял, сразу или почти сразу поняли многие, а Маленков, на котором как на председательствующем в этот момент лежала наибольшая часть ответственности, а в случае чего и вины, понял сразу, что Сталин вовсе не собирался отказываться от поста Генерального секретаря, что это проба, прощупывание отношения пленума к поставленному им вопросу — как, готовы они, сидящие сзади него в президиуме и сидящие впереди него в зале, отпустить его, Сталина, с поста Генерального секретаря, потому что он стар, устал и не может нести еще эту, третью свою обязанность.

Когда зал загудел и закричал, что Сталин должен остаться на посту Генерального секретаря и вести Секретариат ЦК, лицо Маленкова, я хорошо помню это, было лицом человека, которого только что миновала прямая, реальная смертельная опасность, потому что именно он, делавший отчетный доклад на съезде партии и ведший практически большинство заседаний Секретариата ЦК, председательствующий сейчас на этом заседании пленума, именно он в случае другого решения вопроса был естественной кандидатурой на третий пост товарища Сталина, который тот якобы хотел оставить из-за старости и усталости. И почувствуй Сталин, что там сзади, за его спиной, или впереди, перед его глазами, есть сторонники того, чтобы удовлетворить его просьбу, думаю, первый, кто ответил бы за это головой, был бы Маленков; во что бы это обошлось вообще, трудно себе представить.

Уже не помню, кто оглашал под конец пленума состав исполнительных органов, за которые предстояло проголосовать членам ЦК, — сам

Сталин или Маленков. Помню только реплику Сталина по поводу Андреева, который не вошел в состав членов и кандидатов Президиума ЦК, что он отошел от дел и практически не может больше активно работать. Что-то в этом духе. Состав Президиума, который был выбран вместо Политбюро, для многих явился неожиданностью, для меня, конечно, тоже. То, что вместо Политбюро будет избран Президиум, было уже известно из утвержденного нового Устава. То, что в этом Президиуме будет двадцать пять человек и таким образом прежнее Политбюро составит даже меньше половины Президиума, было неожиданностью.

В отчете о первом дне съезда было написано так: «Семь часов вечера. Появление на трибуне товарища Сталина и его верных соратников т. т. Молотова, Маленкова, Ворошилова, Булганина, Берии, Кагановича, Хрущева, Андреева, Микояна, Косыгина делегаты встречают долгими аплодисментами. Все встают... По поручению Центрального Комитета Коммунистической партии съезд открывает вступительной речью тов. В. М. Молотов».

Теперь в Президиуме из прежних членов Политбюро отсутствовал Андреев, а Косыгин оказался кандидатом в члены Президиума. Секретариат ЦК тоже был составлен небывало широкий: из десяти человек. Тогда мне это не приходило в голову, но потом я не раз думал, что, очевидно, Сталин хотел создать себе свободу маневрирования внутри Президиума и Секретариата. Может быть, у него были и более далеко идущие планы, которые, ему казалось, проще выполнить с расширенным составом Президиума и Секретариата. Но тогда я об этом не думал, а просто удивлялся некоторым персональным переменам. Главное же удивление мое было связано с тем, что, несмотря на яростную по отношению к Молотову и Микояну речь Сталина, они оба оказались в составе Президиума,— у меня это вызвало вздох облегчения. Но вслед за этим произошло то, что впоследствии не стало известным сколько-нибудь широко: Сталин, хотя этого не было в новом Уставе партии, предложил выделить из состава Президиума Бюро Президиума, то есть, в сущности, Политбюро под другим наименованием. И вот в это Бюро из числа старых членов Политбюро, вошедших в новый состав Президиума, не вошли ни Молотов, ни Микоян.

Приехав после пленума в «Литературную газету», я рассказал о создании Бюро Президиума своему заместителю — Борису Сергеевичу Рюрикову. Мы оба думали, что все это будет в печати. Но пришедшие в редакцию «тассовки» о создании Бюро Президиума не сообщили. Так это и осталось неизвестным, а в день смерти Сталина, когда мы явились на пленум ЦК, на котором сформировались за полтора-два часа до смерти Сталина новые органы власти, за столом президиума сидело Бюро, выбранное при Сталине, плюс Молотов и Микоян и минус сам Сталин. Таким образом, это его решение, очевидно, самоличное, принятое на том пленуме, впоследствии как бы просто игнорировалось. И только в постановлении совместного заседания пленума ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР был пункт, вскользь напоминавший о том, что некоторое время такое Бюро существовало, в разделе о Президиуме Центрального Комитета КПСС и секретарях ЦК КПСС первый пункт выглядел так: «Признать необходимым иметь в Центральном Комитете КПСС вместо двух органов ЦК — Президиум и Бюро Президиума, один орган — Президиум Центрального Комитета КПСС, как это определено Уставом партии». Следующим же пунктом шло сокращение Президиума до прежнего состава Политбюро. Выглядело это так: «В целях большей оперативности в руководстве определить состав Президиума в количестве десяти членов и четырех кандидатов». Вместо двадцати пяти и одиннадцати, как это было после XIX съезда,— это я уже добавляю от себя.

Четыре с половиной месяца, прошедшие между последним пленумом ЦК с участием Сталина и его смертью, были месяцами тяжелыми и странными. Все как будто шло своим чередом: присуждались Международные Сталинские премии защитникам мира, проходил пленум Советского комитета защиты мира, обсуждались проблемы изучения Маяковского; продолжалась в «Литературной газете» своя газетная жизнь. А в это время в Чехословакии происходил процесс над Сланским и другими. Сланского я знал, он при мне выходил через фронт после словацкого восстания из



Татр в места, занятые 4-м Украинским фронтом, где я тогда был, и я его видел в этот первый день. Был он вместе с будущим министром промышленности социал-демократом Лаушманом. Они рассказывали, как во время этого выхода из окружения у них на руках умер Ян Шверма, не выдержавший тяжести похода. Это было зимой сорок пятого года. Теперь, в ноябре пятьдесят второго, Сланскому было предъявлено обвинение в смерти Швермы и в связях с еврейской националистической организацией «Джойнт», агентом которой он якобы являлся. Среди проходивших по этому процессу был бывший политработник корпуса Свободы, а впоследствии заместитель министра обороны Чехословакии в бытность Свободы министром. С этим человеком — Бедржихом Райнциным — я довольно жестоко спорил по поводу своей пьесы «Под каштанами Праги», которая ему не нравилась; его позиция казалась мне слишком дидактической. Зная отношение к нему Свободы, зная, как высоко оценивал Свобода его участие в боях корпуса, я никак не представлял себе, что этот человек может оказаться шпионом. В декабре, летя через Прагу в Лондон, я встретил на аэродроме растерянного Яна Дрду, который сказал мне, что сам Свобода находится не то в тюрьме, не то под домашним арестом. Это меня буквально потрясло, потому что Свобода принадлежал к числу людей, которым я верил и продолжал верить безоговорочно во все времена.

В Прагу, оттуда через Париж в Лондон мы летели с Фединым. За несколько дней, если не накануне отлета работавший тогда в аппарате ЦК Владимир Семенович Лебедев, ныне покойный, сказал мне при встрече, что состоялось решение о назначении меня одним из двух главных редакторов «Правды». Я не сразу даже понял, о чем он говорит, но оказалось, что возникла идея, надо полагать, у Сталина, иметь двух главных редакторов «Правды», и вот я должен был стать одним из них. Лебедев сказал, что это решено и оформляется, к тому времени, когда я вернусь, уже состоится назначение. Я не имел никаких оснований ему не верить, хотя все это было очень странно. Я не мог понять: как же так, для чего два главных редактора в «Правде»? Это мне льстило и пугало меня. Кстати, после возвращения из Англии никто к этому проекту и к этому разговору не возвращался, как будто его и не было. Видимо, это была одна из тех внезапных идей Сталина, о которых он потом забывал и которые уходили в песок,— и слава богу, что уходили.

В Англии мы встречались с рядом английских писателей, побывавших незадолго до этого у нас. На приеме у либерально настроенной английской писательницы Наоми Митчисон к нам с Фединым, разводя руками, подошел Александр Верт. Видеть его здесь после чехословацкого процесса, где он упоминался как один из связных между «Джойнтом» и Сланским, было уже само по себе некоторым потрясением. Но он, подойдя к нам, во всеуслышание заговорил, почти закричал: «Федин! Симонов! Вы меня знаете, я был военным корреспондентом у вас, вы это прекрасно знаете. Вы знаете, что я пишу книги, в которых не соглашаюсь со многим из того, с чем соглашаетесь вы. Но я клянусь вам, что я не знал никакого Сланского, во сне не видел никакого Сланского, не имел никогда с ним никакого дела, не имею о нем никакого представления. Скажите это там, в Москве. Пусть я плохой, пусть я никуда не годный, пусть как журналиста объявляют меня кем угодно, но скажите им там, чтоб они не считали меня тем, чем я никогда не был».

Ситуация, надо сказать, была не из легких, тем более, что все в Верте в этот момент вызывало чувство доверия к его словам, а то, что происходило на процессе в Чехословакии, вызывало чувство обратное.

Мы к Новому году вернулись в Москву, а тринадцатого января в газетах было напечатано сообщение ТАСС о врачах-убийцах, сообщение ужасное, напоминавшее худшие времена тридцать седьмого — тридцать восьмого годов и такого же рода обвинения Плетнева и других в убийстве или в содействии убийству Орджоникидзе, Горького и Куйбышева. Теперь в роли жертв были Жданов и Щербаков, врачи-убийцы оказывались агентами все того же «Джойнта», у всех у них были еврейские фамилии, правда, к ним потом присоединили несколько врачей с русскими фамилиями. Среди этих врачей с еврейскими фамилиями был человек, которого я прекрасно знал лично,— профессор Вовси. Он меня лечил во время войны и после нее, будучи главным терапевтом Красной Армии. В винов-

ность его я просто не мог поверить. Да и вообще все это не вызывало веры, казалось чем-то чудовищным, странным. Когда неделю спустя появилось сообщение о награждении орденом Ленина врача Лидии Тимашук, которой правительство выражало благодарность за помощь в разоблачении врачей-убийц, вся эта история выглядела еще страшней, еще подозрительней. Накатывалась волна антисемитизма, во многих случаях не чуждая прямому сведению всякого рода личных счетов — недавних и давних.

**4 апреля 1979 года**

Вторую половину января, февраль и первую половину марта, включая недели полторы после смерти Сталина, — вокруг дела врачей-убийц создавалась гнетущая атмосфера. Казалось, что нависает что-то страшное, повторение тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Даже смерть Сталина не сразу разрядила эту атмосферу, могу это сказать, опираясь на собственные ощущения.

В голове была полная сумятица. С одной стороны, я хорошо помнил, как совсем недавно в моем присутствии Сталин выступал против антисемитизма, я слышал это своими ушами. И вдруг эти врачи-убийцы, этот список с преимущественно еврейскими фамилиями, эти обличения в связи с «Джойнтом», вся та муть, которая поднялась со дна вокруг этого.

Врачи-убийцы — страшнее, кажется, придумать было невозможно. Все, начиная от самой формулировки, было намеренно рассчитано на огромный резонанс, на то, что люди, хоть немного поддавшиеся на это, хоть в какой-то степени этому поверившие, станут людьми со сдвинутыми мозгами, людьми, боящимися повседневно за собственную жизнь, за собственное здоровье и, что еще страшнее, за здоровье своих детей. В общем, было ощущение, что последствия всего этого могут оказаться поистине необозримыми. Я мысленно спрашивал себя: что же произошло? Что Сталин? Что, он сознательно обманывал нас тогда, когда говорил совершенно обратное тому, что делалось (тут не приходилось сомневаться) по его прямому указанию и разрешению теперь, или он был искренен и тогда, и теперь? И верны те страшные, робко просачивавшиеся слухи о каких-то смещениях в его психике? В это и не хотелось верить, и страшно было поверить. Да и мысль о нарушениях в психике не сочеталась с теми впечатлениями, которые остались у меня от встреч, все это не укладывалось в голове. Не укладывалось в голове ни то, ни другое.

А сколько всяческой мути всплыло за это время на поверхность! Но, пожалуй, чтоб не заходить слишком далеко, начну от собственной печки, у нее же закончу.

На протяжении этих первых месяцев пятьдесят третьего года Алексей Александрович Сурков, который сидел в Союзе писателей, как в былые времена я, заменяя длительное или довольно длительное время отсутствовавшего Фадеева, дважды рассказывал мне о разговорах с работниками аппарата ЦК в связи с имевшими ко мне касательство письмами. Надо сказать, что Сурков глубоко, органически презирал и ненавидел и антисемитизм как явление, и антисемитов как его персональных носителей, не скрывал этого и в своем резком отпоре всему, с этим связанному, был последовательнее и смелее меня и Фадеева.

В первом случае он в ярости рассказывал мне о содержании письма, которое ему как исполняющему обязанности руководителя Союза писателей показали в аппарате ЦК. Это письмо, адресованное в ЦК, было не анонимным, его подписал один из тех бывалых людей, которые, имея немалые заслуги в годы войны, воспользовались сделанной чужими руками литературной записью своих подвигов для того, чтобы пробиться в Союз писателей. Не буду называть здесь фамилию этого человека, которую я узнал от Суркова, не посчитавшего нужным скрывать ее от меня. Он погиб через год или два после этого — случайной и злой в своей предельной нелепости смертью, — так что бог с ним. Но само письмо заслуживает краткого пересказа даже сейчас, через столько лет, поскольку оно характеризует какую-то частицу атмосферы того времени, когда не аноним, а человек, носивший известное имя, решил заняться антисемитского характера раскопками такой глубины, до которой додумывались, пожалуй, только фашисты.



В своем письме он хотел обратить внимание отдела агитации и пропаганды ЦК, что то потворство евреям и то засилье евреев, с которым связана деятельность руководимой мною «Литературной газеты», объясняются моим собственным еврейским происхождением. Как он выяснил, я был на самом деле не Симоновым, а Симановичем, родился в еврейской семье и являлся сыном шинкаря в имении графини Оболенской, впоследствии взявшей меня на воспитание и усыновившей. Эти сведения он, видимо, считал достаточно серьезными для того, чтобы, подписавшись собственной фамилией, направить их в ЦК. Сурков, как я уже упомянул, говорил об этом с яростью, а я, услышав это, в первую минуту расхохотался. Расхохотался потому, что моей первой реакцией была мысль о том, как я расскажу про это своей маме, которая не имела имения с шинкарем по фамилии Симанович, и вообще имения не имела, и не была графиней Оболенской, потому что графов Оболенских не было, были только князья Оболенские. Но, что правда, то правда, была урожденной княжной Оболенской, вышедшей перед первой мировой войной замуж за полковника Симонова и именно от него имевшей ею рожденного сына Кирилла, к ее большому, кстати, неудовольствию подписывавшего свои сочинения как Константин Симонов. И мама потом действительно ужасно смеялась над всем этим. Но Сурков первой моей реакции тогда не разделил.

— Напрасно смеешься, — сказал он мне. — Лучше подумай над тем, до чего надо докатиться, чтобы писать такие письма в ЦК, что это за обстановка, в которой человек решается на писание таких писем.

И он был, конечно, прав, несмотря на смехотворную форму, как знак времени это письмо имело и свою серьезную сторону. Наконец, Сурков тоже все-таки рассмеялся, когда я ему рассказал, почему я в первый момент расхохотался. Я поблагодарил его за информацию, а он только сердито и грустно махнул рукой.

— Хорош бы я был, если б я не стал рассказывать тебе этого. — По выражению его лица я понял, что кто-то, с кем он говорил, видимо, не рекомендовал ему рассказывать мне этого, и Сурков сделал это вопреки чьему-то совету.

В самом конце января, когда в «Литературной газете» печатался не то последний, не то предпоследний материал о происходившей среди писателей дискуссии «Об основных вопросах изучения творчества В. В. Маяковского», Суркова снова вызвали туда же, куда и в первый раз, в связи с тем, что что-то кому-то в этих отчетах не понравилось. И в связи с этими, обращенными ко мне как к редактору газеты да и практическому руководителю этой дискуссии недовольствами работавший тогда в отделе агитации и пропаганды Владимир Семенович Кружков, которого я хотя и знал довольно много лет, но не мог бы положа руку на сердце сказать о нем ничего ни плохого, ни хорошего, с некоторой оторопью, наверное, от неожиданности того, что он узнал и чем собирался поделиться с Сурковым, сказал Суркову, что у них имеются серьезные, хотя еще и не до конца проверенные сигналы о том, что в Москве существует в писательских кругах непосредственно связанная с «Джойнтом» группа лиц, возглавляет которую не кто иной, как Константин Симонов. На этот раз Кружков никаких писем Суркову не показывал, хотя надо думать, что серьезными сигналами, о которых говорил Кружков, были именно письма, и на этот раз скорее всего анонимные, но та оторопь, с которой рассказывал ему обо всем этом Кружков, запала Суркову в память. Не знаю, что уж он там сказал Кружкову, наверное, со своей обычной в таких случаях резкостью не полез за словом в карман и рубанул то, что думал, а мне в заключение разговора сказал горько и серьезно:

— Разумеется, предполагалось, что я тебе всего этого не скажу, да и не хотелось, по правде говоря, говорить все эти пакости, но тебе нужно это знать. Нужно знать, что какие-то сволочи копают под тебя, хотят во что бы то ни стало вырыть тебе могилу. И учти, что при всей нелепости все это говорилось с таким серьезным видом, что я ушам своим не поверил.

Так закончился наш второй разговор с Сурковым в эти месяцы, важный для меня. Был потом еще и третий, но это уже после смерти Сталина, и о нем отдельно.

Как ни странно, вернее, каким бы странным это ни казалось мне

сейчас, — но в памяти у меня не осталось, когда именно, где, при каких обстоятельствах, из газеты или по радио, или каким-то другим образом я узнал о правительственном сообщении о болезни Сталина. Все дальнейшее, происходившее в те дни, — и коротко записано почти тогда же, и сохранилось в памяти. А это и не сохранилось, и не записано. Рассказ об этих днях начну прямо со своей записи, сделанной шестнадцатого марта 1953 года:

«Несколько слов о скорбных днях марта этого года. Записывать это трудно, потому что до конца не вошло еще в сознание, что Сталина нет, что он умер. То есть чувство такое, что, конечно, так, это случилось, и это знаю я, и это знают все, а в то же время до сознания все еще не доходит, что Сталина уже нет. Мне кажется, что я ничего не забуду, не в состоянии буду забыть. Кажется, что все подробности, связанные с этими днями, останутся в моей памяти навсегда. И поэтому трудно заставить себя записывать, трудно писать о том, чего, как тебе кажется, ты все равно никогда не забудешь. Но память обманчивая вещь. Подробности могут уплыть или могут когда-нибудь впоследствии выстроиться в памяти не в том порядке, в каком они друг за другом следовали, и поэтому хотя бы некоторые из них все-таки надо, даже пересилив себя, записать сейчас.

Одним из первых чувств, владевших мной с самого начала, было какое-то очень упорное нежелание вникать в подробности бюллетеней, нежелание знать и понимать, что они означают на медицинском языке. Казалось бессмысленным рассуждать о том, что такое пульс, давление, температура и всякие другие подробности бюллетеней, что они значат для состояния здоровья человека, которому семьдесят три года. Не хотелось об этом думать самому и не хотелось разговаривать об этом с другими, потому что казалось, что нельзя говорить о Сталине просто как о старом человеке, который вдруг тяжело заболел. Казалось, что самое главное не все эти медицинские термины, не все эти подробности о болезни Сталина, самое главное — другое: придет он в сознание или не придет. Пугало больше всего то, что он без сознания, и, значит, его воля не участвует в борьбе с болезнью. Казалось, если только он придет в сознание, то у него такая воля, что он выживет.

Четвертого числа вечером я пришел в Кремль, в комнату, где помещался секретариат Сталина. Другие люди, вызванные туда, так же, как и я, по одному короткому делу, молча приходили, молча раздевались, молча пятнадцать — двадцать минут занимались тем делом, по которому были вызваны, и так же молча, не обменявшись ни одним словом, уходили».

Здесь я оторвусь от текста тогдашней записи. Не знаю, почему я тогда счел нужным, записывая, обойти молчанием дело, по которому нас вызвали. В Кремль, в секретариат Сталина в тот вечер, на протяжении нескольких часов, вызывались находившиеся в Москве, а может быть, и уже вызванные в Москву члены и кандидаты ЦК, а возможно, и еще какой-то круг лиц — этого я не знаю — для того, чтобы познакомиться с бюллетенями о состоянии здоровья Сталина. Мотивы, по которым это делалось, как мне сейчас думается, могли быть двоякими. Во-первых, могли хотеть познакомить определенный круг лиц с подлинниками бюллетеней, и, во-вторых, эти бюллетени-подлинники могли быть и более подробными, чем тот текст, который передавался для печати. Скорей всего так оно и было, бюллетени были или более подробные, или почасовые, потому что если — как я записал тогда — «для того, чтобы сделать то, для чего нас вызывали, требовалось пятнадцать — двадцать минут», значит, это было связано с чтением по крайней мере нескольких страниц.

Возвращаюсь к тексту записи от шестнадцатого марта пятьдесят третьего года:

«Меня не оставляло чувство, что все как будто остается таким же, каким и было: тот же путь вдоль кремлевской стены, изнутри ее, и тот же офицер, проверяющий документы у входа, и та же дверь, и та же лестница, по которой мне раньше приходилось подниматься шесть раз за последние годы. Но в молчании людей, в тишине лестницы, в тишине коридоров, тихих и прежде, но сейчас как-то вдруг особенно тихих, было ощущение того, что в этом доме несчастье.

Когда я поднялся по лестнице и прошел по коридору, сначала попал не в ту из комнат секретариата Сталина, в которую мне следовало пройти, а зашел в другую, в ту самую, где когда-то, в сорок седьмом году, вместе с Фадеевым и Горбатовым мы сидели и ждали десять минут, когда нас примет Сталин, — в тот первый раз, когда я его увидел.



В комнате все так же, как и прежде, стояли столы, один из них — посередине комнаты. Поднялся человек и сказал: «Нет, сейчас налево и в следующую дверь». Я вышел и, пройдя в следующую дверь в соседнюю комнату, вспомнил, что и здесь мы сидели и поджидали — два или три раза — перед обсуждением Сталинских премий. Тогда сидели и разговаривали. А сейчас в этой комнате было абсолютное молчание, хотя в ней находилось много людей. Молчание было полное, глубокое. За этим молчанием стояло чувство, что вот где-то здесь, через несколько комнат, еще коридор, еще комната, потом еще комната и где-то в какой-то комнате у себя на квартире лежит умирающий Сталин. И нас, молчаливо сидящих здесь, отделяет от него всего-навсего кусок коридора и несколько дверей. И Сталин лежит и никак не может прийти в сознание очень близко от нас, именно в этом самом доме, в котором мы сидим».

Здесь снова оторвусь от своей записи пятьдесят третьего года. Сейчас уже давно общеизвестно, что Сталин умер не у себя в квартире, в Кремле, как это было сказано в правительственном сообщении, а за городом, на своей так называемой ближней даче. Сетовать, тем более возмущаться этим уклонением от истины, содержавшимся в первом правительственном сообщении, мне как-то сейчас, спустя много лет, не приходит в голову. Очевидно, люди, выпускавшие тогда это сообщение, имели или считали, что имеют, некие государственные резоны для такого уклонения от истины. Думаю, что, мысленно поставив себя на место этих людей тогда, можно без особого труда представить себе и их резоны в обоих возможных случаях: и в том случае, если Сталин лишился сознания и оказался при смерти второго марта, а умер вечером пятого, в соответствии с сообщениями и медицинскими бюллетенями; и в том случае, если допустить, что он был мертв тогда же, сразу, второго, и после этого в течение трех дней медицинскими бюллетенями, в сущности, не оставлявшими никакой надежды на выздоровление, людей подготавливали к этому событию, которое, как бы ни относиться к самому Сталину, объективно означало конец длительного периода нашей истории, связанного с его именем.

И по правде говоря, меня и сейчас, спустя четверть века, не терзает любопытство, как это умирание происходило на самом деле. Я не сталкивался с людьми, которые бы с убедившей меня достоверностью рассказали мне о том, как было на самом деле, и не домогался узнать это от людей, которые должны были это знать, но не проявляли желания говорить со мной на эту тему. Могло быть и так, и эдак, но и в том, и в другом случае все это было второстепенным рядом с такими понятиями как конец одной эпохи и начало другой.

Снова возвращаюсь к записи пятьдесят третьего года:

«Пятое марта, вечер. В Свердловском зале должно начаться совместное заседание ЦК, Совета Министров и Верховного Совета, о котором было потом сообщено в газетах и по радио. Я пришел задолго до назначенного времени, минут за сорок, но в зале собралось уже больше половины участников, а спустя десять минут пришли все. Может быть, только два или три человека появились меньше чем за полчаса до начала. И вот несколько сот людей, среди которых почти все были знакомы друг с другом, знали друг друга по работе, знали в лицо, по многим встречам, — несколько сот людей сорок минут, а пришедшие раньше меня еще дольше, сидели совершенно молча, ожидая начала. Сидели рядом, касаясь друг друга плечами, видели друг друга, но никто никому не говорил ни одного слова. Никто ни у кого ничего не спрашивал. И мне казалось, что никто из присутствующих даже и не испытывает потребности заговорить. До самого начала в зале стояла такая тишина, что, не пробыв сорок минут сам в этой тишине, я бы никогда не поверил, что могут так молчать триста тесно сидящих рядом друг с другом людей. Никогда по гроб жизни не забуду этого молчания».

Так я записал тогда. И действительно, если не по гроб жизни, то по сей день, когда с тех пор минуло уже двадцать шесть лет, этого молчания я не забыл.

А теперь несколько слов в дополнение к записанному тогда.

Первое впечатление: из задних дверей Свердловского зала вошли и сели за стол президиума не двадцать пять человек, выбранных в Президиум при Сталине, а только те, кто вошел при Сталине в Бюро Президиума — Маленков, Берия, Каганович, Булганин, Хрущев, Ворошилов, Сабуров, Первухин. Кроме них, Молотов и Микоян, которых Сталин в это Бюро не включал. Таким образом, воля Сталина, с одной стороны, с самого начала была как бы соблюдена тем, что за столом президиума сидели Сабуров и Первухин, — с другой стороны, отвергнута, потому что за столом президиума девятым и десятым сидели Молотов и Микоян, при жизни Сталина не включенные им в состав Бюро Президиума. Так я формулирую это сейчас. А тогда чувство было, пожалуй, проще: вышло и село за стол прежнее Политбюро, к которому добавились Первухин и Сабуров.

Вступительную речь, если мне не изменяет память, сказал Маленков. Она — не текстуально, а по сути — сводилась к тому, что товарищ Сталин продолжает бороться со смертью, но состояние его настолько тяжелое, что даже если он возобладает над смертью, то не сможет работать очень длительное время. А на такое время невозможно оставлять страну без полноправного руководства. Нельзя пребывать в неопределенном положении, этого не позволяет и международная обстановка. Поэтому необходимо теперь же, не откладывая, сформировать правительство и произвести все необходимые назначения, связанные с этим.

После этого Маленков предоставил слово Берии. Берия, спустившись к трибуне, коротко предложил назначить Председателем Совета Министров Маленкова. Когда это предложение было проголосовано, он пошел обратно — стал подниматься к столу президиума, а Маленков стал спускаться к кафедре. Оказавшись лицом друг к другу, они с трудом разминулись в узком пространстве животами. Добавлю, что тогда я подумал об этом без усмешки, даже без намека на нее, просто, как это иногда бывает, засек глазами, а оказалось, что навсегда.

Спустившись к кафедре, Маленков стал вносить те предложения, которые на следующий день все прочли в газетах и услышали, кажется, еще раньше, по радио — уже после сообщения о смерти Сталина. Среди четырех первых заместителей Председателя Совета Министров Маленков назвал первым Берию и уже после него Молотова, Булганина и Кагановича. Дальнейшие предложения сводились к тому, чтобы сосредоточить власть и связанные с властью основные министерства в возможно меньшем количестве рук. «В целях большей оперативности в руководстве» состав членов Президиума ЦК и кандидатов в Президиум ЦК сокращался в два с половиной раза, членами Президиума оставались те, кто с самого начала заседания вошел и сел за стол президиума. В сущности, появилась тенденция сосредоточить власть в руках Президиума Совета Министров, в который вошло пять, то есть половина, членов Президиума ЦК. В Секретариате ЦК с указанием на то, что он должен сосредоточиться на этой работе, остался только один член Президиума — Хрущев. Еще один член Президиума ЦК — Ворошилов — стал Председателем Верховного Совета, а трое других членов Президиума ЦК — Микоян, Сабуров и Первухин — стали министрами, но не входящими в Президиум Совета Министров. Наверное, за таким распределением сил стояла мысль об изменении соотношения меры власти ЦК и Совета Министров. Возможно, эта инициатива исходила от Берии, во всяком случае, и впоследствии он активно действовал именно в этом направлении, стремясь и в республиках ставить главных, первых лиц на посты Председателей Советов Министров, а на посты секретарей ЦК — лиц второстепенных.

Эти мои размышления не тогдашние, а, разумеется, нынешние.

**7 апреля 1979 года**

После окончания, сговорившись с Шепиловым, редактировавшим тогда «Правду», мы, писатели, — твердо помню, что это были Фадеев, Корнейчук, я — не помню точно, были ли вместе с нами Сурков и Твардовский, — поехали в редакцию «Правды». Помимо всего, что, казалось бы, полностью забило голову в эти часы, тех событий и перемен; помимо того, что и сам характер заседания, и назначения, произведенные на нем, говорили о том, что Сталин вот-вот умрет, у меня было еще одно чувство, от которого я пробовал избавиться и не мог: у меня было ощущение, что появившиеся оттуда, из задней комнаты, в президиуме люди, старые члены Политбюро, вышли с каким-то затаенным, не выраженным внешне, но чувствовавшимся в них ощущением облегчения. Это как-то прорывалось в их лицах, — пожалуй, за исключением лица Молотова — неподвижного, словно окаменевшего. Что же до Маленкова и Берии, которые выступали с трибуны, то оба они говорили живо, энергично, по-деловому. Что-то в их голосах, в их поведении не соответствовало преамбулам, предшествовавшим тексту их выступлений, и таким же скорбным концовкам этих выступлений, связанным с болезнью Сталина. Было такое ощущение, что вот там, в президиуме, люди освободились от чего-то давившего на них, связывавшего их. Они были какие-то распеленатые, что ли. Может быть, я думал не теми словами, которыми я сейчас пишу об этом, даже наверное. Я думал осторожней и неувереннее. Но несомненно, что я об этом думал. В основе своей это не сегодняшние, а тогдашние чувства, запомнившиеся потом на всю жизнь.



Минут через двадцать мы были в «Правде» и сидели в кабинете у Шепилова. Разговор шел какой-то приглушенный, особенно говорить никому из нас не хотелось. Говорили о том, что надо подумать над тем, чтобы известные писатели выступили с рядом статей в «Правде» на различные темы, что это необходимо, что надо составить план таких статей, и так далее, и тому подобное. Но говорилось все это так, словно необходимо было об этом говорить, но говорится это немножко раньше, чем нужно, потому что, хотя определен новый состав Президиума ЦК и Секретариата, хотя сформирован Совет Министров с Маленковым во главе, хотя Ворошилов стал Председателем Верховного Совета — все это так, но для того, чтобы писать, нужна какая-то определенность в том, что должны написать писатели, и в том, что хотят от них. Определенности не было, потому что Сталин был еще жив или считалось, что он еще жив. Так за этим разговором прошло минут сорок, и не знаю, сколько бы тянулся он еще — вялый и неопределенный, — когда зазвонила вертушка. Шепилов взял трубку, сказал в нее несколько раз: «Да, да», — и, вернувшись к столу, за которым мы сидели, сказал: «Позвонили, что товарищ Сталин умер».

И несмотря на все предыдущее — на заседание, после которого мы приехали сюда, на решения, которые были приняты, все равно что-то в нас, во всяком случае во мне, содрогнулось в эту минуту. Что-то в жизни кончилось. Что-то другое, неизвестное еще, началось. Началось не тогда, когда в связи с тем-то и тем-то оказалось необходимым назначить Маленкова Председателем Совета Министров еще при жизни Сталина и он был им назначен, — не тогда, а вот сейчас, после этого звонка.

Не помню, кто что взял на себя, что собрался делать и написать, — я сказал, что напишу стихи, я не знал, сумею ли написать эти стихи, но знал, что ни на что другое в этот момент не способен.

Не задерживаясь в «Правде», я поехал домой. «Литературная газета» выходила только послезавтра, седьмого, и я, вернувшись домой, позвонил своему заместителю Борису Сергеевичу Рюрикову, что приеду часа через два, заперся у себя в комнате и стал писать стихи. Написал первые две строфы и вдруг неожиданно для себя, сидя за столом, разрыдался. Мог бы не признаваться в этом сейчас, потому что не люблю ничьих слез — ни чужих, ни собственных, — но, наверное, без этого трудно даже самому себе объяснить меру потрясения. Я плакал не от горя, не от жалости к умершему, это не были сентиментальные слезы, это были слезы потрясения. В жизни что-то так перевернулось, потрясение от этого переворота было таким огромным, что оно должно было проявиться как-то и физически, в данном случае судорогой рыданий, которые несколько минут колотили меня. Потом я дописал стихи, отвез их в «Правду» и поехал в «Литературную газету», чтобы рассказать Рюрикову о том, что было в Кремле. Завтра нам предстояло делать номер газеты, и ему надо было это знать — чем раньше, тем лучше.

Передо мной лежит сейчас пачка сложенных тогда, в пятьдесят третьем году, материалов и документов тех мартовских дней. Все засунуто в одну, много лет пролежавшую папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном карауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой «проход всюду»; стенограмма одного из двух писательских траурных соб-

раний, на котором я выступал вместе со многими другими, и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании, где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка газет за те дни — «Правды», «Известий», «Литературки» и других.

Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу — Тихонов, Сурков, Эренбург. Все сказанное тогда очень похоже. Может быть, некоторое различие в лексиконе, да и то не слишком заметное. В стихах тоже поражающе похожие ноты. Лучше всех — это неудивительно, учитывая меру таланта, — написал все-таки Твардовский: сдержаннее, точнее. Почти все до удивления сходились на одном:

В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду...

Это Твардовский.

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин!

А это Симонов.

Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
плачет Родина над Тобой.

Это Берггольц.

И пусть в печали нас нельзя утешить,
Но он, Учитель, нас учил всегда:
Не падать духом, голову не вешать,
Какая б ни нагрянула беда.

А это Исаковский.

Похоже, очень похоже написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский — сын раскулаченного, Симонов — дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский. Можно бы к этому добавить и другие строки из других стихов людей с такими же разнообразными биографиями, связанными с разными поворотами судеб личности в сталинскую эпоху. Тем не менее схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать — их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы — я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос — для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.

Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали. «Так это было на земле», — скажет немногим позже Твардовский, одним из самых первых и много глубже других начавший думать об этом.

Сейчас, еще раз перелистав газеты тех дней, хочу вернуться к своим размышлениям о том, когда же все-таки умер Сталин — сразу и нас готовили к этому, или он умер до того, как собралось совместное заседание, произведшее новые назначения, или он умер действительно тогда, когда при нас раздался звонок в «Правду» Шепилову, около десяти часов вечера пятого марта. Не хочу строить догадок на материале, недоступном другим людям, но вот читаю постановление совместного заседания Центрального Комитета, Совета Министров и Президиума Верховного Совета, появившееся на следующий день после сообщения о смерти Сталина, вижу, что в преамбуле о смерти Сталина не говорится, о смерти его говорилось накануне в обращении ко всем членам партии и всем трудящимся Советского Союза, а преамбула постановления составлена так, что неизвестно, в какой день произошло это совместное заседание — предшествовало оно смерти Сталина или состоялось после его смерти. Процитирую эту преамбулу, она очень интересна с этой точки зрения:



«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правительства — обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники, с тем, чтобы таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной нашей партией и правительством политики — как во внутренних делах нашей страны, так и в международных делах. Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по руководству деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета признают необходимым осуществить ряд мероприятий по организации партийного и государственного руководства».

На обратной стороне этой страницы «Правды», где это напечатано, опубликовано постановление об установлении саркофага Сталина рядом с саркофагом Ленина, постановление о сооружении пантеона, постановление о трауре — шестого, седьмого, восьмого и девятого марта. Там же извещение комиссии по организации похорон о доступе в Колонный зал и времени похорон, первый репортаж из Колонного зала «У гроба И. В. Сталина». Но в преамбуле постановления о мероприятиях «по организации партийного и государственного руководства» ни упоминания имени Сталина, ни упоминания о том, жив он еще или умер, нет.

Логика заставляет предполагать, что все было так, как и было нам преподано, то есть совместное заседание было собрано, когда Сталин находился в абсолютно безнадежном состоянии, его смерти ждали с минуты на минуту. Постановление было выработано и готово до последней запятой и точки, публикацию его, видимо, не собирались откладывать в том случае, если бы Сталин еще один, два или несколько дней находился при смерти. И может быть, опубликовали бы его даже не седьмого, а шестого, сразу после пленума рядом с безнадежным бюллетенем. Но Сталин умер почти сразу же после окончания заседания, и поэтому было принято решение сначала опубликовать обращение к партии и народу о смерти Сталина, а на следующий день — постановление о персональном составе органов власти и о частичной их реорганизации. Логика допускает такую возможность, хотя и не исключает до конца разных иных предположений.

А теперь вернусь к своим записям пятьдесят третьего года, вернее, к той последней записи, где идет речь о Колонном зале и похоронах Сталина:

«Хотя мне сообщили по телефону, что надо прийти в Колонный зал около трех часов дня, я с большим трудом добрался туда только около пяти. Подойти к Колонному залу пешком было уже почти невозможно...»

Добавлю к тогдашней записи, что жил в ту пору на углу Пушкинской площади, но пройти вниз ни по улице Горького, ни по Дмитровке, ни по Петровке так и не удалось. На Трубной площади мы столкнулись в толпе с тогдашним министром лесной промышленности Георгием Михайловичем Орловым, с которым знали друг друга, потому что воевали на страницах «Литературной газеты» по проблемам бумаги. Дальше пошли вместе вниз по Неглинной и, несмотря на наши цековские удостоверения, едва продрались через ту молчаливую сумятицу, которая царила на улицах Москвы: пролезали под грузовиками, перегораживавшими Неглинную, потом перелезали через грузовики, снова ее перегораживавшие, оказывались так стиснутыми со всех сторон, что не могли вынуть из карманов документы, подавались с толпой людей то вперед, то назад и выбрались из давки и толкучки только под самый конец где-то у задов Малого театра. Не знаю, как в другие часы, а в те два часа, что мы пробирались, толпа была не обозленная толкучкой, не злая, но горько-молчаливая, хотя при

этом такая мощная в едином упорстве своего движения туда, поближе к Колонному залу, что милиция растерянно себя вела перед молчаливым и единым упорством этого движения.

Возвращаюсь к записи:

«В комнате позади президиума людям накалывали на рукав повязки. Одни уходили в почетный караул, другие возвращались из него. Так прошло, наверное, около часа. Наконец, очередь дошла и до нас. Я стоял рядом с незнакомыми мне людьми, с какими-то двумя женщинами. Мы с ними вышли и стали справа у изголовья. Я повернул голову и, только уже стоя там, увидел лицо лежавшего в гробу Сталина. Лицо его было очень спокойное, нисколько не похудевшее и не изменившееся. Волосы в последнее время начали у него немножко редеть (это бывало видно, когда он ходил во время заседаний и, проходя близко от тебя, поворачивался боком). Но сейчас это было незаметно, волосы спокойно лежали, откинутые назад, и уходили в подушку. Потом, когда мы, сменяясь, стали обходить гроб кругом, я увидел лицо Сталина справа, с другой стороны, и снова подумал, что лицо это совсем не переменилось, не похудело и что оно очень спокойное, совсем не стариковское, еще молодое. Уже позже, вернувшись из Колонного зала, я подумал, что людям, не видевшим в последние годы Сталина или видевшим его только издали и знавшим его по портретам главным образом военных и предвоенных лет, теперь там, в Колонном зале, когда они вдруг увидели его близко, могло показаться, что он постарел, что болезнь изменила его лицо. Но на самом деле это было не так, болезнь ничего не переменила в его лице. Руки спокойно лежали поверх серого френча.

**8 апреля 1979 года**

Я еще несколько раз за этот день стоял в почетном карауле и, наверное, часа два провел у двери, в которую входили люди. Очередь людей, пришедших прощаться со Сталиным. Я стоял справа в самых дверях, прижавшись к притолоке, и все это время видел лицо Сталина. Люди входили и становились плечом к плечу со мной, в тот самый момент, когда они, войдя, сразу видели зал, гроб и лежавшего в нем Сталина. Не знаю, как это записать, чтобы быть совершенно точным,— не все плакали, не все вздрагивали, но все выражали свои чувства в эту секунду как-то заметно, как-то очевидно. А в то же время я испытывал какой-то внутренний тон душевного потрясения каждой пары проходивших мимо меня людей в ту секунду, когда они видели Сталина в гробу. Не знаю, может быть, я просто не могу выразить прочувствованного там мною, но что-то очень похожее на то чувство, про которое я сказал, было, многократно повторялось во мне самом.

Девятого марта, в день похорон, мы пришли в Колонный зал в девять часов. Сначала стояли в почетном карауле, потом прошли в зал. (Скажу в скобках — в записи этого нет, — что сказанное там «мы», очевидно, означает писатели; кажется, в этот, последний день мы пришли в Колонный зал вместе с жившими рядом со мною Сурковым и Фадеевым. — **К. С.**) Сменялись последние почетные караулы — то играла музыка, то пел женский хор. Когда я стоял один из самых последних караулов, вдруг по помосту, на котором стоял гроб, на две-три ступеньки вверх поднялась дочь Сталина Светлана и долго смотрела на отца, на его лицо. Повернулась, отошла и снова села в кресло, стоявшее справа от головы Сталина. Продолжали сменяться последние караулы. Из задней двери вышли руководители партии и правительства и подошли к гробу. В эту же минуту маршалы начали брать подушки с орденами и медалями Сталина. И только тут я заметил, хотя несколько раз за эти дни стоял в карауле, лежавшие перед гробом в ногах эти подушки. Первую подушку взял Буденный, за ним стали брать другие. Гроб накрыли крышкой с полукруглым стеклянным или плексигласовым фонарем над лицом Сталина, подняли и понесли. Процессия двигалась медленно, мы шли в последних рядах ее, позади нас, еще через один или два ряда шли дипломаты. Оглянувшись, я увидел, что некоторые из них идут в странно и даже нелепо выглядевших в этой процессии цилиндрах.

Впереди у лафета были видны покачивавшиеся на головах лошадей султаны и четыре тонких солдатских штыка по четырем сторонам гроба.



Напротив гостиницы «Москва», когда мы шли мимо нее, стало видно, как, поднимаясь в гору Красной площади, уже движется впереди процессия с венками.

Траурный митинг начался, когда гроб поставили около Мавзолея. Когда митинг кончился и гроб внесли на руках в Мавзолей, все по очереди стали спускаться туда.

Еще стоя в Колонном зале, я несколько раз думал, почему именно так положены руки у Сталина, и вдруг, когда вошли в Мавзолей, понял, что руки у него положены точно так же, как поверх френча были положены руки у Ленина.

Сначала внутри Мавзолея, поднимаясь по его ступеням, мы проходили рядом с саркофагом, в котором лежал Ленин, а потом, повернувшись, проходили рядом с гробом Сталина, поставленным на черный узкий мраморный камень, рядом с саркофагом Ленина, и, проходя тут, впервые совсем уже близко, меньше, чем на расстоянии вытянутой руки, я еще раз увидел лицо Сталина. Оно было до такой степени живое, если это можно сказать о мертвом лице, что с какой-то особенной, страшной силой потрясения именно в эту секунду я подумал, что он умер. А потом пошли ступеньки лестницы, все это осталось позади, и мы вышли из Мавзолея».

На этом кончается сделанная шестнадцатого марта пятьдесят третьего года запись о Сталине, его смерти и похоронах. После этого я ничего больше не записывал, все остальное, запомнившееся с тех дней, оставалось только в памяти. Наверное, сначала оставалось больше, а потом все меньше и меньше. Остальное выветривалось. Из невыветрившегося, оставшегося сильнее всего другого запали в память два впечатления.

Одно было связано с тем, что я увидел в Мавзолее. Может быть, я не записал это тогда из-за чувства какой-то душевной неловкости, чувства, которого сейчас у меня нет. Возникшее там при виде такого близкого к тебе, буквально в полуметре от твоих глаз, такого до ужаса живого лица Сталина, оно было связано еще и с контрастом между его лицом и лицом Ленина в саркофаге. Я много раз до этого бывал в Мавзолее и привык к этому давнему восковому, десятилетиями отделенному от нас лицу Ленина. А лицо Сталина здесь, рядом, было не только непривычным, но и до ужаса живым, именно от контраста с давно ушедшим куда-то в века лицом Ленина. В том саркофаге лежал как бы образ Ленина, а здесь — закрытый стеклянною крышкою живой человек, живой и грозный, потому что последнее ощущение, испытанное мною тогда, на пленуме, где он выступал, было именно ощущение грозности, опасности происходящего.

И второе, что я вполне сознательно не записал тогда, в пятьдесят третьем году, но что запомнил навсегда как представшую моим глазам несомненную очевидность. На траурном митинге выступали три разных человека. Всех троих я слушал с одинаковым вниманием. Первым был Маленков, вторым — Берия, третьим — Молотов. Различие в тексте речей мне и тогда не бросалось в глаза, да и сейчас, когда я перечел их в старой газете, они не слишком отличаются друг от друга, разве только тем, что в речи Молотова, в первом ее абзаце, о Сталине сказано несколько более человечно, чуть-чуть менее казенно, чем в других речах. Однако та разница, которую сейчас по тексту этих речей не уловишь, но которая была тогда для меня совершенно очевидна, состояла в том, что Маленков, а вслед за ним Берия произносили над гробом Сталина чисто политические речи, которые было необходимо произнести по данному поводу. Но в том, как произносились эти речи, как они говорили, отсутствовал даже намек на собственное отношение этих людей к мертвому, отсутствовала хотя бы тень личной скорби, сожаления или волнения, или чувства утраты, — в этом смысле обе речи были абсолютно одинаково холодными. Речь Маленкова, произнесенная его довольно округлым голосом, чуть меньше обнажала отсутствие всякого чувства скорби. Речь Берии с его акцентом, с его резкими, иногда каркающими интонациями в голосе, обнажала отсутствие этой скорби более явно. А в общем, душевное состояние обоих ораторов было состоянием людей, пришедших к власти и довольных этим фактом.

Речь Молотова, как я уже сказал, мало разнилась по тексту от других, но ее говорил человек, прощавшийся с другим человеком, которого он, несмотря ни на что, любил, и эта любовь вместе с горечью потери прорывалась даже каким-то содроганием в голосе этого твердокаменнейшего человека. Я вспомнил, и не мог не вспомнить, пленум, на котором Сталин с такой жестокостью говорил о Молотове, еще и по этому контрасту не мог не оценить глубины чего-то, продолжавшего существовать для Молотова, не оборванного у него до конца со смертью Сталина, связывавшего этих двоих людей — мертвого и живого. Говорю это нынешними словами, потому что тогда не записывал этого. Какими словами думал тогда об этом — а думают ведь именно словами — восстановить не могу, но думал это и потом вспоминал это не один раз в жизни, чаще всего в связи с дальнейшей судьбой и дальнейшим поведением Молотова.

Очевидно, — это я думаю уже сейчас, — есть очень большая разница в оттенках между словами — ученик, ближайший ученик, даже лучший ученик, соратник, верный соратник, ближайший соратник — и словом — единомышленник. Мне думается, что среди людей, долгие годы работавших вместе со Сталиным, под его руководством, в разное время награждаемых эпитетами «лучший ученик», «ближайший соратник» — понятие «единомышленник» в наибольшей степени может быть отнесено именно к Молотову.

Листая сейчас номера мартовских, апрельских газет пятьдесят третьего года, сверяя все это с личными своими воспоминаниями, я не мог не обратить внимание на календарную последовательность некоторых газетных сообщений того времени и на некоторые снимки, тогда не обратившие на себя внимания, а сейчас бросающиеся в глаза. «Правда» за десятое марта пятьдесят третьего года. Первая полоса ее. Трибуна Мавзолея, под обрезом которой впервые не одно, а два слова: «Ленин. Сталин». Уже в мраморе, одно под другим. У микрофона Маленков в ушанке, а справа от него между Хрущевым в папахе пирожком и Чжоу Эньлаем в мохнатой китайской меховой шапке Берия, грузно распирающий широкими плечами стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе, надвинутой по самое пенсне, шляпа широкополая, вид мрачно-целеустремленный, не похож ни на кого другого из стоящих на Мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из не существовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. И на второй полосе он же снова между Чжоу Эньлаем и Хрущевым, в том же пальто с шарфом, в той же широкополой шляпе, надвинутой на самое пенсне, идущий за гробом Сталина. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путем. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленными им для этого, лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть в свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства. При общей решимости коллективно заменить Сталина, вырабатывать решения компромиссные, для всех приемлемые, по возможности избегая всяких внутренних столкновений, — такой человек, как Берия, наверное, ухватился за выгодное ему в этой ситуации звено. Чем инициативнее он вел себя, чем больше выдвигал предложений, чем больше спекулировал на общем нежелании возникновения внутренних конфликтов, тем успешнее он добивался того, что укрепляло его позиции и расширяло его возможности захвата власти, к которому он готовился. За исключением одного факта, все остальное попробую проследить по газетам того времени, доступным каждому.

Пользуясь тем, что делавший всего несколько месяцев назад на XIX съезде партии отчетный доклад от имени ЦК Маленков теперь, когда Сталин умирал или уже умер, мог рассматриваться как преемник Сталина на первом посту в стране, Берия ухватывается за Маленкова, очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленуме публично выдвигает его на пост Председателя Совета Министров.



**9 апреля 1979 года**

В то время это могло казаться само собой разумеющимся, хотя само собой разумеющимся не было. Была и другая альтернатива: среди старших членов Политбюро был Молотов, за спиной у которого стояло десять лет работы в качестве Председателя Совета Министров и который в случае разделения постов, если б Маленков пошел в ЦК на — названный так или по-иному — пост Генерального секретаря, заместив на этом посту Сталина, Молотов мог бы заместить Сталина на посту Председателя Совета Министров. Молотов был популярен, в широких массах такое назначение, очевидно, встретило бы положительное отношение. Но Берии помог сам Сталин, в последнем выступлении по каким-то своим причинам — может быть, и не совсем по своим, а по ставшим его чужим инсинуациям, — обрушившийся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один из двух постов, занимавшихся Сталиным, людьми, слышавшими выступление Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле. Почему же Берия был заинтересован, чтобы Маленков стал наследником Сталина именно на посту Председателя Совета Министров, а пост Сталина в Секретариате ЦК занял бы человек, с точки зрения Берии, второстепенного масштаба — Хрущев, в личности и характере которого Берия так и не разобрался до самого дня своего падения? А очень просто. Идея Берии сводилась к тому, чтобы главную роль в руководстве страной играл Председатель Совета Министров и его заместители, они же почти целиком составляли и предложенный в том же проекте им и Маленковым состав Президиума. Таким образом, в руках членов Президиума, составлявших одновременно руководство Совета Министров, сосредоточивалась вся власть в стране. Берия, первым назвавший Маленкова будущим Председателем Совета Министров, был сейчас же вслед за этим назван Маленковым как первый из четырех первых заместителей. Порядок, в котором в таких случаях назывались люди, традиционно имел значение и порядка преемственности, то есть в случае отсутствия или болезни Маленкова этот порядок предполагал, что исполнять обязанности Председателя Совета Министров будет первый из названных его заместителей — Берия.

Начав с этого, пойдем дальше. Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать министерства государственной безопасности и внутренних дел. Последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталиным старый партийный работник Игнатьев.

В принятом на совместном заседании решении укрупнялся целый ряд министерств, одни сливались с другими, в том числе ликвидировалось и сливалось с Министерством внутренних дел Министерство государственной безопасности, и Берия как первый из первых заместителей Маленкова одновременно становился главой этого нового Министерства внутренних дел, вобравшего в себя и Министерство государственной безопасности. А недавний министр государственной безопасности Игнатьев стал секретарем ЦК, как мы потом увидим, ненадолго.

Итак, Берия создал заранее позицию, наиболее удобную для захвата власти и последующих действий, масштабы и характер которых, учитывая личность Берии, очевидно, носили бы достаточно мрачный и глобальный характер.

После того, как власть была сосредоточена в руководстве Совета Министров, а Секретариату ЦК отводились второстепенные функции, Берия старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках, из ЦК в Советы Министров, и в нескольких случаях, в частности в Баку, добивается этого. Засим, в качестве министра внутренних дел, он выдвигает идею амнистии. В свое время, в конце тридцать восьмого года, Сталин назначил его вместо Ежова, и начало деятельности Берии в Москве было связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел и возвращением из лагерей и тюрем десятков, если не сотен тысяч людей, — именно такую роль определил ему тогда Сталин, и он ее по всем правилам игры сыграл в предвоенное время. Берия помнил об этом и рассчитывал, что об этом помнят и другие, —

во всяком случае, намеревался оживить это в памяти людей. Он надеялся, что ему, министру внутренних дел, его усилиям будет приписан указ Президиума Верховного Совета об амнистии, по которому не только освобождались из заключения осужденные на срок до пяти лет включительно, но и прекращались те дела, которые рассматривались и по которым была предусмотрена мера наказания не свыше пяти лет; также освобождались осужденные за хозяйственные, должностные и за ряд категорий воинских преступлений. Это мероприятие, само по себе гуманное, проводилось необыкновенно поспешно,— возникает впечатление, что впоследствии, при определенных обстоятельствах и при определенной пропагандистской работе в этом направлении, часть освобожденных или ненаказанных могли образовать питательную среду для поддержки его, Берии.

Через шесть дней после этого указа, четвертого апреля, в газетах появляется сообщение Министерства внутренних дел СССР, возглавляемого Берией, о том, что Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку по делу так называемых «врачей-убийц»: «В результате проверки установлено, что привлеченные к этому делу врачи...— дальше идет длинный список — были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Итак, бывшее Министерство государственной безопасности оказалось повинным во всех этих грехах, а нынешнее Министерство внутренних дел разоблачило темные методы бывшего министерства. Еще через два дня в передовой «Правды» разъясняется, что произошло это прежде всего потому, что бывший министр государственной безопасности С. Д. Игнатьев проявил политическую слепоту и ротозейство и оказался на поводу у преступных авантюристов. Берия же как глава нового Министерства внутренних дел разоблачил все эти беззакония. В тот же день опубликовано сообщение, что Игнатьев освобожден от обязанностей секретаря ЦК.

Так вся эта серия мероприятий проходит через газеты, лишь потом обнаруживая внутренний смысл как подготовительные шаги по дороге к захвату власти, которые поспешно, один за другим, делал Берия.

Один из этих шагов в газеты не попал, но я принадлежу к числу людей, знающих о нем. Не могу точно вспомнить, в какие дни это было, но, наверное, при старании можно числа восстановить, потому что именно в это время Фадеев и Корнейчук, бывшие членами ЦК, оба ездили в заграничные поездки по делам Совета мира. Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с «врачами-убийцами», с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему. Не убежден, но, кажется, первоначально записанных на аппаратуру, а потом уже перенесенных на бумагу.

Я в три или четыре приема читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение это было прекращено, разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам ЦК эти документы для прочтения принадлежала, несомненно, Берии, именно он располагал этими документами, и впоследствии выяснилось, что так все и было. Он хотел приобрести дополнительную популярность, показав себя человеком беспристрастным, человеком, не случайно отодвинутым несколько в сторону в последние месяцы жизни Сталина, человеком, которому Сталин не доверял или перестал доверять, человеком, который был никак не склонен продолжать те жестокости, возмутительные беззакония, которые, судя по предъявленным нам для чтения документам, были связаны непосредственно со



Сталиным, с его инициативой, с его требованиями. Выставляя документы на обозрение, Берия как бы утверждал, что он и далек, и категорически против всего этого, что он не собирается покрывать грехов Сталина, наоборот, хочет представить его в истинном виде.

Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненном психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны.

Вот он вам ваш Сталин, как бы говорил Берия, не знаю, как вы, а я от него отрекаюсь. Не знаю, как вы, а я намерен сказать о нем всю правду. Разумеется, при этом он представлял в документах только ту правду, которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное.

Около недели эти документы были в ходу. После этого с ними никого уже не знакомили. Когда вернулись Корнейчук и Фадеев и я им рассказал об этих документах, у них глаза полезли на лоб, но прочесть их сами они уже не могли.

Надо сказать, что, хотя цель Берии была достаточно подлой и она вскоре стала совершенно ясна мне, документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми. Поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущева на XX съезде, я был, наверное, больше готов, чем многие другие люди.

Через четыре месяца после смерти Сталина, третьего июля пятьдесят третьего года, когда я сидел в редакции «Литературной газеты» над очередным номером, мне позвонил бывший ответственный секретарь, а потом редактор «Красной звезды» Василий Петрович Московский, работавший тогда, в 1953 году, заместителем начальника управления агитации и пропаганды ЦК, и спросил, как у меня идут дела с газетой. Звонок был довольно поздний, в одиннадцатом часу вечера. Я сказал, что одна полоса пошла на барабан, а остальные еще читаются и мною, и «свежими головами».

— Останови,— сказал мне Василий Петрович.— Пока не печатайте ни одной полосы.

— Пока что?— спросил я.

— Надо поговорить с тобой.

— Хорошо, остановлю,— сказал я.— Сейчас приеду к тебе.

— Не надо ко мне приезжать, я сам к тебе сейчас приеду. А печать останови.

Я остановил печатание полос, сказав, что, возможно, поступит официальный, обычно необязательный, но в данном случае, может быть, и обязательный для нас материал, надо будет еще разобраться, будем мы его печатать или нет. Поэтому пусть «свежие головы» дочитывают остальные полосы, а потом уже будем печатать все подряд. В более подробные объяснения я не вдавался.

Через каких-нибудь пятнадцать минут Московский уже вошел ко мне в кабинет и попросил сделать так, чтобы, пока он у меня будет, никто не заходил. Я предупредил удивленную секретаршу свою Татьяну Александровну, чтоб она никого без исключений не пускала.

— Никого?— переспросила она, потому что это не было принято у нас в газете.

— Никого.

Я зашел в кабинет, закрыл дверь, сел в кресло напротив Московского и стал ждать, что же чрезвычайное он мне имеет сообщить. Несомненно, было что-то чрезвычайное. Самым простым, еще до появления Московского пришедшим мне в голову объяснением была мысль о том, что вдруг, как уже один раз до этого было, меня решили снять с газеты и в выходящем номере уже не должно стоять моей подписи. Но зачем держать все полосы? Можно было задержать только последнюю. Нет, очевидно, что-то действительно очень важное, куда более важное, чем мое освобождение от редакторства, от которого я не заплакал бы.

— Слушай меня внимательно,— сказал Московский и перешел на официальный тон.— Мне поручено ЦК сообщить тебе как редактору «Литературной газеты» для твоего личного, только личного сведения, что то-

варищ Берия сегодня выведен из состава Президиума ЦК, выведен из состава ЦК, исключен из партии, освобожден от должности заместителя председателя Совета Министров и министра внутренних дел и за свою преступную деятельность арестован,— официальным голосом, но одним дыхом выпалил мне все это Московский, даже не заметив, что по въевшейся привычке в начале этого сообщения забыл убрать перед фамилией Берия механически произнесенное слово «товарищ».

— Ясно,— сказал я.— А что случилось-то? Что произошло?

— Все, что случилось, узнаешь завтра в десять утра на пленуме ЦК, а пока с учетом того, что я тебе сообщил, лично перечитай все полосы, чтобы там ничего не было о Берии.

— Там ничего нет о Берии, откуда он там,— сказал я, вспоминая все четыре полосы сегодняшней газеты. —Специальных материалов у нас не идет никаких, а так откуда же он?

— Не знаю, откуда,— сказал Московский.— Я тебя официально предупредил, больше у меня времени нет, надо ехать дальше, а ты перечитай все полосы лично. И никому ничего не сообщай. Ясно?

— Ясно.

Так никому ничего не сообщив, я как дурак стоял еще два часа за своей конторкой, перечитывая все четыре полосы, на которых фамилия Берии могла оказаться разве что в какой-нибудь заметке о сельском хозяйстве, где фигурировал бы колхоз или совхоз его имени. Но и такого тоже не обнаружилось, и я к середине ночи подписал все полосы.

Пробую сейчас вспомнить, какое тогда, в тот вечер и ночь, на меня произвело впечатление это событие, полный переворот в судьбе Берии. Главным было чувство облегчения, что уже не произойдет чего-то, что могло бы произойти, оставайся все по-прежнему. То, что Берия был близок к Сталину, то, что так или иначе, во все времена пребывания в Москве, занимаясь отнюдь не только Министерством внутренних дел или Министерством государственной безопасности, или промышленными, строительными министерствами, входя в Государственный комитет обороны во время войны, он всегда при этом имел некую дополнительную власть как человек или руководящий, или наблюдающий за органами разведки и контрразведки,— все это было известно. И очевидно, часть авторитета, созданного им себе при своевременном срочном выполнении тех или иных государственных заданий в области промышленности, была замешена на том страхе и трепете, которые людям вселяло такое его совместительство,— это принадлежало к числу обстоятельств, о которых нетрудно было догадываться, и мы догадывались о них.

При том положении, которое Берия занимал при Сталине, то, что он окажется среди первых лиц государства после смерти Сталина, казалось само собой разумеющимся. Но то, что он сразу же сделался вторым лицом и очень активным, то, что никто другой, а именно он предлагал кандидатуру Маленкова,— от этого возникало ощущение некой опасности. Это ощущение испытывали многие. Время, особенно в первые месяцы после смерти Сталина, продолжало оставаться жестким, и первое осязаемое изменение в нем появилось только после разоблачения сфальсифицированного дела «врачей-убийц» и освобождения этих людей. Время не предрасполагало к слишком откровенным разговорам на такие темы, но помню, что с оговорками, с недоговоренностями у разных людей все-таки проявлялась тревога, связанная с тем положением, которое после смерти Сталина занял Берия. Были среди разнообразно выраженных тревог этих и такие оттенки: а не попробует ли Берия занять по наследству место Сталина в полном смысле этого слова?

Что до меня, то, проводя между сорок восьмым и пятьдесят третьим годами все свои так называемые творческие двух-трехмесячные отпуска за работой сначала в Сухуми, а потом под Сухуми, в поселке Гульрипши и познакомившись там и со многими абхазцами, и со многими грузинами, я знал о деятельности Берии в бытность его на Кавказе, о том, каким влиянием он располагал там, на Кавказе, прежде всего в Грузии, и после того, как уехал в Москву,— знал обо всем этом намного больше других, не живших там людей. То тут, то там приходилось сталкиваться с воспоминаниями об исчезнувших семьях, о людях, погибших, выбитых



из жизни в Грузии, среди партийных работников и среди интеллигенции — это было до того, как Берию перевели в Москву на роль человека, исправляющего ошибки Ежова.

Мои собеседники отнюдь не были болтливы, да и время не располагало к такой болтливости, но все-таки то одно, то другое у них прорывалось. И я постепенно составил себе довольно полное представление о том, что, прежде чем облагодетельствовать оставшихся в живых и выпускать их после Ежова из лагерей и тюрем, Берия выкосил Грузию почище, чем Ежов Россию, причем в каких-то подробностях рассказов о событиях тридцать шестого, тридцать седьмого и более ранних годов мелькало нечто страшное, связанное с местью и со сведéнием им личных счетов. Двое или трое из моих друзей абхазцев, очевидно, вполне доверяя мне, рассказывали мне ужасные вещи, связанные с произволом Берии в Абхазии, с гибелью там многих людей. Чему-то из этого верилось, чему-то не верилось, настолько диким это казалось тогда, в те годы, задолго до разбирательства дела Берии на пленуме ЦК, до процесса над ним и до XX съезда. Иногда не верилось или не до конца верилось в то, во что потом, несколько лет спустя, было бы странным не поверить с первых же слов. С этим уроженцем мингрельского села Мерхеули, расположенного всего в десятке километров от поселка Гульрипши, где я жил, было связано столько слухов, намеков в разговорах, вдруг прорывавшихся давних и не столь давних подробностей, что ощущение, что он человек не только страшный в прошлом, но и опасный в будущем, сложилось у меня довольно стойкое. И новость, которую принес мне Василий Петрович Московский, была сразу воспринята мною как некое, еще не до конца обдуманное, инстинктивное облегчение, как нечто избавлявшее нас от висевшей в воздухе опасности... Воспоминания о прямых разговорах, о намеках, полунамеках —все это прокручивалось в памяти, когда я заново читал ночью полосы газеты. Но это было только дополнением к первому чувству, как вскоре выяснилось, достаточно широко распространенному среди необозримой массы людей.

А утром я пошел на пленум ЦК, который продолжался, по-моему, пять или шесть дней и на котором о Берии было сказано все, что только можно было сказать о нем, по возможности при этом выгораживая Сталина, далеко не всегда убежденно и далеко не всегда удачно.

О том, как поймали Берию буквально накануне подготовленного им захвата власти, на пленуме рассказывал Хрущев. Слово «поймали» наиболее точно соответствует характеру рассказа Хрущева, его темпераменту и тому страстному удовольствию, с которым он рассказывал обо всем этом.

Из его рассказа—что никто на пленуме не отвергал и не оспаривал, никому это просто не приходило в голову,—самым естественным образом следовало, что именно он, Хрущев, сыграл главную роль в поимке и обезоруживании этого крупного зверя. Для меня было совершенно очевидным, когда я слушал его, что Хрущев был инициатором этой поимки с поличным, потому что он оказался проницательнее, талантливей, энергичней и решительней, чем все остальные. А с другой стороны, этому способствовало то, что Берия недооценил Хрущева, его качеств, его глубокой природной, чисто мужицкой, цепкой хитрости, его здравого смысла, да и силы его характера, и, наоборот, счел его тем круглорожим сиволапым дурачком, которого ему, Берии, мастеру интриги, проще простого удастся обвести вокруг пальца. Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, за какого дурачка считал его Берия.

Не буду больше писать об этом пленуме, на котором, кроме речи Хрущева, на меня, пожалуй, наиболее сильное впечатление произвели особенно умные, жесткие, последовательные и аргументированные речи Завенягина и Косыгина. Это увело бы меня от главной темы моих записей.

Падение Берии, если угодно, было похоже на последний, самый последний, после долгой паузы разорвавшийся снаряд. А говоря не фигурально, все, что произошло, все, что хотел и пробовал сделать Берия, и все, что, поймав его за руку, ему предъявили разом за много лет,— все это было пусть не последняя, но самая явная, самая уродливая, са-

мая дурно пахнущая отрыжка всей той эпохи, которая связана в нашем сознании с именем Сталина.

Если попытаться собрать, спрессовать в нечто единое все самое отвратительное для человеческого сознания, самое жестокое, трагическое, свирепое и грязное, что было в той эпохе, отделив, вырвав его из всего остального, из всего другого, которое тоже было, то именно Берия, его дела, сама возможность его долголетнего существования при Сталине были тем комком блевотины, политической и нравственной, который оказался исторгнутым и до конца очевидным уже после того, как сама эпоха была обрублена смертью Сталина.

Написав все это, хочу попробовать разобраться в своем отношении к Сталину в период между его смертью и XX съездом, в эти три года.

Сложность моего душевного состояния в те годы заключалась в том, что в общем-то я вырос и воспитался при Сталине. При нем кончил школу, при нем пошел в ФЗУ, при нем был рабочим, при нем стал студентом Литературного института, при нем начал писать, при нем стал профессиональным писателем, при нем перед войной вступил в кандидаты партии, а потом в члены, при нем был военным корреспондентом, при нем получил шесть Сталинских премий, одну из которых считал незаслуженной, а остальные — заслуженными, при нем стал редактором «Нового мира» и «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей, кандидатом в члены ЦК, несколько раз мог убедиться в том, что пользовался его доверием. При нем посадили, а потом выпустили моего отчима, при нем отправились в ссылку моя тетка и мои двоюродные сестра и брат, при нем где-то в ссылке погибли две другие тетки мои, любимая и нелюбимая, при нем посадили и, несмотря на мои письма, не выпустили и не послали на фронт моего первого руководителя творческого семинара, человека, которого я очень любил, при нем по моему ходатайству вернули в Москву одну мою оставшуюся в живых тетку. При нем были процессы, в которых мне было далеко не все понятно. При нем была Испания, куда я готов был ехать, Халхин-Гол, куда я поехал, при нем была Великая Отечественная война, на которой я видел много страшного, много неправильного, много возмущавшего меня, но которую мы все-таки выиграли. При нем я слушал его казавшиеся мне умными и правильными разговоры о литературе, при нем была расходившаяся с этими правильными разговорами кампания по искоренению космополитизма. При нем мы не согнули головы перед обожравшейся во время войны Америкой в те годы, когда у нас над головой висела их атомная бомба, а мы еще не имели своей. При нем были новые, напоминавшие тридцать седьмой и тридцать восьмой годы аресты в послевоенные годы, при нем в эти же послевоенные годы было движение борьбы за мир, в котором я участвовал. Все это было при нем, я перечисляю в том беспорядке, в каком это вспоминается. Все было при нем.

Было очень страшно прочесть те документы, свидетельствовавшие о начинавшемся распаде личности, о жестокости, о полубезумной подозрительности, те документы, которые на неделю сунул нам под нос пресеченный кем-то потом Берия. То, что было связано с разоблачением Берии, с обнаружившейся вокруг этого политической и нравственной блевотиной, несмотря на попытки разных людей вывести из-под удара Сталина, все-таки ложилось и на него. Но того, что было узнано сразу после смерти Сталина, и накопившихся за годы его жизни недоумений, не до конца осознанных несогласий, сомнений в справедливости того или иного сделанного им, — всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы за три года после смерти Сталина увидеть его в новом свете. Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю. А своего отношения к Сталину в те три года я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.

Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Варианты возможны только в будущем, в прошлом их не существует. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». В дальнейшем, правда, в передовой разъяснялось, что, рисуя образ Сталина, писатели создадут образ связанной с его деятельностью эпохи, свершений этой эпохи и так далее, и тому подобное, но исходная формулировка была именно такая. Передовая называлась «Священный долг писателя», и в приведенном мною абзаце первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой, в которой как священный долг писателей прежде всего рассматривались мемориальные задачи, а не обращение к нынешнему и будущему дню.

На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую внезапно оказалась очень бурной. Я к тому времени после долгой борьбы с разными людьми, не желавшими понимать, что я хочу продолжать хоть что-то писать, выговорил себе право еженедельно выпускать два из трех номеров газеты, а третий только вчерне подготавливать вместе с заместителем, этот третий, субботний, номер подписывал заместитель. Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и, глядя на ночь, в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.

— Тут такое было, — встретил меня мой заместитель Косолапов, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал. — А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.

Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавши не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателя», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не считает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса — надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам, — пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности генерального секретаря Союза писателей.

Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателя», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина, — при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету.

По словам Суркова — не помню, прямо говорившего с Хрущевым или через вторых лиц, — Хрущев был крайне разгорячен и зол.

— Я лично, — сказал Сурков, — ничего такого в этой передовой не

увидел и не вижу. Ну, неудачная, ну действительно там слишком много отведено места тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь? Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.

Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю где, в Секретариате или в Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кончилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «и» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателя» с призывом создать эпохальный образ Сталина как главной задачи литературы попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе. Видимо, так. Кстати, перечитывая сейчас газеты того времени, я увидел то, что давно забылось: именно Никита Сергеевич Хрущев по иронии судьбы был председателем комиссии по похоронам Иосифа Виссарионовича Сталина, открывал и закрывал траурный митинг на Красной площади. Это не имеет никакого отношения к делу, но раз это попалось на глаза, не хочется проходить мимо.

Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвертом году, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилась понравившаяся мне фотография Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале, — сильное и умное лицо старого тигра. При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил. Это был не сталинизм, а скорей нечто вроде дворянско-интеллигентского гонора: вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит. Кроме того, эта фотография нравилась мне.

В пятьдесят пятом году, издавая книгу стихотворений и поэм, я включил в нее очень плохие стихи, написанные в сорок третьем году, вскоре после Сталинграда. Стихи о том, как Сталин звонит Ленину из Царицына, как это повторяется уже в Великую Отечественную войну, когда безымянный генерал или командующий звонит из Сталинграда Сталину, как когда-то тот звонил Ленину. Стихотворение, не богатое ни по мысли, ни по исполнению, в свое время не напечатанное, так и оставшееся лежать у меня в архиве. А в пятьдесят пятом году я вдруг взял да и напечатал его. Зачем? Тоже, видимо, из чувства противоречия, в какой-то мере демонстративно. Приходить же к критическому отношению к деятельности Сталина я стал тогда, когда решился наконец писать роман о войне и начинать его первыми днями войны. Первую часть романа «Живые и мертвые», которая потом не вошла в него по чисто конструктивным и художественным причинам, я писал в конце декабря пятьдесят пятого года, весь январь и начало февраля пятьдесят шестого года. Это было до XX съезда, накануне его, еще не было ни речи Хрущева, ни всего, что за ней последовало и в жизни, и в наших душах. Эту часть своего романа я в пятьдесят седьмом году напечатал как две отдельные повести — «Пантелеев» и «Левашов». В них уже было то, что мне не пришлось после XX съезда ни менять, ни переписывать. Они были сразу именно так и написаны. Секрет тут был в том, что, откладывая и откладывая срок начала этой работы над романом о войне, о сорок первом годе, я делал это не случайно. Мои воспоминания о том времени, мои дневники, на которые я прежде всего опирался, были неизбежно связаны



с внутренней переоценкой очень многих вещей, касавшихся Сталина: готовности к войне, роли арестов тридцать седьмого — тридцать восьмого годов в наших поражениях, еще многого и многого другого. Дневники писались во время войны. Роман отделяло от них тринадцать или четырнадцать лет. Обдумываемые для романа дневники для меня самого становились чем-то иным, чем были до этого в памяти, они становились обличительным документом по отношению к привычным, сложившимся оценкам непререкаемых заслуг Сталина во все времена, в том числе накануне и в начале войны. Влезая в роман, я все больше и больше переоценивал для себя Сталина, его роль, все то, что шло от него. Без этого писать о сорок первом годе я не мог и не хотел, и не был в состоянии — все вместе.

Очевидно, здесь мне и следует поставить точку в этой части моей рукописи, прежде чем перейти к тому, что пока назову условно «Сталин и война», что будет попыткой разобраться в своих собственных чувствах и мыслях и в чувствах и мыслях многих других людей, с которыми я говорил на эту тему.

(Окончание следует.)

---

Ираклий Абашидзе

# СТИХИ

## Физики и лирики

Должно быть, вы не забыли...
Я почему-то верю,
Физики дорогие,
что помните и посейчас...
Сказали поэтам:
«Ваш голос
не нужен атомной эре!
Хватит лирики вашей!
Довольно!
Устали от вас!»

Пусть даже так.
Не к лицу мне
жалкого спорщика поза.
В чем-то поэты не правы,
кто уж греха избег!..
В поэзии все смешалось,
кучей — стихи и проза;
В рифмах — неразбериха
в атомный бурный век.

Может быть, в самом деле
слишком крикливы
поэты?
Вслушайтесь:
этот залгался,
тот исковеркал стих;

Кто-то воображает
себя
опорой планеты.
В поэзии все смешалось,
и стыдно словес пустых.

Кому нужны твои вирши!..
Пройди по заморским землям,
Там и гроша не стоит
весь твой высокий пыл.
Это лишь мы так жадно
стихотворенью внемлем...
Запад
и ритм и рифму
презрел или позабыл.

Да ведь и мы не такие,
как некогда
Руставели,



Нет среди нас, признаться,
ни Пушкина, ни Ильи [1].
Жеманством
стих засорили,
мыслями
обмелели...
Все в стихотворстве смешалось...
Утратив, не обрели!

Впрочем,
вопрос по-иному
нынче поставить мы вправе...
Братья, не обессудьте,
но справедливость нужна!
Что лирикой мы сгубили,
Что нашей молитвой попрали?..
Если не созидала,
что сокрушила она?

Для вашего прославленья
струны
натянуты туго,
Лирики
ваши победы
празднуют без конца.
Эх, ведь еще недавно,
словно удача друга,
Строящийся Чернобыль
радовал наши сердца...

Нет, не поэты вертят
этого мира штурвалы,
Мир только вам внимает,
взывают к вам
струны лир...
Физики,
дорожите
доверием небывалым,
Физики, берегите атомной эры мир!

## Гимн естественной смерти

*Мы сделали работу за дьявола.*
Оппенгеймер

Вероятно,
Естественной смертью
Теперь умереть я успею.
Хорошо или худо
я годы свои проволок,
Старики,
всё сказали мы
словом и жизнью своею.
Что теперь нам терять!
Мы сегодня подводим итог.

[1] Илья Чавчавадзе — великий грузинский поэт XIX века.

Вероятно, лишь в силу старенья
расстанусь я с вами.
И естественной
смерть назовут
в утешенье родным.
Видно, с миром проводят...
Конечно, с цветами, с коврами,
С человеческим всем,
с христианским, извечным, земным.

Слава господу,
я
многодивной обласкан судьбою,
рассчитавшей мой век,
годы долгие взявши в расчет...
В легких
первый мой вздох,
словно небо живет голубое,
Восемь десятилетий
тот воздух
по жилам течет.

Так чего мне желать?
Я,
прошедший сквозь черные смерчи,
Не давил эту землю,
что завтра уйдет из-под ног...
От колымского льда
И от пули, промчавшейся в Керчи,
От освенцимской печи
создатель меня уберег.

Слава жизни!
Но слава и смерти
такой человечной,
Христианской, естественной, древней, извечной!

Нет, не жалуюсь я
На присущие возрасту хвори,
Просто стал уставать...
Если спросят, не вспомню, устал,
Где я встретил рассвет,
озаряющий времени море,
Где впервые закат
над стремниною лет увидал.

Я надеялся: завтра
окажется важен и дорог
Мой сегодняшний труд...
Я у смерти стоял на пути,
Силу смерти слепой
презирал, как затменье и морок,
И в часы, когда жизнь
в жертву
был я готов принести.

Видел в черные дни
солнце,
вставшее над головою,
Верил я,
что в себе
избавленье и силу найду.
Смерть с презреньем встречал,
не робел перед смертью слепою



И в часы, когда жизнь
горше смерти была
на беду.

Прелесть жизни манила,
меня опьяняла все снова...
Говорю я:
Хвала
всем апрелям небес и земли!
...Но такая зима
у порога застыла сурово.
Нет за нею лугов,
где апреля цветы расцвели.
А теперь и душа
не мечтает о слишком уж многом,
Сердце
славой не грезит...
Отсрочки теперь не проси!
Сердце
ослабевает,
Склонилась душа
над итогом —
Так, уйдя в облака,
самолет убирает шасси.

Слава жизни,
Хвала,
и уходу такому
Человечно-естественному,
вековому!
Вероятно, я сам
подойду к заповедным пределам,
Нет дороги назад,
и минувшего я не отдам.
Помогите, прошу,
помогите и словом и делом
Вы такому уходу,
извечно привычному нам!

Мы — творенье и плоть
бесконечного круговорота,
Мы — рабы его,
часть
обновленья, рождений, смертей...
Помогите уходу,
естественному, как работа!
Помогите же,
нам помогите
и детям детей!

Перевел с грузинского Михаил Синельников.

---

*Евгений Замятин*

# МЫ

**РОМАН**

## «АНТИУТОПИЯ» ЕВГЕНИЯ ЗАМЯТИНА

*Почти у каждого заслужившего известность писателя есть книга, название которой, поверх всего им написанного, служит чем-то вроде визитной карточки, удостоверения художественной личности. Для Евгения Ивановича Замятина (1884—1937), уже до революции создавшего себе имя повестями «Уездное» и «На куличках», а к 1929 году издавшего четырехтомное собрание сочинений, такой визитной карточкой служит роман «Мы» — «самая моя шуточная и самая серьезная вещь», как скажет о ней автор.*

*К 1920 году, когда писался роман, за плечами Замятина была бурная, полная крутых поворотов и резких перемен жизнь. Детство в тихой уездной Лебедяни, в небогатой дворянской семье; Политехнический институт в Петербурге, студенческие сходки, мешок с пироксилином, полученный от революционера-рабочего, арест, тюремная одиночка на Шпалерной и высылка из Петербурга. Потом возвращение, кафедра корабельной архитектуры, проектирование кораблей и строительство землечерпалок, а одновременно — первый литературный успех и вскоре привлечение к суду за антивоенную повесть. Вызов на дуэль ради защиты чести, двухлетняя поездка в Англию, постройка ледоколов на английских верфях, возвращение в 1917 году в революционную Россию и участие в издании «Всемирной литературы» и других культурных предприятиях, роившихся вокруг Горького.*

*В Замятине совмещалось несовместимое — в этом холодноватом скептике таился жар азартного вызова жизни. В романе «Мы» одна из немногих мыслей рассказчика-героя, какую вполне мог бы выговорить «от себя» и автор, состоит в том, что «по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...». Вечный бунтовщик, экспериментатор и оппозиционер, он будто находил сладость в том, чтобы уклоняться в противоположную от общепринятого сторону, охотно противоречить тому, что опиралось на власть и силу. «В те годы быть большевиком,— писал он о начале своего пути,— значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком».*

*То же совмещение несовместимого и в творчестве. Воспитанник точных наук, корабельный архитектор, привычный к чертежам и логарифмической линейке, он оказался преданным слугой художественного слова, в котором искал свой цвет и звук. Начавший с увлечения сказовой, узорчатой речью в духе Лескова, в книге «Мы», строго вычерченной и суховатой по слогу, он выученик скорее европейской традиции интеллектуального романа. Вскормленный на чтении Гоголя и Достоевского (эхо «Записок сумасшедшего» и «Бесов» долетает с этих страниц), он впитал в себя и смелое воображение утопий Уэллса, и тонкий, изящный скептицизм прозы Анатоля Франса. Глубоко русский, «почвенный», национальный по корням, языку и привязан-*



*ностям, Замятин оказался, вместе с тем, отточенным европейским стилистом и свободомыслящим интеллектуалом. А главное, предстал в романе «Мы» одним из тех вечно несогласных с большинством, неуютных людей, которые при любом образе правления и в любой среде находят случай сказать неприятную правду, чем разительно отличаются от одописцев и сладкопевцев, один из которых в облике Государственного поэта изображен в его книге.*

*Роман «Мы» принадлежит к жанру антиутопии, то есть противополагает розовой сказке о фатально счастливом будущем человечества скептический, подернутый трауром взгляд. Мировая литература знает множество утопий и антиутопий — от Платона и Томаса Мора до Э. Кабе и У. Хоуэлса. Но Замятин стал родоначальником нового извода этого жанра, сатирической утопии XX века, когда технические и социальные фантомы новейшей цивилизации пустились наперегонки с самым смелым воображением. По его следу пойдут уже Олдос Хаксли с его «Прекрасным новым миром» (1932) и более ядовитый и изощренный Дж. Оруэлл со «Зверофермой» (1945) и «1984» (1949), вплоть до Рэя Бредбери и наших Стругацких. Конечно, можно вообразить себе в этом жанре и выдумку похитрее, и сюжет поострее, но другой такой книги, какую написал Замятин, никогда не будет уже потому, что она первая.*

*Перед читателем романа «Мы» возникает странный, но смутно узнаваемый мир через тысячу лет, отгороженный от всего живого глухой стеклянной стеной. Мир Единого государства, рационализированный и упорядоченный до точки, мир единообразия и несвободы, мир без любви, без поэзии, без науки, без личности, без души. Мир рабства, создающий иллюзию счастья, вследствие полной атрофии воли граждан, слепо вверивших свои судьбы Единому Государству, а в сущности, одному человеку — Благодетелю. Мир математических формул и чисел, заменивших слово.*

*А для низкой жизни были числа,*
*Как домашний, подъяремный скот,*
*Потому, что все оттенки смысла*
*Умное число передает,*

*— писал современник Замятина Н. Гумилев. И в романе «Мы» с л о в о настолько вытеснено ч и с л о м, что даже личные имена людей заменены цифрами, номерами. Д-503 — «нумер» главного героя, трагическое ясновидение автора, сбывшееся в лагерной практике.*

*В книге, создающей обобщенный пугающий образ механического, казарменного будущего, наивно выискивать памфлетный социальный адрес, видеть намек или систему намеков на какую-то одну страну или общественный уклад. То, что смущает, отвращает и беспокоит Замятина в возможном будущем человечества, уже и на нашей недавней памяти находило осуществление в разных формах и в разных точках земного шара. Об этом следует сказать потому, что в трактовке романа «Мы» у нас в стране и за рубежом существуют две крайности. Одна — что все, описанное Замятиным, навеяно тенденциями развития буржуазного мира, тем, что могло быть подмечено автором в промышленной Англии в пору, когда он провел там два года в Лондоне, в доках Нью-Касла и Саут-Шилдса, и, таким образом, «мы» — это «они». Другая крайность — что все, воссозданное в романе, обращено к критике новой революционной действительности, социализма в собственном смысле слова, и, таким образом, «мы» — это именно «мы» и никто иной. Между тем текст романа, рассмотренного с дистанции времени, дает основание для более объемной и точной интерпретации.*

*Если взглянуть на вещи с точки зрения психологии творчества, то, бесспорно, поразившая Замятина в Лондоне «каменная, асфальтовая, бензинная, механическая страна», как напишет он в «Островитянах», могла подсказать автору нечто для его утопии. Кстати, и Достоевский полемический образ «Хрустального дворца» будущего вынес из своих английских впечатлений. В начале XX века жестко рациональная организация труда и сопутствовавшая ей эксплуатация легли в основу модной системы тейлоризма (по имени ее изобретателя — американского инженера Ф. У. Тейлора) — это словцо по меньшей мере трижды встречается в романе. Признак отменно механизированного мира с новыми рабами производства в пору, когда до эры роботов и компьютеров было еще далеко, стоял перед глазами автора, тем более что и в молодой Советской республике «тейлоризм» находил мощную поддержку, в частности, во «Всеобщей организационной науке» А. А. Богданова и трудах А. К. Гастева.*

*Но несомненно, что картина, нарисованная романистом, имела отношение и к его скептическим раздумьям о путях нового общества, первые шаги которого он видел собственными глазами, живя в Петрограде. Роман был написан в разгар политики «военного коммунизма», и это давало Замятину материал для его раздумий об опасности казарменного социализма в полуграмотной тогда стране с сильными пережитками «азиатчины».*

*Роман-утопия, или, точнее, утопическая сатира, был одновременно романом-предупреждением. Заглянув в отдаленное на тысячу лет будущее, Замятин в условной, по существу, сказочной форме рассказал о том, что аккумулировало его тревогу, предощущение опасности.*

*Сегодня мы читаем роман почти три четверти века спустя после того, как он был написан. До тысячелетнего будущего далеко, а коечто из им придуманного мы увидели въявь,— Замятин не учел процессов исторического ускорения в XX веке. Это относится к технико-футурологической фантазии автора, описывающего воздушный корабль «Интеграл», что-то вроде «Шатла» или наших космических кораблей, правда, с наивными подробностями, напоминающими допотопный пароход: «командная рубка», «малый ход», «два кормовых». Предугаданная Замятиным «нефтяная пища» заставляет вспомнить о синтетической «черной икре», пропагандировавшейся академиком Несмеяновым, и т. п. Но существеннее нередкие снайперские попадания автора в социальные мишени: «газовая комната», напоминающая о зверских изобретениях гитлеризма. Или, увы, известные нам не из вторых рук манифестации в честь Благодетеля, выборы с заранее известным итогом в День Единогласия, тотальная покорность одной воле, слежка незримых «хранителей» и т. п. Даже такая мрачная подробность, как победа над голодом в Едином государстве, достигнутая посредством голодной смерти части населения, может показаться горестным предсказанием, осуществившимся во время голода на Украине в 1932—1933 годах.*

*Стоит ли при этом удивляться, что автор романа в чем-то ошибся, где-то не попал в цель, преувеличил или преуменьшил опасность? «Розовые билетики» на партнера в сексуальный день или прозрачные стеклянные стены домов, не позволяющие гражданам ни на мгновение уйти от надзора, слава богу, еще нигде, кажется, в мире не имели прямой аналогии. Но и не требовать же этого от романа, где речь идет, понятно, о гиперболизированных образах и сатирических сгущениях.*

*Внушением какой чудесной силы Замятин сумел все же так много угадать? Откуда вообще являются временами в искусстве эти ясновидцы или, говоря высоким слвом, горестные пророки? Если оставить в покое мистику, дело обстоит достаточно просто: интуиция и ум художника позволяют ему увидеть в своей современности зародыши будущего — счастливого или несчастливого. В каком-то смысле настоящее всегда состоит из двух перетекающих друг в друга времен — минувшего и предстоящего, но громадное большинство людей не видит, не осознает этого, безотчетно отдаваясь потоку жизни: для них прошлое, будущее и настоящее разделены прочными перегородками. Зоркий ум и яркое воображение («Флора и фауна письменного стола гораздо богаче, чем думают...»,— замечал Замятин) способны угадать хотя бы некоторые черты отдаленного будущего, просвечивающие в завязи уже в современности, обрадоваться им или испугаться. Замятин пугается. Писатель — Кассандра рассказывает поучительную сказку, тревожась за будущее человечества и своей страны, предостерегая от ошибок. И тут все дело в том, какую выбрать точку зрения: возмутиться тем, что нам пророчат, воспринять это как выходку мизантропа, вольную или невольную подножку в трудном деле строительства нового мира? Или понять его книгу как личную боль, предостережение доброжелателя и союзника? Тогда вместо раздражения и укоризны — даже при неполном согласии с автором — явится благодарность писателю. (Так благодарны мы эпидемиологу, указавшему на опасность распространения болезни и выделившему вирус,— ведь мы не клянем его за его предостережения, даже если покуда чувствуем себя здоровыми.)*



*Слов нет, антисоциалистическая пропаганда могла использовать (и использовала) роман Замятина, как и в еще большей мере романы Оруэлла, в своих целях. Но разве есть такая полезная вещь, которой невозможно было бы злоупотребить? Конечно, всякая сказка — а фантазия Замятина именно сказка, и не очень благодушная,— содержит в себе «добрым молодцам урок». Но сердиться на сказку, лишенную розового утешения, не значит ли выдавать себя: беспокойство писателя попало в цель. Напротив, свободное от комплексов вины и страха, прямое и здоровое отношение к фантазии художника — признак силы и уверенности в себе: прислушаемся к сумрачному предостережению и не допустим беды.*

*К сожалению, этой мудрости не хватило у современников Замятина. Когда в 1924 году роман «Мы» без согласия писателя появился в ряде зарубежных изданий, автор подвергся все нарастающему валу печатной критики, перешедшей к началу 30-х годов в прямую травлю. Это вынудило его эмигрировать из СССР. Разрешение на отъезд было дано вследствие письма Замятина И. В. Сталину в 1931 году, а вскоре на перроне Белорусского вокзала его навсегда провожал друживший с ним Михаил Булгаков. Жизнь на чужбине не способствовала расцвету художественного дара Замятина, и он скончался спустя пять лет в Париже, не прибавив заметно славы своему перу немногими написанными вдали от родины страницами: корни его были в России, более того — в революции, которой он хотел помочь своим нельстивым словом.*

*«Не нужны нам спорщики, а нужны поноровщики»,— говорит ироническая народная пословица. Замятин не «поноровщик», он любит спорить и готов азартно идти наперекор нашему читательскому «нраву». Потому он не может быть мил обывателю, жаждущему более всего покоя, душевного комфорта и успокаивающему себя на мысли, что какие бы курбеты ни выкидывала история, все к лучшему в этом лучшем из миров.*

*Но ведь есть и еще выход — борьба со злом, и о нем тоже не забывает Замятин в своей фантастической фреске. Картина будущего тоталитарного мира была бы беспросветно черна, если бы не попытки людей выйти за его пределы. Ведь за Зеленой Стеной, изолировавшей государство-полис, существует какая-то живая лесная чаща, там бу-*

*щует жизнь, там сохранилась природа с ее птицами, цветами и травами, а люди не чувствуют себя рабами. Человеческие страсти трудно убить до конца, и в городе зреет милый сердцу старого бунтовщика Замятина заговор против власти Благодетеля. То, что истоком бунта, как и всего живого на земле, служит женщина, а стимулом к прозрению героя — внезапная, как вспышка атавизма, «старинная» любовь, конечно, не случайно. И хотя конец романа трагичен — и у смирившегося героя вырезают последнее прибежище живого протеста — фантазию, автор верит в другое: пока жива душа, разум, творчество, никакое механическое тоталитарное устройство не способно завладеть миром до конца. Более того — сохраняется надежда на его поражение и конечное торжество подлинно человеческих ценностей — любви, свободы, творчества.*

*Вслед за Булгаковым, Платоновым возвращается в нашу литературу, в общественное и культурное сознание Евгений Замятин, и, оглядываясь назад, понимаешь, насколько богаче мы стали в присутствии шеренги этих блистательных имен русской прозы. Мы стали...*

*Вот когда, между прочим, местоимение «мы» звучит без всякой тени иронии и даже с оттенком гордости.*

*В. Лакшин*

**Запись 1-я.**
**Конспект:**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА.**

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, выпрямить ее по касательной — ассимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель И н т е г р а л а,— я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.



Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

**Запись 2-я.**
**Конспект:**

**БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС.**

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится И н т е г р а л, и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это н е с в о б о д н о е движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы, в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна,— розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... *Она* — *о* весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах [1], с золотыми бляхами на груди — государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо,— одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века, с + на —. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите,— сказала она,— но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель Интеграла). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и следовательно...

— Ну да: ясно! — крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед

[1] Вероятно, от древнего «Uniforme».



прогулкой).— Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской нумер — какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе...

Я с необычайной для меня резкостью сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы,— я уже почти кричал.— Раз есть — все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос пуговицей, а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд,— она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня,— радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским нумером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне.

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас...— робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

**Запись 3-я.**
**Конспект:**

## ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ.

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому Интеграл принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод,— но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...



Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, т. е. неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная — государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, т. е. уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет,— это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, т. е. основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но перв : я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Госу-

дарственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, т. е. зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин,— еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того, чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дважды изогнутый, как S,— кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

**Запись 4-я.**
**Конспект:**

## ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ.

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была — $\frac{1.500}{10.000.000} = \frac{3}{20.000}$ (1.500 — это число аудиториумов, 10.000.000 — нумеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

— «Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде», действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел «дождя» — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...»

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был



дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

— «...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось,— музыка Скрябина — 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там — их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...»

И дальше — я опять не помню, очень возможно потому, что... Ну, да скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь,— ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль... Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, попаляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних...

Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хра-

нителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic!) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик — и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья — прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила расплылись. Ну вот, придется переписывать.

— Милый Д, если бы только вы, если бы...

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно... относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.

**Запись 5-я.**
**Конспект:**

## КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ.

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы... Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый,— ну да все его знают. А между тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете, квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется, случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили, наконец, Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб» [1]. Но в 35-м году — до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя, нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато, очищенное от тысячелетней грязи, каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчисленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался, потому что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке), потому что любви одних добивались многие, других — никто.

[1] Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.



Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраический = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер».

Ну, дальше там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответственный Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться нумером таким-то (или таким-то), и получаете надлежащую талонную книжечку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти нет уже никаких, знаменатель дроби счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий, у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

...Странно, я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, а внутри как-то облачно, паутинно и крестом — какой-то четырехлапый икс. Или это мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно — —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи, как тончайший сейсмограф, дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда именно такие колебания служат предвестником — —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам...

**Запись 6-я.**
**Конспект:**

## СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА.

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается, а у нас... Вот не угодно ли: в Государствен-

ной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И, кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, т. е. в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же...

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон:

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330... Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как щеки старинного «купидона», и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз, вниз, как с крутой горы,— и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же заговорила.

— Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть? — И морщины засияли (т. е., вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

— Да, бабушка, опять захотелось,— сказала ей I.

Морщинки сияли:

— Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну, ладно: одни идите, я уж лучше тут, на солнце...

Гм... Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

— Люблю я ее — старуху эту.

— За что?

— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть — ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала, улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть...

— Ясно...— начал я, тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как шторы. Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных, прозрачных клеток — темные, с опущенными шторами, и там, за шторами — — Что у ней там, за шторами? Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это?



Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот самый, странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая...— и вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы.— Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или еще точнее: государств,— поправил я.— Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как...

— Ну да, ясно...— по-видимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже частной собственностью). И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее — прекрасное, прозрачное, вечное — стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

— И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились... (опять опущенная штора глаз).— Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не знаю что, что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться — не согласиться было нельзя.

Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры»,— человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала — обернулась. «Ну, вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною два жутко-темных окна, и внутри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похожие...

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) — я определенно почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

— Знаете что,— сказала I,— выйдите на минуту в соседнюю комнату.— Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон-глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот — и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь, отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра...

Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и — — точно не помню: вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка — мне

было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, и открытая шея, тень между...

— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы...

— Ясно,— перебила I,— быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство... И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что...

— Да, да, да! Именно.— Я не выдержал.— И вам нечего, нечего...

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз, там, внутри, за своими окнами, сказала на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня), сказала очень разумную вещь:

— Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

— Ясно... То есть я хотел... (это проклятое «ясно»!).

— Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас...

— Да, у нас...— начал я. И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не помню что... Надо было что-нибудь — все равно что — сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог вежливо сказал я.

— А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?

— Послушайте: вы... вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме...

— ...И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук...— моим голосом сказала I. Потом отдернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна пылал камин.— В Медицинском Бюро у меня есть один врач — он записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

— Вот даже как! А вы знаете, что как всякий честный нумер я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и...

— А не в сущности (острая улыбка-укус). Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

— Вы остаетесь? — я взялся за ручку двери. Ручка была медная, и я слышал: такой же медный у меня голос.

— Одну минутку... Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер — я был настолько взволнован, что не запомнил его, и крикнула:

— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна...

Я повернул медную холодную ручку:

— Вы позволите мне взять аэро?

— О да, конечно! Пожалуйста...

Там, на солнце, у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила:

— А эта ваша — что же, там одна осталась?

— Одна.



Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

**Запись 7-я.**
**Конспект:**

## РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ.

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял медные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно-сладостный ужас...

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда... что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь... Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, какое-то инородное тело — как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском — нельзя о нем забыть ни на секунду...

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовье: 7, вставать. Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24. Но все же как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва замечать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца...

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так же на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «И н т е г р а л а». Закрывши глаза, я мечтал формулами:

я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна начальная скорость, чтобы оторвать «Интеграл» от земли. Каждый атом секунды — масса «Интеграла» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите».

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «Интеграла») что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S...

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что я должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста,— я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему от самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза — два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому...

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме...— Голос у меня странный, приплюснутый, плоский, я пробовал откашляться.

— Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

— Но, понимаете, был не один, я сопровождал нумер I-330, и вот...

— I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

...Но ведь и он — тогда на прогулке — и, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немыслимо: это ясно.

— Да, да! Как же, как же! Очень,— я улыбался все шире, нелепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глупый...

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, ввинтились обратно в глаза; S — двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось, все на меня смотрят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По достоверным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как... ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки...

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 иду туда непременно...

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидал О, всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня...» Впрочем, нет, в поддержке я не нуждался: я решил твердо.



Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода — все тот же ежедневный Марш. Какое неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

— Гулять,— круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь,— и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, т. е. ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо...— я сказал ей куда. И, к изумлению своему, увидел: розовый круг рта сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня, но это просто тупость.

— Вы идете к шпионам... фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей...

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-женски.— Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши.— Ну вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть настолько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо? Не може-те, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас... да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось, но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

— Вы какой-то сегодня... Вы не больны?

Сон — желтое — Будда... Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

— Да ведь и правда я болен,— сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказывать вам это.

— Ну, О, милая,— ну, конечно же, вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно вечером там уже было закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто...

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах — и о чем-то таком очень неприятном... Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

**Запись 8-я.**
**Конспект:**

**ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ.**
**R-13. ТРЕУГОЛЬНИК.**

Это — так давно, в школьные годы, когда со мной случился $\sqrt{-1}$. Так ясно, вырезанно помню: светлый шаро-зал, сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тшшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу $\sqrt{-1}$! Выньте из меня $\sqrt{-1}$!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова $\sqrt{-1}$. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть $\sqrt{-1}$. Это все пустяки — что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад — я знаю, пошел бы не задумываясь. Почему же теперь... Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 — я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви, теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей — себя. А я — я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места...

— Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель, и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя $\sqrt{-1}$, я бы вошел в Бюро).

— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался,— довольно резко сказал я.

— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ — брызги; каждое «п» — фонтан, «поэты» — фонтан.

— Я служил и буду служить знанию,— нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!

— Стены — это основа всякого человеческого...— начал я.

R — брызнул фонтаном, О — розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый $\sqrt{-1}$.

— Знаете что,— предложил я,— пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час — может быть, такой будет и сегодня).



О взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

— Но сегодня я... У меня сегодня — талон к нему,— кивнула на R,— а вечером он занят... Так что...

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, О? До задачек ваших — я не охотник, а просто — пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой — или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только будто по странной случайности был мой нумер — Д-503. И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы — приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше — в комнате R. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел — двинул одно кресло, другое — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неэвклидным. R — все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старую Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя[1]. Законоучитель у нас был громогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст — то выстрел жеваной бумагой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали — весь наш треугольник — и, сознаюсь, я тоже.

— А что если бы он был живой — как у древних, а? Вот бы — «б» — фонтан из толстых, шлепающих губ...

Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу. О — на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; $\sqrt{-1}$ заглох, не шевелился...

— Ну, а как же ваш «И н т е г р а л»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «И н т е г р а л у» не поднять. Каждый день от 8 до 11...— R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина — «в карете»).

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «И н т е г р а л а»? Ну, а скажите, о чем? Ну вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был...— «б» брызнуло прямо в меня.

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов... Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, говорит,— гений, гений — выше закона». И такое наляпал... Ну, да что... Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко за-

---

[1] Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

пертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?

Минута неловкого асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

— К счастью, допотопные времена всевозможных шекспиров и достоевских — или как их гам — прошли,— нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в глазах уже не было.

— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое... Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира... Так!

Не знаю, почему — как будто это было совершенно некстати — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался $\sqrt{-1}$. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

— Ну, мне пора...— и я поцеловал О, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома — тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая О... Милый R... В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» — но пусть пишется, как пишется) — в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и О — мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что...

**Запись 9-я.**
**Конспект:**

**ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА.**

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло...

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству,— спокойную, обдуманную, разумную жертву. Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей...



Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое... и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с нумером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).

А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными квадратными очертаниями. Но зато руки... Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес...

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

...Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты склепов. Но явился Прометей (это, конечно, мы).—

> «И впряг огонь в машину, сталь,
> И хаос заковал законом».

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет...

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может! Нет, его толстые, негрские губы, это он... Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое... Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться...

Резкие, быстрые — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался... нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости),— спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый, черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром,— преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку... Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо-острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце...

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это всякий раз было — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы [1].

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это,— знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не знаете...

**Запись 10-я.**
**Конспект:**

## ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я.

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя — Ю... впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это — очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится — это то, что щеки у ней несколько обвисли — как рыбьи жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» — и — рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

[1] Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого— как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.



— А вот письмо. Да. Получите, дорогой,— да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок), и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «Интеграла» я никак не мог сосредоточиться — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка — и, наконец, письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман — и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и — сел... Это было официальное извещение, что на меня записался нумер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней — внизу адрес...

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей,— ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен,— ну, вообще не мог... И несмотря на все — —

В голове у меня крутилось, гудело динамо. Будда — желтое — ландыши — розовый полумесяц... Да, и вот это — и вот это еще: сегодня хотела ко мне зайти О. Показать ей это извещение — относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно... И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор... Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно...

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит... И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами — —

Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-то железные прутья и мешают — положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами: I-330. I, спиною ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел...

— Вот...— протянул я ей розовый билет.— Я получил сегодня извещение и явился.

— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо — и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она — оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тесно... Когда она говорит — лицо у ней, как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови — насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх — две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо

этот неприятный, раздражающий Х — как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились...

— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

— Я был... Я не мог: я был болен.

— Да. Ну, я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать — все равно что (— острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы — в моих руках. Вы помните: «Всякий нумер в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается...»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка,— глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался — ни рукой, ни ногой...

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

I была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа. Юнифа шуршала, падала — я слушал — весь слушал. И вспомнилось... нет: сверкнуло в одну сотую секунды...

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть — из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая...

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк...

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена...

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные докрасна прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и... и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

— Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

— Слушайте,— сказал я,— ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем — Единое Государство беспощадно...



Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать возможность многим губить себя — и вырождение — и так далее. Это до непристойности верно.

— Да... до непристойности.

— Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин — выпустить на улицу... Нет, вы представьте себе... ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его знаете,— представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд — и в истинном виде среди публики... Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее — такую... Он...

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои — ненормальные — ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет право на радости — и было бы несправедливо... Ну, да это ясно.

I смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня — внутрь:

— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый — о, я уверена в этом,— вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю. Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со мной этот очаровательный яд...

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и просвечивая сквозь шафранное розовым — сделала несколько шагов — остановилась сзади моего кресла...

Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы... нет, куда-то еще глубже, еще страшнее... Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому... Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совершенно отчетливо — не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус «ликера») — и в меня влит глоток жгучего яда — и еще — и еще... Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то невычисленной орбите...

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову — но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели...

Я стал стеклянным. Я увидел — в себе, внутри.

Было два меня. Один я — прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой... Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и... и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку — за ручки кресла — я спросил, чтобы услышать себя — того, прежнего:

— Где... где вы достали этот... этот яд?
— О, это! Просто один медик, один из моих...
— «Из моих»? «Из моих» — кого?
И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:
— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто... Потому что вас — я вас ——

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разодрал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно помню: именно зубами.

Уж не знаю как — I выскользнула. И вот — глаза задернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту...»

Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

— «Да! Да, милая — милая»,— я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие — сразу как сдунуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени — по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в лифте) — выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте — такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом — неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха — отстегивается — отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять — и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух — только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась — плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью — нумера обязаны спать; это обязанность — такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступно...» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством... Я...

**Запись 11-я.**
**Конспект:**

**...НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА.**

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью и не видно: что там — дальше, выше. Древние знали, что там их величайший, скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно,— это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот —



Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно так первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, сознательно — с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я — он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними — как шрам — вертикальная морщина (не знаю была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью... оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там» я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочерченными по прямой бровями — посторонний, чужой мне, я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я — не — он...

Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления... Чем: глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой — посредством...

Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы...

**Через 20 минут:**

На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки рядом, но в другом мире... Я теряю цифроощущение: 20 минут — это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же — корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

— ...И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно — непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи,— закончил я.

Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.
— Что с вами?
— Что-что? Ну... Ну просто надоело: все кругом — приговор, приговор. Не желаю больше об этом — вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул — залакировались смехом глаза, вскочил.

— А вот для вашего «И н т е г р а л а» я сочиняю... это — да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

— Понимаете («п» — фонтан) — древняя легенда о рае... Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь. Тем двум в раю — был предоставлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете,— вот о чем мировая скорбь. Века! И только мы снова догадались, как вернуть счастье... Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы — рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно

одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика... Ну, да ладно; словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший... понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы... Адам! Да, кстати, насчет Евы...

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра... нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она...

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется... Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас... И не говорит, что это четвертый влез в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы... И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Приятель-то ты — приятель... А все-таки...» И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину...

— I,— закричал я.

— Как... вы — вы тоже с нею? — налился смехом, захлебнулся, и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет — я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза... Я — настоящий крепко схватил за шиворот этого другого себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоящий — сказал ему, R:

— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной...

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это знакомо... разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу, бросил на стол книгу:

— Последняя моя... Нарочно принес — чуть не забыл. Прощайте...— «п» брызнуло в меня, укатился...



Я — один. Или вернее: наедине с этим, другим «я». Я — в кресле, и, положив нога на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я — я же — корчусь на кровати.

Отчего — ну отчего целых три года я и О — жили так дружески — и вдруг теперь одно только слово о той, об... Неужели все это сумасшествие — любовь, ревность — не только в идиотских древних книжках? И главное — я! Уравнения, формулы, цифры — и... это — ничего не понимаю! Ничего... Завтра же пойду к R и скажу, что — —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш — развалился.

Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше? И если бы знать: кто — я, какой — я?

**Запись 12-я.**
**Конспект:**

## ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ.

Мне все же кажется — я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова — «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легко переваримые порции — — дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии — математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так — случайная ассоциация.

Все это — под мерный, метрический стук колес подземной дороги. Я про себя скандирую колеса — и стихи (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое... он! Не хотелось мешать ему — и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я входил в вагон — его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире —
Неотрывающиеся дважды два...

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь — ржавеет; древний Бог — создал древнего, т. е. способного ошибаться человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете: никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, т. е. ясно — об ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое...

Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке, потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня — уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга: это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о чем меня не спросил... Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недосягаемы — как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому; часть — R-13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах силлионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное: и точно так же у нас приручена и оседлана когда-то дикая стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — это классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний... Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих как молитву: «Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун — ой, ой — бежит домой» и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск искр в Машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги — здесь, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша...



**Запись 13-я.**
**Конспект:**

## ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На заре проснулся — в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок — встаю — и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в домах — как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе — повисли низко, и выше, и еще выше — в десятом этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтоб ухватиться за цифры — чтоб спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длинная, медленная игла в сердце:

— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся... ну, там увидите куда.

— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты...

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю...» И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему...

Серые, из сырого тумана сотканные юнифы торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут... Без трех, без двух двенадцать...

Конечно. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать...

На углу в белом тумане — кровь — разрез острым ножом — губы.

— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее — — впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.

Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из нее пере-

ливается в меня — и я знаю, так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому «нужно». Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону — и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз — и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

— Туман... Очень.

— Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу — вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это — тоже нужно, тоже хорошо.

— Да, хорошо...— вслух сказал я себе. И потом ей: — я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

— Значит — любишь. Боишься — потому, что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому — именно потому я...

Мы шли двое — одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъятная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все — для меня, солнце, туман, розовое, золотое — для меня...

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже — —

— Ну вот...— I остановилась у дверей.— Здесь сегодня дежурит как раз один... Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее — прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человечек — тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие — нос, ножницы — губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила — и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опаснее я ничего не знаю...— засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал — отдал мне.

Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою работу у Единого Государства, я — вор, я — под Машиной Благодетеля. Но это мне — далеко, равнодушно, как в книге... Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, руки — я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро, I опять как тогда села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце, тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами...

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:



— А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все... ну уж ладно! Если что — я тогда прибегу, скажу...

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще шире: — настежь. Ее губы — мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза — и опять...

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое, темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И — мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет — —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону — я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль — капают капли в умывальнике, и я — вселенная, и от капли до капли — эры, эпохи...

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами вбирал в себя ее последний раз.

— Я знала это... Я знала тебя...— сказала I, очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус.

— Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо — на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал — и остановился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все, я даже открыл шкаф и ощупал там пестрые, древние платья: никого...

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

...Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

**Запись 14-я.**
**Конспект:**

**«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ.**

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо-холодный пол...

Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами,— спросил дежурный.— Вы какой-то сегодня...

— Я... я болен...

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение... Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все было, все было действительно...

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня.

И вот — 21.30. В комнате слева — спущены шторы. В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шишковатая, вся в кочках, лысина и лоб — огромная, желтая парабола. Я мучительно хожу, хожу: как мне — после всего — с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось — руки опустились...

— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был...— и запнулся: мне пришло в голову — раньше не был, верно, но теперь... Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку...

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много...

Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя б потому, что это сделает ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и следовательно — —

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускался — и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу остыли...

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в подушку...

Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно-холодный пол — сидел молча. Мучительный холод снизу — все выше, все выше. Вероятно, такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

— Поймите же: я не хотел...— пробормотал я...— Я всеми силами...

Это правда: я, настоящий я не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон — неизбежен, точен — —

О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите,— но от слез вышло у нее «ундите» — и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом — легкий чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула дверь.

— Одну минутку,— крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз...



Она отняла у меня R.
Она отняла у меня О.
И все-таки, и все-таки.

**Запись 15-я.**
**Конспект:**

## КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ.

Только вошел в эллинг, где строится «Интеграл»,— как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:

— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать,— происшествие.

— Происшествие?

— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался — понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем... (улыбка — вкусная...).

В Операционном — работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там — разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше... Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат — с применением различных газов, и затем — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель — забота о безопасности Единого Государства, другими словами, о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же — режут горло живому человеку. И все-таки один — благодетель, другой — преступник, один со знаком +, другой со знаком —...

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули — а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к правому плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман... все люблю, и все — упругое, новое, удивительное, все — хорошо...

— Все — хорошо,— вслух сказал я.

— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые глаза.— То есть, что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился... стало быть, они — всюду, кругом, все время, они тут, они — около «Интеграла», они...

— Да кто они?

— А почем я знаю, кто. Но я их чувствую — понимаете? Все время.

— А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели — фанта-

зию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)

— Ну, знаю. При чем же зто тут?

— А при том, что я бы на вашем месте — пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия... Впрочем, что же: неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь — теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть — что я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все — под нами внизу — как на ладони...

Вы, читающие эти записки,— кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает — какое может быть — утром солнце, вы знаете зто розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и все до одного улыбаются — люди. Может случиться через час все исчезнет, через час выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла»; я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы — вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.

Корпус «Интеграла» почти готов: изящный удлиненный эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные — стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамерлан счастья...

Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла» свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка... Скорее — вниз, к ним, с ними!

И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом... Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:

— Ну как: ничего, лучше сегодня?

— Что лучше?

— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у вас опасное что...— сияет лоб, улыбка — детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул...

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

— Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.



Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх — я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза — рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному,— здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, пока я, наконец, не найду силы пройти и — —

И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже...

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу — был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это—только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно...

— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову... Что с вами?— Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас об землю, или вверх — и в солнце, в огонь...

**Запись 16-я.**
**Конспект:**

## ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША.

Не записывал несколько дней. Не знаю сколько: все дни — один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее — а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме...

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад — не знаю: все дни— один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку — по плечо ей — двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову I — нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это — она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?

S... Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она все так же неизменно здесь, рядом, привязан-

ная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина — она, I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я...

Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощущение: руки — посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея — закована. И я бегу, бегу все быстрее и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее — никуда, никуда...

У себя в комнате, наконец, один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке — легкий шум, чьи-то шаги в коридоре — мимо дверей ее комнаты, и молчание... Бросаю трубку — и не могу, не могу больше. Туда — к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь — остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внутри, пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же знаешь — я не могу без тебя. Так зачем же?»

Но она молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу — Музыкальный Завод, и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я один, я опоздал. Кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и — — А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною — двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал — что-нибудь нужно было сказать:

— Мне... мне надо в Медицинское Бюро.

— За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, я молчал, весь полыхая от стыда.

— Идите за мной,— сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой мире: вот какие-то машины — фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже — скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол...

С силой, каким-то винтовым приводом, я, наконец, оторвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»... Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня — об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди...



Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос... Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия — что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа — —

— Это... очень опасно,— пролепетал я.

— Неизлечимо,— отрезали ножницы.

— Но... собственно, в чем же суть? Я как-то не... не представляю.

— Видите... как бы это вам... Ведь вы математик?

— Да.

— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми — дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внутри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это — впитывает, и от всего след — навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице — и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля — и вы слышите сейчас...

— Да, да, именно...— я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника — медленно капают капли в тишину. И я знал это — навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг... Почему ни у кого нет, а у меня...

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже ненужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) — я вам говорил: надо у всех — у всех фантазию... Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия...

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой мозг, записывал что-то в книжку.

— Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы... заспиртоваться? Это было бы для Единого Госу-

дарства чрезвычайно... это помогло бы нам предупредить эпидемию... Если у вас, разумеется, нет особых оснований...

— Видите ли, сказал он,— нумер Д-503 — строитель «И н т е г р а л а», и я уверен — это нарушило бы...

— А-а,— промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее — очень похожее, очень близкое...— он пристально посмотрел на меня. На что он намекает — на кого? Неужели — —

— Слушайте...— я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:

— ...А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь... ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово — букву — имя, единственное имя... Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?

**Запись 17-я.**
**Конспект:**

## СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ.

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы — в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом. Из этой точки — оси X-ов, У-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси X-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне — пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, остро-капающие капли из умывальника — так было, было однажды. И все это, разрывая мясо, стремительно крутится там — за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека — тончайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь...

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном — стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали



свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных...

Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая морда какого-то зверя, желтые, глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза — в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый,— в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни — счастливее нас?»

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он — счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но ведь я — только исключение, я болен.

Да и я... Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к старухе со всех ног:

— Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

— Это кто же такое — она?

— Ах, ну кто-кто? Да I, конечно... Мы же вместе с ней тогда — на аэро...

— А-а, так, так... Так-так-так...

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже... И наконец:

— Ну, ладно уж... тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь...

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся — и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась...

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты — почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около — не во мне, а где-то около меня — мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там — ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

— I! Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша,— так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: — I! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить, почему, но только это было мне неприятно; я крепко завернул кран, вышел. Тут ее нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там — никого.

И все-таки — опять туда, сам не знаю, зачем. Я шел медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести — константна. Следовательно, все мои формулы — —»

Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчайший — бросился к пери-

лам — перегнуться, в одном слове, в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все...

И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.

Молнией — один только голый вывод, без посылок (предпосылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что — чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное, желтый Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы... Я слышу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь... Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновенный, голый, без посылок, вывод — вернее, осколок: «В тот раз — —». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри, в темноте, захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

* * *

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5—10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз... Протянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец, мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами,— теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул — открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан здесь... где это «здесь» — не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах — лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо у́же и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло — о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны... Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — передо мной был мой лезвиеносый, тончайший доктор.

— Вы? Здесь? — и ножницы его так и захлопнулись. А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть, что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора — и толкнул в спину.



— Позвольте... я хотел... я думал, что она, I-330. Но за мной...

— Стойте тут,— отрезал доктор и исчез...

Наконец! Наконец, она рядом, здесь — и не все ли равно, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза... У меня дрожат губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:

«Колебания — звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?»

Ее глаза раскрылись мне — настежь, я вошел внутрь...

— Я не мог больше! Где вы были? Отчего...— ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил как в бреду — быстро, несвязно — может быть, даже только думал.— Тень — за мною... Я умер — из шкафа... Потому что этот ваш... говорит ножницами: у меня душа... Неизлечимая...

— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмеялась — и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, великолепный, тончайший доктор.

— Ну-с,— остановился он возле нее.

— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно... Скажите, что я вернусь через... минут пятнадцать...

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу — прижалась плечом, рукою, вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею — двое — одно...

Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы — и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, каменистые ребра и желтые зубы развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке — на концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «Интеграле» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.

**Запись 18-я.**
**Конспект:**

## ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА.

Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на средине глубины открываю глаза: моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью

часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я весь — как в паутине, и паутина на глазах, нет сил встать...

Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню — даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I... и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то корявое, лохматое...

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная, логическая цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего $\sqrt{-1}$, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их... Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика, и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью...

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и жуткие дебри, как те — за Зеленой Стеной,— и они так же были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное, и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: $\sqrt{-1}$... А может быть, это не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних добровольно жалящих себя всем тем, что...

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая,— только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая,— к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шароголовы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно-ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих — как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — мой мир...



Но вот что: если этот мир — только мой, зачем же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строго математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы и в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, $\sqrt{-1}$ и падений, жизнь.

Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели,— дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством — следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети — только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом...

**ВЕЧЕРОМ:**

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже — надо спланировать на нее, и я только закрываю глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя — имя О-90...

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь), я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один... Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки — отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или — вот так, одному, или... Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук...

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все — совершенно иное, иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это очень почтенная женщина, и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки, мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо, Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где — я не сомневался — письмо от I.

Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел: между жабер, сквозь

стыдливые жалюзи спущенных глаз — нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

— Бедный вы, бедный,— вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, естественно, знала).

— Нет, право я... Почему же?

— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь уж долгие годы изучавший жизнь...

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой — это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец — сквозь стыдливые жалюзи — совсем тихо:

— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я сначала еще должна подумать...

Благодетель великий! Неужели мне суждено... неужели она хочет сказать, что — —

В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван — скорее подпись — и рана — это не I, это... О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу — расплывшаяся клякса — сюда капнуло... Я не выношу клякс — все равно: от чернил они или от... все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко — как туча, и от него — все свинцовее и все темнее? Или это опять — «душа»?

**ПИСЬМО:**

«Вы знаете... или, может быть, вы не знаете — я не могу как следует писать — все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только... ну, да это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни — я бы не знаю что... За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня — не четырехугольная, а круглая, и без конца — кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас — потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и — понимаете: именно, если я вас люблю, я должна — —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90,— и я пойду, и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же — отчего — —



**Запись 19-я.**
**Конспект:**

**БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ.**

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек... или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома,— она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и наш «И н т е г р а л» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя, и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие залпы, и для меня каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки — продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически-безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца...

Я почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз...

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез — и... и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза... очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо... (исподлобья, из-под навеса). Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет не один: из конверта — розовый талон, и — чуть приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца...

Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю через строчки: «Талон... и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас... Мне необходимо, чтобы думали, что я... мне очень, очень жаль...»

Письмо — в клочья. В зеркале на секунду — мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку — —

— «Просила, чтоб непременно — все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем... впрочем, не знаю: увидим — до вечера еще далеко... Талон лежит на столе.

В зеркале — мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства: пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены — и потом свалиться в кровать — на дно... А я должен — в 13-й аудиториум, я должен накрепко завинтить всего себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь... когда надо кричать, топать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она такою, какою когда-то жила маленькая — крючочек-старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом... и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о детоводстве. Я — как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на громкоговорителе; под ним — ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вернее, очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень-складочка на запястье. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол — —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы,— вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекции каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет за мною до самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы...

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее,— висела: так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.



— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев глаза — медлил с ответом. И, с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

— Ответ? Что ж... Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так значит... (улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу). Ну, очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон т о й. Я быстро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже 170 страниц... Выходит такое что-то неожиданное...

Голос — тень голоса:

— А помните... я вам тогда на седьмой странице... Я вам тогда капнула — и вы...

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:

— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — — Я заложил назад руки, улыбнулся

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:

— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой складочкой...

(Окончание следует.)

---

Г. В. Адамович

# БУНИН

## ВОСПОМИНАНИЯ

Георгий Викторович Адамович (1894—1972), поэт, критик, переводчик, один из близких друзей Бунина, писал автору этих строк 16 июля 1965 года:

«Вы спрашиваете, где я родился и где в Москве жил. Родился в Крутицких казармах: мой отец был московским уездным воинским начальником. Потом его назначили начальником Московского военного госпиталя, и мы переехали в Лефортово. Умер он, когда мне не было и десяти лет, и мать со всей семьей перебралась в Петербург».

Будучи студентом Петроградского университета, Адамович участвовал в кружке акмеистов «Цех поэтов», в который входили А. Ахматова, Н. Гумилев — с которым он дружил,— С. Городецкий, О. Мандельштам, Г. Иванов и др.

В 1916 году издательство «Гиперборей» выпустило сборник его стихов «Облака»; другое петроградское издательство, «Петрополис», издало сборник стихов «Чистилище» в 1922 году. В годы революции Адамович работал переводчиком в редакции «Всемирная литература», которой руководил Горький. С 1923 года жил в эмиграции. Сборник стихов «На западе» вышел в 1939 году в Париже. Книга «Единство. Стихи разных лет» напечатана в Нью-Йорке в 1967 году.

С годами Адамович стал предпочитать литературную критику поэзии. И. А. Бунин писал 20 июня 1951 года: «А лучший критик в эмиграции, в Париже, Адамович».

Когда было решено издать к столетней годовщине бунинский том «Литературного наследства», я просил Георгия Викторовича, чтобы он написал о Бунине для этого издания. Он ответил письмом от 14 октября 1965 года:

«Два слова о статье, которую я по вашему желанию мог бы дать в юбилейную книгу о Бунине. Вопрос это довольно сложный, и, надеюсь, вы меня поймете. По существу я, конечно, был бы рад желание ваше исполнить. Даже больше чем рад: счастлив. Но есть условности, с которыми, к сожалению, приходится считаться».

В следующем году он получил официальное письмо от редакции «Литературного наследства» (том, посвященный И. Бунину, вел профессор С. А. Макашин), и 14 июня 1966 года сообщал мне, что «ответил дней восемь — десять тому назад. Ответ вкратце таков: написать воспоминания о Бунине согласен<...>. Напишу о встречах и беседах с ним, не касаясь вопросов, которые могут быть неприемлемы».

В моей переписке с Георгием Викторовичем, длившейся в течение 1965—1971 годов, обещанных воспоминаний он касался не однажды. В конце концов статью написал; но, к сожалению, в бунинский том «Литературного наследства», изданный в 1973 году, она не попала и была опубликована Адамовичем в зарубежье.

Я посылал Георгию Викторовичу книги и журналы, и это было для него поводом высказать свое мнение о тех или иных литературных новинках и писателях: о М. Булгакове, В. Катаеве, А. Твардовском, А. Ахматовой, М. Цветаевой. С Ахматовой и Твардовским он встречался в Париже. В письмах Адамовича — неизменный и пристальный интерес к литературной жизни на его Родине.

**ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА И ПУБЛИКАЦИЯ А. БАБОРЕКО.**

Впервые увидел я его в петербургском «Привале Комедиантов», на Марсовом Поле. Если не ошибаюсь, он только один раз там и был. Бунин стоял у стены, против входной двери, рассеянно и хмуро глядя по сторонам, всем своим видом показывая,



что ничто ему тут не по душе. Да и могло ли быть иначе? «Привал Комедиантов» был последним прибежищем русского модернизма, возникшего в конце прошлого столетия,— модернизма Бунину чуждого и даже враждебного. Ярко размалеванные стены с какими-то птицами и мифологическими чудовищами, в полутьме казавшимися еще причудливее, высокие, будто церковные подсвечники, черные, длинные скамьи вместо стульев или кресел: нет, Бунину нравиться это не могло, и, несомненно, он чувствовал родство этой обстановки с тем, что было ему ненавистно в литературе. Он демонстративно молчал. Усмешка изредка кривила его губы. На маленькой, низкой сцене, в глубине зала, шла пантомима по шницлеровскому «Шарфу Коломбины». Потом появились хористы, принялись петь незатейливые новейшие частушки:

Ты, Кшесинская, пляши,
Вензеля ногой пиши...

Это были первые революционные месяцы, весна 1917 года: уступка политике. Частушки, по-видимому, окончательно испортили Бунину настроение. Он поспешно вышел. Никто его не провожал.

Помню, у меня и в мыслях не было: подойти к нему, представиться, познакомиться. Будь вместо него кто-нибудь из столпов символизма или даже другого литературного течения, тех, которые казались нам, тогдашней зеленой молодежи, законными и ценными, чувства возникли бы другие. Будь это, например, Андрей Белый, которого мне так и не привелось лично узнать, о чем я до сих пор жалею,— вероятно, я побежал бы за ним, с волнением задал бы ему какие-нибудь наспех придуманные вопросы. Или даже будь это Пастернак, первые стихи которого, помещенные в московском альманахе «Весеннее контрагентство муз», нас, петербургских акмеистов и полуакмеистов, ошеломили и очаровали. Но Бунин? Прозой мы вообще интересовались мало, придавали ей мало значения,— настолько мало, что, помню, чье-то замечание в Цехе поэтов, чуть ли не самого «синдика», Гумилева: «Как ни велик Достоевский, всего его можно уместить в одно стихотворение Тютчева», замечание это не вызвало ни возражений, ни смеха, хотя был это явный вздор. Стихов Бунина мы недолюбливали: их в нашем кругу, среди друзей и учеников Гумилева, не «полагалось» любить. Я читал «Деревню» и «Суходол», прочел и перечел «Господина из Сан-Франциско». Да, хорошо, говорил я себе, но не в той плоскости хорошо, как бы не в той тональности хорошо, чтобы именно побежать за ушедшим автором, сказать ему несколько слов, похожих на объяснение в любви.

Теперь, вспоминая это, я, конечно, отдаю себе отчет как условны были эти литературные перегородки, как много было за ними ребячества, самодовольства, игры, слепоты. Но в ранней молодости без игры и заблуждений обойтись трудно, чему и в наше время примеров без счета. Так было, так будет.

Прошло лет десять: из разряда тех лет, в которых каждый прожитый день должен быть зачтен за месяц, если не больше. Я был у Мережковских, на их даче, недалеко от Ниццы, где обычно проводил лето. За чайным столом Зинаида Николаевна Гиппиус что-то рассказывала об Акиме Волынском, незадолго перед тем скончавшемся, упорно называя его не Волынским, а Флексером, как в действительности и была его фамилия. Неожиданно в саду, за деревьями, раздался громкий, веселый, бодрый голос:

— Что, дома вы? Или, может быть, нарочно от меня попрятались?

И на террасу поднялся человек, всем обликом и повадкой своей производивший такое же впечатление бодрости и веселия, как и его голос. Я не сразу сообразил, кто это, и только когда Гиппиус сказала Мережковскому: «Ну, вот видишь, а ты все вздыхал, что Иван Алексеевич нас совсем забыл!», только тогда узнал Бунина.

С возрастом он стал красивее и как бы породистее. Седина шла ему, шло и то, что он сбрил бороду и усы. Появилось в его облике что-то величавое, римски-сенаторское, усиливавшееся с течением дальнейших лет. Бунин был очень оживлен, сказал, что заставил себя вырваться только на часок-другой, «а то пишу, пишу, не отрываясь». Однако от расспросов Зинаиды Николаевны уклонился. «Да ведь вам и не интересно, вы ведь

считаете, что я не писатель, а описатель... Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!»

Могу засвидетельствовать, что словечка этого — «описатель», — вкравшегося в одну из критических статей Гиппиус, он действительно не забыл. К концу жизни Мережковских отношения их с Буниным испортились, но в то время еще были дружескими, хотя и тогда скорей поверхностно-дружескими, с чем-то ироническим, недоверчивым с обеих сторон. Упоминание о мнимом «описательстве» я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не «описывает» природу или быт, а воссоздает их. «Она выдумщица, она ведь хочет того, чего нет на свете», говорил Бунин, при этом полузакрывая глаза и не без манерности отводя руку, будто что-то отстраняя, в подражание гиппиусовской манере чтения. Однако остроту ее ума он признавал, как признавал и суховатую прелесть ее поэзии, ее «электрических», как он выражался, стихов.

После этой встречи у Мережковских я стал видеться с Буниным довольно часто. Но по-настоящему узнал его, сблизился с ним, много позже, во время войны, и остался близок до самой его смерти. Сначала что-то не ладилось. Меня смущал и стеснял его иронический тон в беседах, правда, добродушный. Бунин подтрунивал «над всеми вами, декадентами» и вдруг пристально смотрел в глаза, когда говорил что-нибудь, по его мнению, существенное, важное, будто проверяя, понял, одобрил или ничего не понял и потому заранее отвергает? Спорить он не любил, споры быстро прекращал, что, впрочем, мне в нем нравилось. Однажды, в одну из первых встреч, после короткого разговора о «Мадам Бовари», — Бунин был великим поклонником Флобера, — я заметил, что, конечно, роман этот очень хорош, но ставить его в один ряд с «Анной Карениной» невозможно. Иван Алексеевич удивленно прищурился: «А, значит, вы признаете Толстого? А я-то, признаться, полагал, что он для вас устарел». «Уста... рел», — повторил он с растяжкой, будто жалея бедненького Толстого, от которого отвернулись просвещенные молодые люди, ушедшие далеко вперед. Впоследствии мы мало-помалу договорились, что Толстой как бы вне времени, и вообще договорились до многого, многого, ошибочно и главным образом по моей вине отдалявшего меня от Бунина в первые годы знакомства.

Он был на редкость умен. Но ум его с гораздо большей очевидностью обнаруживался в суждениях о людях, и о том, что несколько расплывчато можно назвать жизнью, чем в области отвлеченных логических построений. Людей он видел насквозь, безошибочно догадывался о том, что они предпочли бы скрыть, безошибочно улавливал малейшее притворство. Думаю, что вообще чутье к притворству, — а в литературе, значит, ощущение фальши и правды, — было одной из основных его черт. Вероятно, именно это побудило Бунина остаться в стороне от русского доморощенного модернизма, в котором по части декламации и позы далеко не все было благополучно. Был ли он, однако, полностью прав в своей брезгливой непримиримости, не проглядел ли чего-то такого, во что вглядеться стоило, не обеднил ли себя, отказавшись прислушаться к отдельным голосам, по природе чистым, звучавшим в шумном, нестройном хоре русской литературы начала нашего века, — преимущественно в поэзии? Не оказался ли высокомерно-рассеян к содержанию, к духовной особенности эпохи, отраженной в безотчетном смятении, в предчувствиях, в тревоге и надежде, которыми поэзия эта была проникнута, — отчетливее и глубже всего, конечно, у Блока? Вопрос это спорный, и лично у меня на счет бунинской дореволюционной литературной позиции до сих пор остаются сомнения. Он часто на эти темы говорил, с удовлетворением, даже с удовольствием к ним возвращался, вспоминая далекие годы, когда Леониду Андрееву или двум-трем другим тогдашним кумирам отдавались в журналах первые места, платились огромные гонорары, а он, Бунин, пребывал в тени: приятной, почетной, прохладной, но все-таки в тени. Он радовался своему долгожданному реваншу, доказывал свою дальновидность и правоту, гордился тем, что Чехов, — «Да, да, один только Чехов!» — предсказал ему очень большое литературное будущее и реванш предчувствовал. У меня никогда не хватило смелости спросить его, помнит ли он то, что о его писаниях сказал Толстой, и никогда, ни в одном разговоре, он толстовского отзыва о себе не коснулся. Конечно, он знал его и, вероятно, с горечью помнил, что Толстой признал прочитанный им рассказ Бунина пустоватым, хотя и написанным так, как «ни мне, ни даже Тургеневу не написать». Должен, однако, подчеркнуть, что на его глубочайшем преклонении перед Толстым этот двоящийся приговор ни в какой мере не отразился и что за все мои встречи с Буниным я не слышал от него ни одного .сколько-нибудь скептического, мало-мальски неприязненного слова о Толстом. Может быть, он отчасти был согласен с Алдановым, считавшим, что замечание насчет «меня и даже Тургенева» должно быть всяким писателем воспринято как нечто чрезвычайно лестное. Да надо принять во внимание ведь и то, что Толстой ничего, кроме юношеских произведений Бунина, не знал и ни «Деревни», ни «Суходола», положивших начало его художнической зрелости, прочесть не успел.



О Толстом он говорил постоянно. Вспоминал, как в начале девяностых годов пришел к нему в Хамовники, пытался даже по своей привычке изобразить Толстого. «Быстрый, страшный, со своими страшными, серыми, глубоко запавшими глазами... я даже чуть...», — но тут следовало несколько слов, которые воспроизвести в печати невозможно. Любил рассказывать, как Толстой нахмурился, когда он простодушно, желая сказать что-нибудь такое, что тому понравилось бы, упомянул о все большем распространении Обществ Трезвости.

— Общества Трезвости? Это что такое? Собираются и болтают, что не надо пить водки, да? Если уж собираются, то надо пить водку.

Из-за Толстого произошло у меня и расхождение с Буниным, правда, единственное. Я поместил в «Современных Записках» довольно большую статью, где писал о влиянии Толстого на бунинское творчество. В конце статьи я заметил, что влияние это не идет далеко вглубь и что духовная сущность толстовских писаний, в особенности поздних, осталась Бунину чужда. В статье была фраза, формально, пожалуй, неудачная, но, как мне и теперь представляется, не совсем, — нет все-таки не совсем, — ошибочная: смысл ее состоял в том, что в Бунине есть что-то от Льва Толстого и что-то другое, от этакого бравого патриота-служаки, молодцеватого командира полка, «слуги царю, отца солдатам», никаких вольностей от веками установленного порядка не допускающего. Бунин жестоко обиделся. Если при встречах он и здоровался со мной, то даже руку подавал как-то небрежно, глядя в сторону, и только после присуждения ему Нобелевской премии, во всеобщем тогдашнем возбуждении и радости, добрые мои отношения с ним полностью восстановились и все улучшались, укреплялись до конца его жизни. Добавлю, что этот «командир полка» был в нем чертой скорей поверхностной, больше всего заметной в его нетерпеливых, раздраженных восклицаниях, как только задеты оказывались вопросы общественные.

Едва ли тому же следовало бы приписать его гневный отказ признать превосходство этики над эстетикой, что так существенно для Толстого, — или даже их толстовскую нерасторжимость, — да с течением времени многое в бунинских внутренних противоречиях и сгладилось, может быть, под воздействием всего пережитого и, как говорится, «переосмысленного» во время войны. Однако какое-то безотчетное противостояние Толстому не исчезло у Бунина никогда, и если перечесть, например, «Несрочную весну», один из самых восхитительных, самых вдохновенных его рассказов, то нельзя не почувствовать, что по замыслу и устремлению что-нибудь более антитолстовское трудно себе и представить. «Красота спасет мир», — сказал Достоевский. Бунин Достоевского терпеть не мог, но с этим его утверждением, пожалуй, согласился бы, хотя и разошелся бы в истолковании понятия красоты.

Не уверен, что правильно было бы назвать его блестящим собеседником, златоустом, по-французски «козэром», кем-то вроде Анатоля Франса, которого в парижских гостиных люди заслушивались, предвкушая заранее удовольствие от встречи, заранее зная, что предстоит демонстрация искрометного салонного красноречия с импровизированными афоризмами и парадоксами. Ораторских способностей у Бунина не было никаких, в противоположность Мережковскому, писателю творчески бедному, но оратору несравненному, когда-то вызвавшему у сидевшего в зале Блока желание, — как записано в блоковском дневнике, — поцеловать его руку.

Бунин вовсе не был красноречив. Но когда он бывал «в ударе», был более или менее здоров, когда вокруг были друзья, его юмористические воспоминания, наблюдения, замечания, подражания, шутки, сравнения превращались в подлинный словесный фейерверк. Он был не менее талантлив в устных рассказах, чем в писаниях: в этом утверждении нет ни малейшего преувеличения. Слушая Бунина, я понял, почему больной, хмурый Чехов ходил за ним в Крыму чуть ли не по пятам. Перед Толстым Бунин благоговел и робел, перед Чеховым давал себе волю, и, вероятно, в молодости его разговорный и имитаторский дар был так же удивителен, каким остался до глубокой старости. В беседе с глазу на глаз он держался гораздо более сдержанно. Ему нужна была аудитория, хотя бы самая маленькая, в два-три человека, и тогда он расцветал, тогда бывал неутомим и, казалось, сам наслаждался портретами и карикатурами, которые рисовал.

Пример: рассказ о том, как после избрания его почетным академиком он впервые явился в Академию наук.

— Огромный, холодный зал, тишина, все сидят неподвижно в ожидании президента Академии, великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. За окнами большие, мокрые хлопья снега, тающего тут же на стеклах, деревья, гнущиеся под ветром с залива. Четверть часа, полчаса, президента все нет и нет... Возле меня сидел древний старичок в мундире с орденами, с каким-то белым пухом на голове вместо волос, сидел и дремал. Вдруг он очнулся, взглянул в окно, надел очки, недовольно покачал головой и тронул меня за руку: «А изволите ли помнить, ваше превосходительство... когда Крылова... баснописца... хоронили, точь-в-точь такая же погода была».

Все предыдущее, до самой последней фразы, я восстанавливаю по памяти и за точность каждого слова не ручаюсь. Но последнюю фразу помню совершенно точно, и надо было слышать, с каким столетним дребезжанием в голосе Бунин ее произнес, весь сгорбившись, и сделав особое ударение на «баснописце».

Напомню, что Крылов скончался в 1844 году.

---

Да, Достоевского он терпеть не мог. «Тайновидец духа!» — возмущался Бунин, вспоминая, что Мережковский в нашумевшей книге, вышедшей в начале столетия, назвал «тайновидцем духа» Достоевского в противоположность «тайновидцу плоти», Толстому. «Тайновидец духа... да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа. Что за чепуха!»

Не раз он говорил, что Достоевский был «прескверным писателем», сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить не к чему. В своем деле я, мол, знаю толк лучше всех вас.

— Да, воскликнула она с мукой. — Нет, возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

— Иван Алексеевич, побойтесь бога, этого у Достоевского нигде нет!

— Как нет? Я еще вчера читал его... Ну, нет, так могло бы быть! Все выдумано, и очень плохо выдумано.

Помню, однако, что однажды он сказал, — но именно с глазу на глаз без «аудитории»:

— Всех этих его сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, Иванов Карамазовых, всяких там Лядащенок или Фердыщенок я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу и точка. И убежден, что я прав... Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестницы с кошками, этот голодный Раскольников с горящими глазами и топором за пазухой, поднимающийся к старухе процентщице... это удивительно. Пушкинский Петербург — блестящий, парадный, «люблю тебя, Петра творенье», а он первый показал что-то совсем другое, изнанку пушкинского...



— А разве не Гоголь?

— Да, Гоголь, верно... Акакий Акакиевич и все в этом роде... верно! Но Гоголь — лубочный писатель. Великий, замечательный, необыкновенный, а все-таки лубочный.

Это определение Гоголя, как лубочного писателя, я слышал от Бунина несколько раз и несколько раз просил его объяснить, в чем он лубочность видит. Но ничего не добился.

— Ну, лубок... разве вы не знаете, что такое лубок? Вот и у Гоголя лубок.

---

Не могу привести все его литературные суждения и отзывы. Кое-что у меня оказалось записано, но очень немногое. Да и из записанного далеко не все сохранилось. Впрочем, некоторые замечания врезались мне в память, особенно те, которые относятся к языку и стилю.

Однажды, отвечая Ивану Алексеевичу на вопрос, из-за чего поссорились два молодых парижских поэта, я сказал:

— Недоразумение у них произошло на почве...

Бунин поморщился и перебил меня:

— На почве! Бог знает, как все вы стали говорить по-русски. На почве! На почве растет трава. Почва бывает сухая или сырая. А у вас на почве происходят недоразумения.

Я возразил, что если нельзя употребить слово «почва» в переносном значении, то нельзя сказать, например, «мне улыбнулось счастье» или даже «он вспыхнул». Бунин спорить не стал.

— Да, да, конечно... Я ведь и сам иногда так говорю. Но неужели вы не чувствуете, что это «на почве» звучит по-газетному? А хуже нашего теперешнего газетного языка нет ничего на свете.

---

Другие бунинские замечания, по памяти или по сохранившимся записям. — Читал я на днях Ренана «Жизнь Иисуса». Не усмехайтесь, пожалуйста, я иногда тоже читаю серьезные книги. Ваша приятельница Зинаида притворяется, что читает, а я в самом деле читаю. Но Ренан невыносим. Он из Христа сделал какого-то симпатичного молодого неврастеника.

— Помните, Толстой сказал об этой книге: «Детская, подлая, пошлая шалость»?

— Как, как? Подлая, пошлая шалость? Ах, как хорошо, как верно! Да, умел сказать Лев Николаевич.

---

— Иногда я думаю, не сочинить ли какую-нибудь чепуху, чтобы ничего понять нельзя было, чтобы начало было в конце, а конец в начале. Знаете, как теперь пишут... Уверяю вас, что большинство наших критиков пришло бы в полнейший восторг, а в журнальных статьях было бы сочувственно указано, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а без «новых путей» не обошлось бы! За «новые пути» я вам ручаюсь.

---

— Вы, я слышал, сомневаетесь, не начать ли писать по-французски? Что же, дело ваше. Но послушайте старика, бросьте эти затеи, хотя я и понимаю, как они соблазнительны... Пишите на том языке, с которым

родились и выросли. Двух языков человек знать не может. Понимаете, знать, чувствовать всякую мельчайшую мелочь, всякий оттенок... Что, можете вы, например, подмигнуть читателю по-французски?

---

— Какие болтуны, какие вруны, все эти наши критики, я только руками развожу! Нет, не только теперь, а и прежде, еще тогда, когда царил Михайловский. Выдумали, что в каждой повести каждый человек должен, видите ли, говорить особым своим языком, упрекают, если этого нет... А скажите, разве в жизни каждый действительно говорит особым языком, замечали вы это? Да, правда, министр говорит так-то, а младший дворник иначе. Но чтобы решительно все люди говорили по-разному, каждый по-своему, это сущий вздор. Да и не так это легко, говорить посвоему, пусть критики сами попробуют!

Помолчав, Бунин добавил:

— Я думаю, что скорей интонация у каждого человека своя. Один скажет «идет дождь» так-то, другой скажет «идет дождь» иначе. Но в книге-то будут те же слова «идет дождь», и только по общему характеру человека, если романисту удалось его хорошо изобразить, мы эту интонацию мысленно восстанавливаем.

---

О поэзии, в особенности о новых поэтах, Бунин говорил неохотно, по-видимому, чувствуя холодок, прочно установившийся вокруг тех стихов, которые писал он сам. Реванш его над былыми соперниками-прозаиками не распространился на поэзию, и если, скажем, Бальмонт, когда-то гремевший, давно утратил обаяние, то иначе обстояло дело с Блоком. Бунин знал, что сколько бы ни возникало о Блоке споров, верховное его положение в русской поэзии нашего века поколебать трудно. И это его раздражало. Он не любил Блока и, на мой взгляд, часто бывал прав, критикуя блоковский стиль, расплывчатость блоковских образов. Но если в ответ, в упрек ему кто-нибудь читал две строчки Блока, из тех, которые проникнуты вещей, почти таинственной музыкой, он нервно пожимал плечами,— а однажды, помню, сказал:

— Неужели вы думаете, что я не понимаю, что в этой мистической цыганщине сводит всех вас с ума? Но меня вы с ума не сведете.

Эти его слова оказались у меня записаны и привожу я их точно. Если не ошибаюсь, тогда же я рассказал ему о Листе, который в ответ на скептические замечания о Вагнере не говорил большей частью ничего, а садился за рояль и наигрывал несколько тактов из «Тристана». Бунину рассказ понравился, он неожиданно повеселел и с добродушной усмешкой заметил: «Отлично, вот и я на все ваши ехидства отвечать больше не стану, а буду наизусть читать полстранички из «Жизни Арсеньева», чтобы вы знали, с кем имеете дело». Постоянная его черта: обезоруживающий юмор, непосредственный, талантливый, как вся его натура.

Допустимо ли было бы сказать, что Бунин отвергал Блока отчасти из ревности? Невозможного в таком предположении нет ничего: ревность, случалось, мучила самых великих писателей и художников, хотя в этом они не признались бы или не отдавали себе в этом отчета. Несомненно, блоковская поэзия была Бунину действительно не по душе. Но славу Блока он воспринимал как нечто для себя обидное, почти оскорбительное. Он не считал себя прозаиком, который тоже пишет и стихи, как, например, Тургенев, нет, он придавал своим стихам очень большое значение и с горечью должен был сознавать, что как поэт остался в тени. Откровенного разговора о том, в какой именно области поэзия его беднее блоковской, т. е. о том, что стихи его пусть стилистически и безупречны, но лишены блоковского завораживающего звучания,— такого разговора даже начать с ним было бы нельзя. Если бы какой-нибудь развязный смельчак подобный разговор затеял, ни к чему, кроме гневных выкриков, он не привел бы и, пожалуй, лишь укрепил бы Бунина в его отрицании.



Иннокентия Анненского он знал очень мало, как, впрочем, проглядели Анненского почти все его сверстники. Зинаида Гиппиус как-то взяла у меня «Кипарисовый ларец» — «любопытно мне взглянуть, чем это вы так восхищаетесь»,— и через несколько дней вернула мне книгу с замечаниями на полях, настолько пренебрежительными и близорукими, что экземпляр этот следовало бы ради ее памяти уничтожить. Уверен, что трудa вчитаться в стихи Анненского она себе не дала. Нет, Гиппиус, конечно, заранее решила, что если в свое время она не обратила на эти стихи внимания, то, значит, внимания они и не заслуживают. Бунин рассказывал о единственной своей встрече с Анненским в Крыму:

— Сидел на террасе с пледом на ногах, читал что-то французское... Кажется, кроме «здравствуйте» и «до свидания», мы ничего друг другу и не сказали... Вы что, действительно думаете, что это был замечательный поэт, или так, больше оригинальничаете?

Помню при этом пристальный бунинский взгляд, тот, который я не раз замечал у него, когда он предполагал или хотя бы только допускал в собеседнике притворство.

К Федору Сологубу у него тоже ни малейшего интереса не было, но, по-видимому, интерес мог бы возникнуть. Утверждаю это на основании короткого разговора, незадолго до смерти Бунина.

Сологубом владело в старости нечто вроде навязчивого воспоминания: пение Патти. Он слышал ее еще в восьмидесятых годах и не в силах был забыть этот голос, по всем дошедшим до нас свидетельствам действительно единственный, несравненный. О том, что Сологуб неизменно сводил к Патти любой разговор, рассказал в своих воспоминаниях о Блоке — или не ручаюсь, может быть, в каких-нибудь других своих записках — Андрей Белый. Мне лично пришлось однажды убедиться в том же. Было это в редакции горьковской «Всемирной литературы». Сологуб стоял, окруженный несколькими сотрудниками-поэтами, и, будто весь уйдя в далекое прошлое, тихо повторял: «Да, Патти, Патти... никто никогда так не пел, никто петь так больше не будет».

Однажды я рассказал об этом Бунину, не предполагая, что рассказ произведет на него впечатление. Но Иван Алексеевич сразу умолк, задумался и после довольно долгого молчания сказал:

— А вот... я ведь считал Сологуба истуканом!

Не знаю, ошибся ли я, но мне тогда показалось, что сологубовская верность воспоминанию о чудесном женском голосе обернулась в его сознании чем-то схожим с верностью лермонтовской «души младой», воспоминанию о пении ангела. «По небу полуночи...». Случай этот меня поразил, как свидетельство своеобразия и сложности бунинского отношения к поэзии,— отношения, сближавшего его сквозь отвергаемые стилистические приемы, с тем, что он считал неприемлемым: вопреки его вражде к Блоку, полному равнодушию к Ахматовой, язвительным насмешкам над Пастернаком и многому другому. Подобные же «вопреки», только в тысячу раз усиленные, бесконечно более противоречивые следовало бы повторить, если бы пришлось писать об отношении Льва Толстого к поэзии. Кое в чем толстовское представление о поэзии Бунин принял и усвоил. Но это — большая тема, и мимоходом лучше ее не касаться.

Кстати, Бунин как-то сказал, что те страницы в «Анне Карениной», где Вронский ночью, на занесенной снегом станции, неожиданно подходит к Анне и в первый раз говорит о своей любви,— «самые поэтические во всей русской литературе».

— А ведь находятся люди, которые сравнивают это со всякими там Сонечками, Грушеньками и Настасьями Филипповнами!

Ради исторической точности должен, впрочем, сделать исправление: Бунин сказал не «люди», а «болваны».

---

Не помню точно, где застала Бунина война, в Париже или в Грассе. Большую часть военных лет он, во всяком случае, провел в Грассе, в «приморских Альпах», как любил вместе с датой указывать в конце написанных им на юге Франции повестей и рассказов. Я провел эти годы в Ницце и довольно часто с ним встречался, особенно в первое

время. Встречи постепенно сделались труднее из-за отсутствия бензина. Автобусы ходили редко, и тридцать — тридцать пять километров, отделяющих Ниццу от Грасса, казались огромным расстоянием.

С этим связан эпизод, врезавшийся мне в память.

Иван Алексеевич приехал в Ниццу около полудня и хотел вернуться домой с трехчасовым автобусом. Я пошел проводить его до станции. Но по пути, увидев перед какой-то лавкой очередь и узнав, что получена ветчина — по тем голодным временам редкость, — он задержался и на автобус опоздал. Следующий отходил только в шесть часов вечера.

Бунин был до крайности раздосадован, но делать было нечего. Мы пошли в соседнее кафе, на улице Феликса Фора, он потребовал коньяку и стал пить рюмку за рюмкой. Сначала разговор был обычный: последние известия по лондонскому радио, которое втайне, тщательно затворив окна, слушали все, расспросы об общих знакомых, многие из которых уехали в Америку, другие же разбрелись кто куда. Мало-помалу Бунин сделался по-хмельному возбужден и принялся говорить о себе, о своих семейных и домашних делах, о близких ему людях. В первый и единственный раз я слышал от него нечто вроде «исповеди горячего сердца», невозможной, немыслимой, если бы он не находился в состоянии, когда ему нужен был слушатель. Непривычная его откровенность меня сначала смутила, — коньяка я не пил, а пил черный кофе, — но потом, почувствовав с его стороны дружеское доверие, сам стал кое о чем его расспрашивать, припоминая то, что иногда замечал или о чем догадывался. Передавать содержание беседы, даже в самых общих чертах, я не считаю себя вправе и надеюсь, никто из биографов Бунина не упрекнет меня в излишней щепетильности. Ничего порочащего для кого-либо из людей бунинского окружения в словах его не было, не в этом дело. Но не рано ли было бы делиться всем тем, чем поделился он, не совсем владея собой, отчасти даже против воли? Не следует ли подождать, скажем, несколько десятилетий, прежде чем предаваться подобным изысканиям и комментариям? Да и тогда, даже и тогда, окажутся ли эти изыскания и комментарии оправданны? Во всяком случае, я убежден, что сам Бунин возмутился бы вмешательством в его личную жизнь, когда бы допущено оно ни было — теперь или через полвека. Единственное, что я хотел бы засвидетельствовать, относится к его жене, Вере Николаевне: о ней Бунин говорил в тот день со страстной преданностью и благодарностью, будто особенно ясно сознавая, что человек он нелегкий и что нелегка должна быть и совместная жизнь с ним. Это, впрочем, было для меня очевидно и без его слов. Двум величайшим русским писателям — Пушкину и Толстому судьба дала жен не совсем таких, какие были бы им нужны, — хотя о больной, несчастной Софье Андреевне это позволительно было бы сказать, имея в виду лишь последние годы ее жизни с мужем. Глядя на Веру Николаевну, я не раз думал, что она вытерпела бы все прихоти Толстого, подчинилась бы всем его требованиям, и вспоминал некрасовские строки: «Делай, что хочешь со мной! Сердце мое, исходящее кровью, всевыносящей любовью полно, друг мой».

---

Война, военные неудачи, положение в России, огромные русские потери — все это чрезвычайно волновало Бунина, особенно в первые годы, когда, казалось, Гитлер может выйти победителем. О настроениях его в это время, да и о более поздних, по окончании войны, сложились легенды. Русская эмиграция не была в военные годы вполне единодушна, что и способствовало возникновению всякого рода россказней. По другим причинам и другим побуждениям не обошлось без легенд и в Советской России.

История, однако, требует истины, а не выдумок или произвольных догадок. Должен без колебания, во имя истины, сказать, что за все мои встречи с Буниным в последние пятнадцать лет его жизни я не слышал от него ни одного слова, которое могло бы навести на мысль, что его политические взгляды изменились. Нет, взгляды эти, всегда бывшие скорей эмоциональными, чем рассудочными, внушенные скорей чувствами, воспоминаниями и впечатлениями, чем твердым, продуманным предпочтением одного социального строя другому, взгляды эти, настроения эти оставались неизменны. Война потрясла и испугала Бунина: испугала за участь России на десятилетия и даже столетия вперед, и этот глубинный страх заслонил в его сознании все то, что в советском строе по-прежнему оставалось для него неприемлемо. Он ждал и надеялся, что война, всколыхнувшая весь народ, придаст советскому строю некоторые новые черты, новые свойства, и был горестно озадачен, когда понял, что этого не произошло. Пишу я эти строки с одним только желанием: сказать о Бунине правду, ту, которую я видел и знал, не добавляя ничего от себя, не позволяя себе оценки, положительной или отрицательной. Ничьи возражения, никакие домыслы не убедят меня, что правда могла иногда оказаться и другой.



За ходом военных действий Бунин следил лихорадочно и сетовал на союзников, медливших с открытием второго европейского фронта. Гитлеровцев он ненавидел, и стал ненавидеть еще яростнее, когда вслед за сравнительно беспечными, даже добродушными итальянцами южная часть Франции была оккупирована именно ими. Каждый день тут же, в двух шагах, мы убеждались в их дисциплинированной бесчеловечности, каждый день давал нам возможность предвидеть то, во что они обратили бы мир в случае своего торжества.

Бунин не в состоянии был себя сдерживать. Однажды я завтракал с ним в русском ресторане на бульваре Гамбетта, недалеко от моря. Зал был переполнен, публика была в большинстве русская. Бунин по своей привычке говорил очень громко и почти исключительно о войне. Некоторые из присутствовавших явно прислушивались к его словам, может быть, и узнали его. Желая перевести беседу на другие темы, я спросил его о здоровье, коснулся перемены погоды: что-то в этом роде. Бунин, будто бравируя, во всеуслышание воскликнул, — не сказал, а именно воскликнул: — Здоровье? Не могу жить, когда эти два холуя собираются править миром!

Два холуя, т. е. Гитлер и Муссолини. Это было до крайности рискованно. По счастью, бунинская смелость последствий для него не имела. Но могло бы быть и иначе, т. к. доносчиков, платных или добровольных, так сказать, «энтузиастов», даже не требовавших за свои услуги вознаграждения, развелось в Ницце достаточно, и некоторые были известны даже по именам.

Когда мы вышли, я упрекнул Бунина в бессмысленной неосторожности. Он ответил: «Это вы — тихоня, а я не могу молчать». И лукаво улыбнувшись, будто сам над собой насмехаясь, добавил: «Как Лев Николаевич!»

К концу войны, после освобождения Франции, Бунин вернулся в Париж, еще полный сил и даже замыслов. Русский Париж в первые послевоенные дни находился в большом возбуждении. Было много споров, немало раздоров, а, пожалуй, еще больше иллюзий и надежд. Казалось, в жизни эмиграции наступает перелом, причем во Франции эти настроения распространились гораздо шире и быстрее, чем в Америке. Из Москвы, например, приехал Илья Эренбург, выразивший желание встретиться с молодыми эмигрантскими поэтами, что прежде было бы невозможно (пишу «молодыми поэтами» по давней, до сих пор удержавшейся привычке: Зинаида Гиппиус, однако, не без основания называла их еще в тридцатых годах «подстарками»). Вместе с Эренбургом приехал и Симонов, два или три раза встретившийся с Буниным.

Об этих встречах Симонов не так давно рассказал в московской печати. В его воспоминаниях, по-моему, не все точно, впрочем, лишь в мелочах. Обед, о котором он пишет и на котором присутствовал и я, был не у Бунина, а у Бориса Пантелеймонова, состоятельного человека, довольно популярного в то время писателя, которому покровительствовала Тэффи. Мне представляется, что именно у Пантелеймонова Бунин с Симоновым и познакомился, потому что я хорошо помню, как он с изысканной, слегка манерной, чуть ли не вызывающе-старорежимной вежливостью обратился к нему, едва мы сели за стол:

— Простите великодушно, не имею удовольствия знать ваше отчество... Как позволите величать вас по батюшке?

Если была встреча и до этого, как пишет Симонов, то, очевидно, совсем короткая, ограничившаяся рукопожатием.

В начале обеда атмосфера была напряженная. Бунин как будто «закусил удила», что с ним бывало нередко, порой без всяких причин. Он притворился простачком, несмышленышем и стал задавать Симонову малоуместные вопросы, на которые тот отвечал коротко, отрывисто, по-военному: «Не могу знать».

— Константин Михайлович, скажите, пожалуйста... вот был такой писатель, Бабель... кое-что я его читал, человек, бесспорно, талантливый... отчего о нем давно ничего не слышно? Где он теперь?

— Не могу знать.

— А еще другой писатель, Пильняк... ну, этот мне совсем не нравился, но ведь имя тоже известное, а теперь его нигде не видно... Что с ним? Может быть, болен?

— Не могу знать.

— Или Мейерхольд... Гремел, гремел, даже, кажется, «Гамлета» перевернул наизнанку... а теперь о нем никто и не вспоминает... Отчего?

— Не могу знать.

Длилось это несколько минут. Бунин перебирал одно за другим имена людей, трагическая судьба которых была всем известна. Симонов сидел бледный, наклонив голову. Пантелеймонов растерянно молчал. Тэффи, с недоумением глядя на Бунина, хмурилась. Но женщина это была умная и быстро исправила положение: рассказала что-то уморительно-смешное. Бунин расхохотался, подобрел, поцеловал ей ручку, к тому же на столе появилось множество всяких закусок, хозяйка принесла водку шведскую, польскую, русскую, у Тэффи через полчаса оказалась в руках гитара — и обед кончился в полнейшем благодушии.

Знаю со слов Бунина, что через несколько дней он встретился с Симоновым в кафе и провел с ним с глазу на глаз часа два или даже больше. Беседа произвела на Ивана Алексеевича отличное впечатление: он особенно оценил в советском госте его редкий такт. Говорили они, вероятно, не только о литературе, должны были коснуться и политики. Думаю поэтому, что Симонов мог бы подтвердить правильность того, что я сказал о бунинских политических настроениях во время войны и после ее окончания.

---

В последние годы жизни Бунин был тяжело болен, или, вернее, мучительно слаб. Свела его в могилу, по моим наблюдениям и догадкам, не какая-нибудь одна, определенная болезнь, а скорей общее истощение организма. Больше всего он жаловался на то, что задыхается: писал об этом в письмах, говорил при встречах.

Помню его сначала в кресле, облаченного в теплый, широкий халат, еще веселого, говорливого, старающегося быть таким, как прежде, — хотя с первого взгляда было ясно и с каждым днем становилось яснее, что он уже далеко не тот и таким, как прежде, никогда не будет. Помню последний год или полтора: войдешь в комнату, Иван Алексеевич лежит в постели, мертвенно-бледный, как-то неестественно прямой, с закрытыми глазами, ничего не слыша, — пока Вера Николаевна нарочито громким, бодрым голосом не назовет имя гостя.

— Ян, к тебе такой-то... Ты что, спишь?

Бунин слабо поднимал руку, силился улыбнуться.

— А, это вы... садитесь, пожалуйста. Спасибо, что не забываете.

Было бы с моей стороны нелепо утверждать, что он радовался именно моим посещениям. Но, по-видимому, — и об этом мне не раз говорила Вера Николаевна, — я принадлежал к числу тех людей, разговор с которыми отвлекал его от тяжелых предсмертных мыслей. Боялся ли он смерти? Если до некоторой степени и боялся, в чем я не уверен, то страх этот был в его сознании заслонен другим чувством: острой тоской, глубокой скорбью об исчезновении жизни. К жизни он был страстно привязан, не мог примириться с мыслью, что ей настал конец. Никогда я с ним об этом, конечно, не говорил, наоборот, убеждал его, что он поправится, что у него сегодня, например, вид гораздо лучше, свежее, чем в прошлый раз, — как это всегда делается, как это надо делать, потому что больным нужен обман. «Как делишки?», хочет у Толстого спросить врач, входя к умирающему Ивану Ильичу, и только видя его состояние, понимает, что пристойнее на этот раз обойтись без «делишек». Бунин, конечно, знал, что умирает. О смерти он думал, кажется, больше всего физически: представлял себе, — и даже иногда изображал, — как будет лежать в гробу, каков будет в своем «смертном безобразии» (его подлинные слова). А если и размышлял о возможном или невозможном «после», то едва ли настойчиво. В этом «после», даже если оно будет, и каково бы оно ни было, во всяком случае, не будет того, что он всем своим существом, сердцем, плотью, умом любил: не будет неба, ветра, солнца, не будет повседневных мелочей существования, утрата которых казалась ему величайшим из несчастий. Был ли он религиозен? Если действительно «стиль — это человек», то, вчитываясь в бунинские писания, в склад и тон их, ответить приходится скорей отрицательно. Он уважал православную церковь, как установление, сроднившееся в течение веков с дорогой ему Россией, он ценил красоту церковных обрядов. Но не более того. Истинная, требовательная, вечно встревоженная религиозность была ему чужда, хотя, признаюсь, это с моей стороны только догадка. Бунин, при всей своей внешней, открытой порывистости, был человек с душевными тайниками, куда никому не было доступа. Вера Николаевна рассказала мне, например, что за всю совместную с ней жизнь он никогда, ни единым словом не упомянул о своей рано умершей матери, которую горячо любил. «Как-то, забывшись, что-то хотел сказать о ней и сразу осекся, побледнел и умолк».

Мои с ним беседы, у его постели, были главным образом литературными. Бунин был до мозга костей литератором и мало-помалу оживлялся, когда представлялся случай о литературе поговорить. Принимался бранить Достоевского, или, кашляя, с трудом переводя дыхание, делился впечатлением от чего-нибудь недавно прочитанного (точнее, выслушанного в чтении Веры Николаевны). Постоянно говорил о Чехове, которым в то время усиленно занимался для будущей, оказавшейся уже посмертной книги: с восхищением о чеховских повестях и рассказах, с раздражением и даже недоумением о пьесах, лиризм которых находил нестерпимо слащавым. «И ты улыбнешься, мама!», издевательски повторял он, подражая манерности плохих актрис. «Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах...». По его убеждению, в том, что Чехов, наделенный от природы острейшим слухом к фальши, ввел этот дешевый лиризм в свои пьесы, повинна его жена Книппер, и сделано это было будто бы в уступку ей и ее театральному окружению.

Из советских писателей он высоко ценил дарование Алексея Толстого, но относился к нему крайне отрицательно, как к человеку, что, впрочем, широко известно. Года за два до смерти прочел одну из повестей Паустовского, — не помню точно, какую, — пришел в восторг и решил написать об этом автору. Ответа, однако, не получил и сомневался, дошло ли до Паустовского письмо, посланное на адрес Союза писателей. Помню еще его отзыв, в высшей степени одобрительный, о «Василии Теркине» Твардовского.

Наконец, два литературных воспоминания, относящихся к самым последним месяцам жизни Ивана Алексеевича.

Первое — об «Анне Карениной». Повторяю, он однажды назвал главу о встрече Анны с Вронским ночью, на станции, при возвращении в Петербург после московского бала, «самой поэтической во всей русской литературе». Было это сказано в связи с тем, что во время разговора я спросил его, помнит ли он эту главу. Бунин в тот день был особенно слаб. Глаз не открывал, головы с подушки не поднимал, говорил хрипло, отрывисто, с долгими передышками. Тут он, однако, тяжело приподнялся, оперся на локоть и хмуро, почти сердито взглянул на меня:

— Помню ли я? Да что вы в самом деле? За кого вы меня принимаете? Кто же может это забыть? Я умирать буду, и то, на смертном одре, повторю вам всю главу, чуть ли не слово в слово... А вы спрашиваете, помню ли я!

Недавно Валентин Катаев в «Траве забвения» рассказал, что когда-

то,—было это в двадцатых годах,—Бунину хотелось «исправить» толстовский роман, подчистить, выбросить то, что казалось ему лишним. Хорошо, что он этого не сделал. Вероятно, в конце концов ему стало ясно, что затея легла бы пятном на его памяти. Бунин, несомненно, блестяще справился бы со своей задачей: кое-что укоротил бы, другое изменил. Получился бы превосходный, сжатый любовный роман. Но «Анна Каренина»—ведь это не столько роман, хотя бы и превосходный, а живой мир, с неустранимыми шероховатостями, с необъяснимыми случайностями, как во всем, что нас окружает. Именно в этом ведь чудо толстовского творчества. Да и не почувствовал ли Бунин, не должен ли был смутно сознаться, что даже ему, взыскательному, безупречному мастеру, такую главу, как только что упомянутая, или, например, те несравненные тридцать страниц, которые предшествуют самоубийству Анны, незабываемой, заключительной «свече», даже и ему никогда все-таки не написать, и что раз это так, то не стоит выбрасывать или изменять что-то кажущееся «лишним»?

Второе воспоминание—о Лермонтове.

Осенью 1953 года я должен был уехать в Англию и пришел к Ивану Алексеевичу проститься, не зная, что вижу его в последний раз. Не могу теперь с точностью установить, с чего начался разговор, вероятно, с чего-нибудь касающегося поэзии.

Бунин, сделав усилие, неожиданно громко, твердо, внятно сказал:

— Всю жизнь я думал, что первый русский поэт—Пушкин. А теперь я знаю, что первый наш поэт—Лермонтов.

И с каким-то почти чувственным наслаждением произнес последнюю строку из «Дубового листка», действительно чудесную в звуковом отношении:

И корни мои омывает холодное море.

Позднее я рассказал об этом в печати, подчеркнув, что Бунин сказал именно «знаю», а не «считаю» или «нахожу». Многие были удивлены. Казалось мало вероятным, чтобы такой «традиционалист», как Бунин, мог в конце жизни отказаться от суждения, бывшего для него всегда бесспорным. Меня даже заподозрили в выдумке, внушенной особым пристрастием к Лермонтову. Поэтому я с удовлетворением прочел то же самое в статье Алданова, помещенной после смерти Бунина в «Новом журнале». Очевидно, Бунин говорил об этом и ему.

Добавлю, что «переоценка ценностей», допущенная тогда Иваном Алексеевичем, могла бы и не быть окончательной, вопреки твердому, настойчивому «знаю». Под воздействием лермонтовских стихов он высказал мнение, которое было бы иным, т. е. осталось бы прежним, вспомни он накануне не Лермонтова, а Пушкина. Кто в самом деле разрешит вечный, со школьной скамьи до гроба, русский спор о первенстве того или другого из этих двух поэтов? Да и применима ли вообще табель о рангах к литературе и искусству?

---

На похоронах Ивана Алексеевича я не присутствовал. Смерть его болезненно отозвалась не только в сознании его друзей. Было общее, согласное чувство, что с этой утратой что-то оборвалось, хотя никто не ждал от Бунина новых книг, дальнейшего творчества. По возрасту он принадлежал скорей к нашему веку, но больше чем кто-либо другой напоминал своим присутствием о связи столетий и о роковой опасности исчезновения преемственности и пренебрежения ею. Он не торопился жить вровень с эпохой, не уступал жалкому желанию, столь часто встречающемуся даже у самых талантливых людей, быть в согласии с последней умственной модой, находить в этой моде особую ценность и привлекательность. С величавой простотой и величавым спокойствием он жил чуть-чуть в стороне от шумного, суетливого и самонадеянного века, недоверчиво на него поглядывая и все больше уходя в себя. Он был символом связи с прошлым: не в каком-либо реставрационном, социально-политическом смысле, а с прошлым, как с миром, где всему было свое место, где не возникало на каждом шагу безответное недоумение, где красота была красотой, добро—добром, природа—природой, искусство—искусством... Я упрощаю, конечно. Никогда человек не жил в мире, где все окружающее было бы ему понятно, и Бунин не был исключением, Бунин ничем не мог этой непонятности, этой неизвестности предотвратить. Но как с последним лучом солнца от него еще исходил свет, ясный и щедрый, а с исчезновением его стало как будто темнее и холоднее.



Позволю себе поделиться личным впечатлением: я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться,—именно потому, что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня. Все встречавшиеся с Буниным знают, что он почти никогда не вел связных, сколько-нибудь отвлеченных бесед, что он почти всегда шутил, острил, притворно ворчал, избегал долгих споров. Но как бывают глупые препекания на самые глубокомысленные темы, так бывает и вся светящаяся умом и скрытой содержательностью речь о пустяках. У Бунина ум светился в каждом его слове, и обаяние его этим усиливалось. А обаятелен он бывал, как никто, когда хотел, когда благоволил быть обаятельным. Но даже не это было важно. Важно было, что его словами, о любой мелочи, говорило то огромное, высокое, то лучшее, что у нас было: дух и голос русской литературы. И вместе с тревогой от сознания, что это уходит, было и удовлетворение от того, что это еще здесь, перед нами, за столом, в халате, с книгой в руках, испещренной на полях сердитыми, пусть даже не всегда справедливыми замечаниями.

Анна Ахматова писала о «великом русском слове», которое должно быть в сохранности передано нашим внукам и правнукам. Это не только великое слово, это и особое слово, без которого мир был бы беднее, както более плоским, и нет никакого патриотического самообольщения в признании истины, которую признают и многие из самых проницательных иностранцев.

Бунин—один из редких наших старших современников, который об этой истине напомнил.

---

*Навстречу XIX Всесоюзной партконференции*

Ю. Апенченко

# СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

На памяти ныне работающих поколений было столько всяких новаций, предназначенных усовершенствовать наш хозяйственный и общественный механизм, и о них объявляли так торжественно и громогласно, что и слово перестройка поначалу было воспринято многими как еще один лозунг текущего, что называется, момента. Перестройка так перестройка, поживем — увидим. Но вот прошло три года со времени апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года, черты порубежной, и мы убеждаемся, что перестройка не лозунг, а конкретная программа поистине всенародного дела и что программа эта, по известному ленинскому выражению, всерьез и надолго. Как было сказано недавно на февральском Пленуме ЦК, «саму перестройку мы начали под давлением насущных, жизненно важных проблем», и проблемы эти охарактеризованы бескомпромиссно жестко. Темпы экономического развития страны снижались и достигли критической точки, но и такие темпы, как стало теперь ясно, достигались в значительной мере на основе нездоровых конъюнктурных факторов, таких, как торговля нефтью, ничем не оправданное форсирование продажи алкогольных напитков. Если очистить экономические показатели роста от влияния этих факторов, то получится, что на протяжении практически четырех пятилеток мы не имели увеличения абсолютного прироста национального дохода. Это и есть застой. Все мы оказались в положении, когда отступать дальше некуда.

Азы науки действовать по-новому мы постигаем со слов, как будто бы давно и хорошо знакомых. Применительно к экономике, например: хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование. Трудность, однако, в том и состоит, чтобы этим словам возвратить их истинное значение, а это, кроме всего прочего, чрезвычайно сложно психологически. Обратимся хотя бы к расхожему сюжету из сельской жизни, с намертво примерзшим к нему заголовком — «Соседи». Сюжет по видимости прост: два расположенных рядом совхоза или колхоза примерно одинаково обеспечены техникой, удобрениями и прочими материальными ресурсами; но вот казус: одно хозяйство годами возглавляет районную сводку, а другое столь же постоянно ее замыкает. И хотя передовое хозяйство всегда имеет на банковском счету миллион-другой свободных денег, а отстающее — не меньше долгов, живут они в общем-то одинаково, и заработки практически разнятся мало. Сколько перьев обломано об этот сюжет, сколько гневных слов сказано о позорном равнодушии, безынициативности, привычке ехать в рай на чужом горбу, а выводы из писаний и речей следовали, как правило, весьма жалкие: в одном случае председатель, агроном, механизатор, доярка сработали добросовестно, грамотно, смело, в другом — лениво, неряшливо, без интереса. В подоплеке всего виделись причины прежде всего субъективные. Они и в самом деле имеют громадное значение, в этом убеждает практика передовых хозяйств. Но роль таких причин становится по-настоящему заметной, когда достигнута некая общая норма, достаточно высокий уровень деловых, трудовых отношений. Пока их нет, благие рассуждения о том, что плохо работать постыдно, остаются пустым морализаторством. Склонность наша к нему отмирает, к сожалению, не слишком



быстро. Сюжет о соседях в традиционном его толковании остается пока достаточно популярным. Но три года перестройки многое нам открыли. Наверное, это не бог весть какие заповедные тайны экономики, но при многолетней привычке к уравниловке, к обыкновению нагрузить трудягу потяжелее, при нашем завидном умении путем нехитрого сложения крупного успеха и не менее крупного провала вывести вполне благополучный общий показатель, при всем этом открытия последних лет поворачивают умы множества людей к тому, что мы и называем новым мышлением. Пока прибыль и убыток хозяйствования обладают равными правами, ни о каком хозрасчете не может идти и речи. Пока успехи одних отраслей производства будут маскировать разорительно низкий уровень других, из тенет уравниловки нам не выбиться. Пока взаимные обязательства государства и производителя по всей цепочке — от района до центра — легко изменить, а то и отменить срочной директивой, ссылкой на непредвиденные обстоятельства или любым другим требованием разверстки, новый экономический механизм вряд ли обретет надежность.

Наивно, конечно, предполагать, что уже понимание этих все более очевидных истин выведет нас, как своего рода автопилот, на трассу полного хозрасчета. Между намерением следовать самым разумным правилам и результатом, который обещает такое следование, лежит не только время, но толща деформированных противоречивыми подвижками пластов истории, живой, сопротивляющийся материал, и, чтобы достигнуть поставленной цели, сперва необходимо преодолеть его сопротивление. С начала нынешнего года решено, например, перевести на самоокупаемость колхозы и совхозы Российской Федерации. Хотя за первые два года двенадцатой пятилетки сельское хозяйство России стало работать лучше (среднегодовое производство зерна по сравнению с предыдущим пятилетием увеличилось на 14 процентов, мяса — на 12, сахарной свеклы — на 25), общее положение никак нельзя считать благополучным. Колхозы и совхозы республики должны государству 88 миллиардов рублей, это больше, чем стоимость всей производимой за год продукции. Менее трети сильных хозяйств сосредоточивают у себя три четверти всей прибыли, а три четверти долгов приходится на слабые хозяйства. Первый барьер на пути к самоокупаемости, как видим, барьер отсталости. Есть и другой весьма неподатливый пласт действительности. Он — в нас самих. Все мы дети своего времени, хорошего ли, плохого ли, но своего; хорошие ли, похуже ли, но все. И как бы ни хотелось нам сказать, что мучительная полоса застоя безвозвратно ушла в прошлое, это пока что лишь мечтание. Пора застоя, не станем забывать, так или иначе коснулась каждого — и тех, кто принимал время как данность (а таких, похоже, большинство), и тех, кто пытался выгребать против течения (они-то, мне кажется, и идут в первых рядах перестройки), и тех, кто нежился в теплой водице, укрепляя собственное здоровье. Не станем забывать и того, что, как бы горячо ни было наше желание опереться на экономические методы хозяйствования, административно-командная система отнюдь не ушла в прошлое. Она есть, существует, действует. Ни смести одним замахом, ни отменить одним законом ее невозможно; ее придется изживать, терпеливо преодолевая сопротивление.

Беды застоя, о которых столь резко сказано на февральском Пленуме ЦК, не обошли, да и не могли обойти стороной и Ставропольский край. Вот какое положение сложилось там в сельском хозяйстве. В одиннадцатой пятилетке сбор зерна по сравнению с десятой возрос всего на четыре процента. Между тем затраты на производство постоянно увеличивались. В десятой пятилетке гектар колосовых требовал 96 рублей вложений, гектар кукурузы — 139 рублей, а в одиннадцатой соответственно 125 и 198. Такой разорительный путь дальше был заказан, и вскоре после апрельского Пленума ставропольцы предложили сперва в порядке эксперимента перевести колхозы и совхозы края на самоокупаемость. Условия эксперимента были утверждены в июле 1985 года. На дату обращаю внимание особо. Общая концепция перестройки еще не была выработана, маховик затратного механизма продолжал крутиться; главная цель эксперимента и состояла в том, чтобы приостановить это разрушающее экономику движение.

Каким способом?

Чтобы потом не было неясности, надо, видимо, разобраться сперва в понятии самоокупаемость. Признаюсь, оно меня долго сбивало с толку. Ощущение было такое, будто смотришь в видоискатель не наведенного на резкость фотоаппарата и видишь одновременно два изображения предмета, хотя знаешь, что в реальности он один. Ведь с точки зрения здравого смысла, то есть той же реальности, самоокупаемость — это когда предприятие, колхоз или совхоз производят продукцию, с прибылью продают ее, а накопленные средства расходуют на расширение и совершенствование производства, улучшение условий труда и быта людей. Двадцать девять процентов хозяйств России, сосредоточившие в своих руках три четверти всей прибыли от сельского производства, и живут в условиях полной самоокупаемости. Это понятно. Но как быть с остальными хозяйствами, на которые падает три четверти убытков? Ведь они такая же реальность нашей экономики, печальная реальность. Их существование пока подчинено другой логике. Получить средства от государства; произвести запланированную продукцию, не особо считаясь с затратами; покрыть убытки за счет казны. Вот и получается раздвоение взгляда.

Понятно, что никакое постановление не способно превратить убыток в прибыль, самоокупаемость декретом не введешь. Но можно поставить хозяйства в такие экономические условия, при которых они будут прямо заинтересованы производить продукции больше, чем производили раньше. Если свести эти условия к одному слову, то это слово — заработать. Не получить, как прежде, средства из государственного бюджета, а заработать их в виде оплаты за проданные зерно, мясо, молоко. Чем больше продукции, тем больше прибыток.

Естественно, возникает вопрос: но ведь каждое хозяйство начинает действовать по новым правилам со своего уровня, и он у всех разный. Не получится ли так, что чем слабее хозяйство, тем в более трудные условия оно попадет при новом порядке? Нет, не получится. Первый пункт условий эксперимента, начатого летом 1985 года, гласил: «Установить, что объемы производства и продажи государству всех видов сельскохозяйственной продукции определяются колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями самостоятельно. При этом они должны быть, как правило, не ниже среднегодового уровня, достигнутого за предшествующую пятилетку». Как видим, точку отсчета, изначальный уровень устанавливают сами хозяйства. То, что произведено сверх этого уровня, государство покупает по более высокой цене, и надбавки весьма значительны, причем устанавливают их не произвольно, а сообразуясь с возможностями и реальным состоянием каждого конкретного хозяйства. Такой порядок не ослабил, а, напротив, упрочил финансовое положение многих колхозов и совхозов, особенно слабых, денег у них стало больше. В чем же тогда выигрыш государства? В том, что деньги отданы не в долг, часто безнадежный, а заплачены за реальную продукцию. Производство ее в Ставропольском крае и шести районах других краев и областей, поставленных в условия эксперимента, за первый же год работы по-новому увеличилось на 15 процентов, а себестоимость снижена на 13 процентов. Прибыли получено в три раза больше. Почти три четверти капитальных вложений было обеспечено собственными средствами хозяйств.

Как продолжалось движение дальше?

Тут самое время перейти к конкретным наблюдениям.

К моему намерению познакомиться с несколькими хозяйствами разных районов в Ставропольском краевом комитете партии отнеслись скептически. Это, рассудили, может помешать объективности взгляда. Не очутиться бы ненароком в районах и хозяйствах, которые и так у всех на виду. При всей добросовестности целеуказаний это почему-то случается довольно часто. А вот поезжайте-ка, посоветовали, в какой-нибудь район, куда журналисты из Москвы заглядывают редко, потому что ничего выдающегося там нет, да побывайте в различных хозяйствах без подсказки со стороны и выбора, хотя бы, например, в Труновский район, благо он и от Ставрополя недалеко, час езды.



Перед командировкой я прочитал в центральных газетах десятка три статей о ходе ставропольского эксперимента. Ни в одной из них Труновский район упомянут не был. Адрес меня вполне устраивал.

Что же это за район? В нем одиннадцать колхозов и совхозов. До 1985 года все они были убыточными, общая сумма задолженности — около 120 миллионов рублей. В 1986 году хозяйства заработали около 30, а в 1987 году более 30 миллионов рублей прибыли. Среднегодовой уровень производства одиннадцатой пятилетки превышен: мяса — на 30, молока — на 24, зерна — на 76 процентов. В прошлом году выполнены все планы, кроме плана продажи овощей. Такой краткой справкой ввел меня в курс дел секретарь райкома партии Николай Иванович Витохин.

— Куда посоветуете поехать? — спросил я его.

— Вам ведь, наверное, с руководителями хозяйств нужно встретиться? Давайте позвоним, узнаем, кто сейчас на месте. Туда и поезжайте.

Так, сам собой, определился распорядок работы. За неделю я успел побывать в двух совхозах и трех колхозах. Моими собеседниками были директора, председатели, партийные работники, специалисты, механизаторы, чабаны. Люди разного опыта, выучки, возраста, неоднозначно оценивающие многие явления действительности и уж никак не склонные приукрашивать ее, все они шагнули к перестройке от рубежа, о котором один из них сказал: «Ситуация сложилась такая: потерял не свое и нашел не наше. Дальше некуда». Перечитывая записи бесед, я как бы вновь слышу напряженный монолог, прерывистый, разноголосый, но об одном — о необходимости крутых перемен, выстраданности первого решительного к ним шага.

«Директором я, можно сказать, без году неделя. Если точно, то без трех дней год. Но в совхозе человек не новый. Был секретарем парткома. Давнюю историю хозяйства не знаю, ее вообще мало кто знает: народу через совхоз прошло — река. Создавали хозяйство в начале тридцатых годов, на новых землях. Сегодня у нас около двадцати пяти тысяч гектаров пашни — в Нечерноземье на район хватит. А раньше, говорят, было еще больше. Земли, повторяю, были новые, людей на работу возили. Поселки на отделениях, сейчас их четыре, возникали стихийно, начинались с землянок, времянок. Деньги на строительство из бюджета стали давать много позже, а потом прекратили: на жилье, быт средств не хватало, все стало съедать производство. На хуторах позакрывали школы, больнички, магазины. Дорог нет. Разбегаться начал народ. Порубежная черта, я считаю, семьдесят второй год. У нас работало тогда около двух тысяч человек, из них меньше трети жили на центральной усадьбе. А через десять лет осталось 900 работников. Без механизаторов, уточню. Механизаторов от совхоза как бы отделили, передали под другую руку. То есть потери в людях в основном за счет отделений. А ведь земля-то, хозяйство-то остались. На этой кривой — от 2000 к 900 — главные болевые точки: падение дисциплины, равнодушие к результатам труда; урвать сегодня, а дальше хоть трава не расти, пьянство...

Не понимали? Нет, я думаю, все всё понимали. В том и беда. Все всё понимали, да логика жизни была перевернутая. Думали жизнь голым производством заменить. Вытянем производство, а там все само собой образуется. План, план, план любой ценой. Вытяни эту пятилетку, а дальше разберемся. Под план ничего не жалко. Техники тьма — бери не хочу. К восьмидесятому году у нас тракторов где-то около двухсот двадцати было, «Кировцев» почти два десятка, самая по нашим землям машина. И механизаторов вдвое больше против нынешнего. А работать на технике некому. Парадокс! К концу прошлой пятилетки пшеницы собирали меньше двадцати центнеров с гектара. Разве это для нас урожай? Победить хотели железным кулаком, а в результате отделили человека от главного средства производства, от земли».

«Я уже двадцать семь лет экономистом. В разных хозяйствах. И главная забота у нас, экономистов, все эти годы, кроме последних, была одна. Нормы.

Расценки. Мало зарабатывают люди, на сторону глядят? Поубавь нормы, подтяни расценки. Или, наоборот, слишком много зарабатывать стали. Прибавь там, срежь здесь. А как кто работает, это дело десятое. И так снизу доверху. Вот возьмем бригадный подряд. Он ведь был у нас, начинался. И в других хозяйствах порасспросите, был. Только назывался иначе: аккордная система. Уговаривали людей: «Иди на аккорд». Смелые шли. А кончилось чем? Слишком много получают! Режь, экономист, заработок! А ведь не деньги отнимали. Веру. Или, скажем, специалисты. В совхозе за прошлую пятилетку сменилось пять главных агрономов, пять главных зоотехников, я — третий главный экономист. А почему? Хозяйство большое, нагрузка на специалиста, если он весь в деле, огромная. А если не весь? Это вроде бы и неважно. Цена была всем одна: оклад... И раньше, особенно в молодые годы, некоторым коллегам завидовала. Приедем в райцентр с годовыми отчетами. Точно ведь знаю, что в таком-то хозяйстве дела ох как неблагополучны. А в отчет глянешь: картинка! Комар носу не подточит. Главное было, чтобы все на бумаге сошлось...»

«Есть деньги и деньги. Я пять лет проработал директором. Пришел к убыткам, два миллиона в год. Ушел от прибыли, полтора миллиона. Но пока на самоокупаемость не перешли, положение хозяйства от этого, в общем, никак не изменялось. Пока за убытки ты не отвечаешь, а прибыль не твоя, разница между ними невелика».

«Великая беда — пьянство. За головы хватались: пропадает народ, совсем пропадает! А ведь было: «Ребята! Уборку сегодня кровь из носа, а закончить! Район подводим. В конце последней загонки — два ящика водки!» Было ведь...»

В совхозе имени Кирова со мной беседовали его директор Анатолий Семенович Козел, главный экономист Нина Васильевна Афанасьева, главный инженер Иван Александрович Ларкин, звеньевой Валерий Филиппович Политанский; о хозяйстве мне рассказывали также Станислав Пантелеевич Выродов, председатель РАПО, и Станислав Федорович Теряев, секретарь парткома колхоза имени Ворошилова. Мы еще вернемся к этим собеседникам, а пока обратимся к другим свидетельствам.

Иван Андреевич БОГАЧЕВ, директор совхоза «Терновский»: «Были у меня недавно в гостях два писателя. Сели ужинать. Один говорит: «Самая большая наша ошибка — коллективизация». И на меня смотрит. А я отвечаю: «Когда стоишь перед зеркалом, не плюйся. На себя плюешь». Нет, это неправильно рассуждать, будто бы раньше мы и не жили. Как это? У меня сорок семь лет трудовой стаж, и я не жил? Не согласен! Я с одиннадцати годов работаю. На волах пахал. Потом, прогресс, на лошадях. Потом, совсем уж прогресс, на тракторе. И директор, считай, в районе старший. Самая большая беда наша, я скажу, другая. Мы прекрасные слова сказали и в закон возвели: «Все для блага человека!» Только забыли добавить к ним: благо надо заработать. Вот беда истинная. Приходит, понимаешь, богатырь, дверь ногой отворяет; шея медная, грудь колесом, рубаха узлом на пупе завязана. «Здорово, хозяин! На работу возьмешь?» — «А ты кто?» — «Сварщик».— «Отчего не взять, возьму».— «А сколько будешь платить?» — «Сколько заработаешь».— «Нет, так мы не столкуемся...» Вот ведь с чем к перестройке подошли.

Для меня она, наверное, особо трудно начиналась. Я был директором совхоза «Майский». Зерно, подсолнечник, сахарная свекла, овощи, мясо — баранина. Совхоз был прибыльный, рентабельный. И тут же у нас совхоз «Терновский» — молоко, свинина. За десять лет девять миллионов краткосрочных ссуд нахватали. Проели хозяйство. Вот нас и объединили. Подсчитал я, сложил ихний убыток за пятилетку с нашей прибылью: минус полтора миллиона. Хотелось ли мне объединяться? Худая корова съела жирную, сама не поправилась... Дело было летом, середина года. Главное — удержать хозяйство от развала. Поехал, помню, на ферму. А там гулянка. Выводят пьяных восемь человек. Из них шесть женщин. Страшно. Пишу приказ: объявить выговор и лишить ста процентов доплаты по итогам года. А надо мной смеются. Они этой доплаты отродясь не получали. Что будешь делать? Никто ничего не боится, до края люди дошли. Помню, вызвал одного мужика. Тоже виноватого. У меня такое суждение: не выговаривай человеку на ходу, на улице. Позови в кабинет, потолкуй спокойно, без крика. Объясни, в чем он не прав. Если видишь, не делает выводов — накажи. Вот и пригласил такого. А он передает через посыльного: «Если надо, пусть сам придет». Поработал я так месяца три и думаю: ну, либо разрушусь я окончательно, либо...»



Василий Дмитриевич ЗИБОРОВ, механизатор колхоза имени Ворошилова: «Бригадный подряд? Это смотря какое слово считать главным. Если бригадный, так вовсе не обязательно подряд. Если подряд, так вовсе не обязательно бригадный. Собрать механизаторов вместе и дать им норму выработки — какой же это бригадный подряд? А с такого и начинали. Я на свекле работаю. Был у нас экономист. Называть не хочу, покойный он. Этот экономист мне норму давал. То ли тринадцать, то ли семнадцать гектаров была норма. И вдруг на тебе: прибавка к норме, еще пять гектаров. «Ты что,— спрашиваю,— милый человек, хочешь? Чтобы я бегал быстрее? Так ведь я всю свеклу закопаю». Он говорит: «Ни в коем случае! Делай как следует». А потом, жалея меня, поучает: «Но норму выполни». Вот ведь какая штука: не могу вспомнить точно, какая была норма. А, кажется, крепко помнил. Ведь я от нормы получал. Вот забыл. Потому что при настоящем подряде помнить об этом незачем».

Александра Федоровна ШЕВЧЕНКО, бывший председатель колхоза имени Калинина (ныне директор промышленного комплекса по откорму скота «Донской»): «И вот выбрали меня председателем. Я все надеялась: может, еще и не выберут. Но им было все равно. Выбрали, я приехала домой и заплакала. Я тогда секретарем парткома в совхозе работала. Плачу. Мама спрашивает: «Что с тобой?» Сказала. У матери — инфаркт. Через месяц схоронила ее... И в самом деле: что за наказание? Колхозик маленький, народу чуть больше двухсот человек работало, а долгу пять миллионов. И народ мне сперва так не понравился: все один за одного, все родня — кум, сват, брат. В первый день у доярок сумки перетрусила — все фураж домой тащат. Шуму на весь хутор! «Много вас приезжало, начальников, а мы все одни да одни!» Огляделась. А ведь и в самом деле одни. Все село разрыто канавами. Жилья нет. Бани нет. Котельная не работает. Столовой нет. Магазин один крохотный. Воду возили за двенадцать километров. Ну кто захочет работать? Брали самую голь перекатную — без документов, без прописки. У нас таких скирдятниками называют. Толку от них, конечно, мало было. Нет, надо спасать село. У меня какой щит был? Единственная женщина-председатель в крае. И я этим щитом, признаюсь, пользовалась. С протянутой рукой ходила. Депутатам Верховного Совета письма писала. У депутата Калашникова выпросила четыре машины, автобус и бульдозер. Депутат Мураховский дал кран. Крана ни у кого больше не было, мы и этим пользовались. Повезло мне в восемьдесят третьем — восемьдесят четвертом годах. Тогда стали давать из бюджета, безвозмездно, денег понемногу — только на строительство. Другие хозяйства отказывались, я выпрашивала. Начали строить квартиры, построили их за пять лет без одной шестьдесят. Водопровод протянули и дорогу к поселку. Столовую открыли. Детский сад на сто сорок мест. Трудный был путь к перестройке, очень трудный. И вот когда самые тяжкие годы миновали, забирают меня из колхоза. Партгруппу созвали: так и так, говорят, просим отпустить Александру Федоровну на новую работу. Все сидят и молчат, ждут, что я скажу. А что я скажу? «Отпустите,— говорю.— Надоело мне с мужем ругаться». Муж у меня ветврачом работал, и мне его часто приходилось наказывать. Отпустили. Заплакала я...»

В колхоз имени Калинина въезжаешь сегодня по асфальту и долго едешь мимо новых, совсем новых домов. После ухода Александры Федоровны здесь построили еще 35 квартир. Когда она принимала хозяйство, в селе было тридцать четыре ребенка. Нынче в детский сад ходит больше восьмидесяти и сто учатся в школе. С к и р д я т н и к о в теперь в колхоз не берут. Люди живут и ра-

ботают нормально. Шесть-семь лет назад коров иногда ходили доить работники бухгалтерии. Надаивали от каждой за год по 1800 литров. Сегодня в колхозе самое продуктивное стадо — 3145 килограммов на корову (это почти на тонну больше, чем в среднем по району). Стадо, правда, небольшое, но увеличивать его не спешат. Может быть, это и правильно. Лучше меньше, да лучше. Я заглянул в бухгалтерию, спросил, какая в прошлом году получена колхозом прибыль. 985 тысяч рублей. Сколько израсходовано на строительство? Полтора миллиона...

Виденное и слышанное невольно наводит на размышление о природе долгов. Можно ведь рассудить так: по существу, все или почти все, что было построено при Александре Федоровне Шевченко, построено в долг. И поныне чистая прибыль меньше расходов на строительство. Как же это совместить с самоокупаемостью? Совместить, я думаю, можно и даже нужно, только для этого требуется взглянуть на дело иначе. А может быть, это государство, то есть все мы вместе выплачиваем долг за годы бесхозяйственности, застоя, кое-где приведшего к полному упадку. Ведь не построй всего этого — домов, детсада, коровника, водопровода, дороги и так далее — село бы совсем пропало. А это уж навсегда.

К чему я клоню речь? К тому, что отдача долга происходит не в банковских залах и состоит не в перенесении цифр из одной ведомости в другую. Долг может возвратить только поле или ферма. Если человек там работает нормально, разумно и экономично.

А теперь возвратимся к нашим собеседникам в совхоз имени Кирова.

А. С. КОЗЕЛ, директор: «На сегодняшний день у нас работает тысяча сто человек. И их не прибавится. Рассчитывать на такую прибавку неразумно, да и не по времени. На что же мы могли делать ставку? На интерес. И прежде всего на интерес механизатора. То есть мы должны были вооружить его наилучшей по нашим возможностям техникой и технологией, ну, не интенсивной, а пока хотя бы просто надежной. Я говорил уже, что семь лет назад у нас было двести двадцать тракторов. Сейчас их намного меньше. Сто пятьдесят пять. Но число «Кировцев» увеличилось вдвое. Энерговооруженность труда за пять лет увеличилась с 27 до 43 лошадиных сил на работающего».

И. А. ЛАРКИН, главный инженер: «Да, конечно, энерговооруженность выросла. И «Кировец» — прекрасная машина, как раз по нашим полям. Но все же я бы сделал одно существенное примечание. Читаешь газеты, специальную литературу. Очень много пишут о том, *как* надо грамотно работать. Как пахать, как сеять, как вести обработку посевов, как сохранять влагу и так далее. О том, *чем* все это делать, пишут гораздо меньше. И понятно почему. Потому что чаще всего нечем. «К-701», повторяю, хороший трактор. Но сам по себе, без инструмента, без шлейфа других машин он всего-навсего мощный тягач. И когда он таскает за собой сеялку с захватом 5,6 метра, на это обидно смотреть. Мы должны были, так сказать, учить «Кировец» сеять пропашные культуры. Соединили сеялки — 24 рядка, 18 метров захват. Производительность с 30 гектаров поднялась впятеро — до 150. Это же выработка! Или другой вариант. Вместо трех сеялок, захват 11 метров, соединили в агрегат шесть. Это вроде и раньше можно было бы сделать. Но тогда без малого час теряли бы на засыпке семян. Труд ручной, несколько человек нужно им занять. Приспособили для засыпки старый, отслуживший свое комбайн. Время сократили до пяти минут. И людей высвободили. Молодцы? Молодцы, конечно. Но... Это ведь так только кажется, что все просто и даже скучно. Соединил, разъединил, приспособил. А какую сеялку взять за основу, принцип какой? Как вывести на трактор электропривод? «Кировец» ведь с электроприводом не работал. Как добиться, чтобы качество сева было высокое? Ведь над этим должны ломать голову конструктора, технологи, сборщики. Я вам так скажу: многие долги на наши плечи взваливает промышленность. Совхоз держит, например, целый отряд сварщиков — больше двадцати человек. Нормально ли? Но мы вынуждены идти на это, у нас просто нет выбо-



ра. Чтобы улучшить качество работы, мы должны были сперва резко улучшить количественные показатели, то есть выиграть время. Осенний сев у нас растягивался еще недавно на месяцы, а то и больше. В окно зима поглядывает, а мы все еще не отсеялись. Теперь сев занимает неделю. И эту неделю, что очень важно, мы можем выбрать из нескольких, применительно к погодным условиям. Ведь год на год не приходится».

А. С. КОЗЕЛ: «Прошлый год вообще был сумасшедший. Ранняя весна, пересевы, ремонт озимых — одна кампания на другую. Случись такое лет пять назад — гибель была бы полная. Но ничего. Пшеницы собрали с гектара по 37,6 центнера, кукурузы в зерне на орошаемых землях — по 92, а на богаре — по 34 центнера. И тут нам, надо сказать, сильно помог бригадный подряд».

В. Ф. ПОЛИТАНСКИЙ, механизатор: «Бригадный подряд ввести нельзя. К нему надо прийти. Найти точку общего интереса. Вот мы в восемьдесят четвертом — восемьдесят пятом годах работали на бригадном подряде, и каждый был занят своей культурой. В принципе это оправдано отдачей поля. Своего, отдельного. Но цепочка вяжется не всегда, у одного получается лучше, у другого хуже. И загрузка не столь велика. Без дела, конечно, не стоишь, идешь комунибудь помогать. Но помогать — не работать. Для хозяйства это слишком большая роскошь. Да и заработок механизатора был не столь уж высокий: в 1985 году примерно 230 рублей в месяц. В 1986 году за мехотрядом, два звена, закрепили примерно десять тысяч гектаров, полный севооборот. Восемнадцать механизаторов и два слесаря. Нагрузка — пятьсот гектаров на человека. Выработка росла так: 1985 год — 76 тысяч рублей, 1986-й — 140 тысяч, 1987-й — 176 тысяч на каждого механизатора. Среднемесячный заработок минувшего года — 611 рублей. Это без тринадцатой зарплаты. С нею выйдет под семьсот. Работают люди, сколько требует дело. А оно общее. Много работают. И учить никого ничему не требуется. Взаимозаменяемость практически полная. Не такая, когда один *может* выполнить работу другого. А когда каждый выполняет любую порученную работу. За два года не замечено ни одного случая выпивки. Обходимся без антиалкогольной пропаганды. Когда у человека растет интерес к труду, интерес к водке падает».

Н. В. АФАНАСЬЕВА, главный экономист: «В растениеводстве у нас занято девяносто механизаторов. Это вместе со слесарями. Семь звеньев. Самая высокая производительность в отряде Валерия Филипповича. Но и в других коллективах она весьма солидная, больше 100 тысяч рублей на работающего. Среднемесячная зарплата по сравнению с 1984 годом выросла почти вдвое. В прошлом году она составила 383 рубля. Много это или мало? Вот видите, задаю привычный вопрос. А ответ такой: это заработано».

А как пошли дела в других хозяйствах? В «Терновском», например, где тощая корова жирную съела?

И. А. БОГАЧЕВ, директор: «...и думаю: ну, либо разрушусь я окончательно, либо надо перестраивать дело. А как, на какой основе? Основа может быть только одна. Вот я прихожу на ферму. Перевели мы ее на бригадный подряд. А на самом деле считали, что перевели. Установили оплату по операциям. Одному за уход, другому за уборку, третьему за кормежку. А молока не прибывает. Так вот, прихожу, а доярки жалуются: «Иван Андреевич, мы стали меньше получать».— «Чтобы получать,— говорю,— зарабатывать надо. Где молоко?» — «Да разве оно появится, пока каждый о своем печется? Переделывать надо этот подряд».— «Так кто мешает? Переделывайте!» Это, вы знаете, тонкая штука — перестройка. Сколько ведь было всяких зигзагов. Сегодня одно приказывали, завтра — другое. А народ ведь памятлив. Вот люди сидят и ждут: как начальство распорядится. Начальство распорядилось, да глупо, а в итоге: «Мало получаем...» Основа может быть одна: не получай — зарабатывай. Вот и повторял без конца: думайте, думайте, думайте. Едем по овцеводческим точкам. За день объехал семнадцать отар. Каждую обихаживают четыре человека. И вот смотришь: сколько из четверых работает? Один. Ну двое. Остальные сидят. Я говорю: «Братцы, а ведь вы плохо зарабатываете».— «Как это понять: плохо?» А так.

Сиднем мы слишком привыкли сидеть, вот как. Вот есть намерение в районе перевести овцеводов на арендный подряд. Надо это дело обдумать.

Тот переходный год мы все же закончили с прибылью, хотя и не такой большой. Смотрю я ведомость и усмехаюсь. Тому мужику, который велел передать мне, чтобы я сам к нему шел, если нужно, по итогам года причитается семьсот с лишним рублей. Что-то, думаю, будет? Приходит. Спрашиваю: «Ты чего? Я же тебя не звал. Или дело какое?» А он: «Извини,— говорит,— Иван Андреич, глупость я совершил. Думал, я совхозу нужнее, чем он мне». Я в таких случаях на принцип нейду. Тем более работник, вижу, хороший. Уступил. Ну, для порядка удержали с него процентов десять. На память...

В восемьдесят шестом году мы заработали четыре с половиной миллиона рублей прибыли, в прошлом немного меньше, он был очень тяжелый по погоде. Район вообще сильно шагнул вперед. Но самый главный результат перехода на самоокупаемость, я думаю, даже не в этом. А в том, что люди начинают понимать: это не от директора, это больше от меня самого зависит, как я буду завтра жить. Ведь у директора миллиона нет, чтобы раздать его по собственному усмотрению. Деньги-то не его, а наши. И вот ведь интересно: как только человек уяснит это, он начинает думать не о деньгах, а о деле. Деньги только с ним придут. Возьмите, например, подрядные звенья в полеводстве. У нас они разные. Одни побольше, другие поменьше. И труд по-разному организован. Производительность тоже различная. В лучших вырабатывают до 120 тысяч рублей на человека, в среднем по совхозу почти вдвое меньше. Разнятся, понятно, и заработки. У Макаева Василия Михайловича в звене среднемесячная зарплата девятьсот рублей, а сам он зарабатывает больше тысячи. И вот слышишь: «Я хочу зарабатывать, как Макаев!» Что же? Зарабатывай, если умеешь. А если не умеешь — учись».

В. Д. ЗИБОРОВ, механизатор колхоза имени Ворошилова: «Сколько лет норма выработки у меня из головы не выходила, а теперь забыл. Мне не норма нужна. Мне свекла нужна. Труднее ли стало работать? Да как вам сказать... Вряд ли. Вы думаете, гектары на колеса легче было накручивать? Нет. Человек ведь не от работы устает. Он устает от глупой работы. Я вам скажу так: строже стала работа. Вот у нас вчера собрание было. Отчетно-выборное. Обсуждали одного тракториста: трактор перевернул. Я старый механизатор, знаю: всякое бывает, со мной тоже может беда случиться. Можно ли парня осуждать за аварию? За аварию нет. А вот за то, что машину бросил и домой ушел, никому ничего не сказав, за это надо наказывать. Двигатель разморозил? Разморозил. Радиатор разморозил? Разморозил. Ну и ремонтируй за свой счет. Самоокупаемость, она для всех одинакова».

Да, Василий Дмитриевич прав. Самоокупаемость одинакова для всех. В этом ее большое достоинство. Но в этом, пожалуй, и ее недостаток.

Задумаемся над несколькими фактами районной статистики. Мы уже знаем, как высока выработка в лучших подрядных звеньях. Вы, наверное, обратили внимание и на то, что все они (или почти все) заняты в растениеводстве. Приведу обобщающую цифру: именно механизаторы-полеводы заработали своим хозяйствам около 27 миллионов рублей прибыли. Сколько же остается на всех остальных? Пять-шесть миллионов. А ведь эти «остальные» и есть основная масса. В совхозе имени Кирова, напомню, непосредственно на земле работают девяносто механизаторов. А в животноводстве занято триста человек. Надо ли пояснять, кто кого кормит?

Можно сказать: для того и придумана самоокупаемость, чтобы хозяйство было заинтересовано в развитии всех отраслей. Верно. Но и не совсем. В колхозе имени Горького я был на отчетно-выборном собрании. В докладе председателя промелькнула такая фраза: «Основные доходы колхоз получает от животноводства: при плановой продуктивности в 2100 килограммов молока от каждой коровы получено по 2282 килограмма, это принесло нам 600 тысяч рублей прибыли». И вот задумываешься: коров в колхозе много, кормов мало; молоко, как видим, не фонтаном бьет. А прибыль солидная. Пошел в РАПО к зампреду по экономике Валентине Алексеевне Чаликовой. Какая же, спрашиваю, тут может быть самоокупаемость, да еще основной доход? Все правильно, отвечает. Все по нормативам. Себестоимость килограмма молока 34 копейки плюс надбавки. Итого, получи 51 копейку. А в магазине мы платим за литр 36 копеек. Н-да...



Читаю районную газету «Нива»: план по производству овощей коллективами огородных бригад выполнен всего на 47,6 процента. Что случилось? Какое бедствие обрушилось на район? Как выясняется, ничего в общем-то не случилось. Овощи были выращены. И пропали. Сгнили. И не в первый раз. Потому что сбыта нет. А, между прочим, только на прополку их затрачено 72,6 тысячи человеко-дней. Можно ли рассчитывать на самоокупаемость при таком порядке вещей.

Примеры с молоком и овощами, казалось бы, противоположного свойства. Но суть за ними одна. Не включается экономический двигатель. Что же делать? Не знаю. Наверное, прежде всего разобраться, почему механизм самоокупаемости такой, каким он сложился за два года, еще дает сбой. Спору нет: и молоко, и овощи людям нужны каждый день. Но запасемся выдержкой и терпением и не произнесем, как не раз бывало: любой ценой. Потому что, если мы поддадимся этой слабости, вместо сурового, но разумного требования жизни: «Заработай!» — вновь прозвучит волевая команда: «Дай!»

---

Л. Н. Гумилев

# БИОГРАФИЯ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ, или АВТОНЕКРОЛОГ

**ПРОБЛЕМА ЖАНРА.** Как известно, научные теории создает тот или иной человек. Кибернетики придумали даже для этого название — «черный ящик». В этот «ящик» вводится хаотическая информация, а потом из него выходит стройная версия, называемая в зависимости от ее убедительности гипотезой, концепцией или теорией. Автору посчастливилось добраться до третьей фазы совершенства, выше которой лежит только истина, то есть суждение, заведомо неопровержимое и не нуждающееся в дополнениях.

К счастью, истины встречаются только в спекулятивной (умопостигаемой) науке — математике, которая оперирует не явлениями природы, а числами — созданиями нашего мозга. В природоведении же, как и в истории, мы находим только феномены, явления отнюдь не рациональные, но требующие понимания еще в большей степени, нежели извлечение квадратного корня из шестизначного числа.

Поясняю парадокс. Автор за 75 лет своей жизни работал и в геологии, и в археологии, и в географии, но во всех этих науках встречал только феномен (явление), который можно описать словами, а измерить — либо простыми цифрами, либо понятиями «больше — меньше», «дальше — ближе», «древнее — новее». К этому естественнонаучному подходу автор привык настолько, что даже историю, казалось бы, вполне гуманитарную науку, он стал изучать, руководствуясь натуралистскими принципами. За это он имел много неприятностей и обид, но теория этногенеза была создана и даже приписана академику Ю. В. Бромлею, цитировавшему положения автора без отсылочных сносок [1].

Хотя нет и не может быть научной идеи без персоны автора, поскольку для мысли нужна голова, а она у человека всегда одна, то очевидно, что у каждого ученого, как человека, есть личная жизнь: школьные годы, тяжелые экспедиции, семейные осложнения, служебные неприятности, да и болезни. Но вместе с этим у него есть бескорыстный интерес к предмету исследования, частным сюжетам и эмпирическим обобщениям. Желание понять три вещи: «как?», «что?» и «что к чему?» представляется ему самоцелью. Если же оный товарищ занимается научной работой не для радости познавания, то ему незачем тратить силы на изучение своего предмета. Пусть становится директором института. Это пойдет на пользу и ему, и науке.

Но коль скоро так, то личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую биографию мы все пишем для отдела кадров, а последнюю, некролог, обычно пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописания, в котором львиная доля уделена житейским дрязгам, а не глубинным творческим процессам.

Но можно ли судить за это биографов: они и рады были бы проникнуть в «тайны мастерства», да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор, но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания

[1] К. П. Иванов. Взгляды на этнографию или есть ли в советской науне два учення об этносе? Известия ВГО. т. 112, вып. 3, 1985, стр. 232—239.



и развития научной идеи, той нити Ариадны, с помощью которой иногда удается выбраться из лабиринта несообразностей и создать непротиворечивую версию, называемую научной теорией.

**ЖИЗНЬ И МЫСЛЬ.** Детские годы всегда заняты освоением многоцветного, разнообразного мира, в котором важно и интересно все: природа, люди и, главное, язык, изучение коего — «условие, без которого нельзя». Только с шести-семи лет человек может начать выбирать интересное и отталкивать скучное. Интересным для автора оказались история и география, но не математика и изучение языков. Почему это было так — сказать трудно, да и не нужно, ибо это относится к психофизиологии и генетической памяти, а речь идет не о них.

Школьные годы — это жестокое испытание. В школе учат разным предметам. Многие из них не вызывают никакого интереса, но тем не менее необходимы, ибо без широкого восприятия мира развитие ума и чувства невозможно. Если дети не выучили физику, то потом они не поймут, что такое энергия и энтропия; без зоологии и ботаники они пойдут завоевывать природу, а это самый мучительный способ видового самоубийства. Без знания языков и литературы теряются связи с окружающим миром людей, а без истории — с наследием прошлого. Но в двадцатых годах история была изъята из школьных программ, а география сведена до минимума. То и другое на пользу делу не пошло.

К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов, дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль.

А мысль начала предъявлять жестокие требования. Зачем Александр Македонский пошел на Индию? Почему пунические войны сделали Рим «вечным городом», а коль скоро так, то из-за чего готы и вандалы легко его разрушили? В школе тогда ничего не говорили ни о крестовых походах, ни о столетней войне между Францией и Англией, ни о Реформации и Тридцатилетней войне, опустошившей Германию, а об открытии Америки и колониальных захватах можно было узнать только из беллетристики, так как не все учителя сами об этом имели представление.

Проще всего было не заниматься такими вопросами. Так и поступало большинство моих сверстников. Можно было кататься на лыжах, плавать в уютной реке Мологе и ходить в кино. Это поощрялось, а излишний интерес к истории вызывал насмешки. Но было нечто более сильное, чем провинциальная очарованность. Это нечто находилось в старых учебниках, где события были изложены систематически, что позволяло их запоминать и сопоставлять. Тогда всемирная история и глобальная география превращались из калейдоскопа занятных новелл в стройную картину окружающего нас мира. Это дало уму некоторое удовлетворение.

Однако оно было неполным. В начале XX века гимназическая история ограничивалась Древним Востоком, античной и средневековой Европой и Россией, причем изложение сводилось к перечислению событий в хронологической последовательности. Китай, Индия, Африка, доколумбовская Америка и, главное, великая степь Евразийского континента были тогда Terra incognita. Они требовали изучения.

И тут на выручку пришел дух эпохи. В тридцатые годы начались экспедиции, куда охотно нанимали молодежь. Автору открылись гольцы и тайга Хамар-Дабана над простором Байкала; ущелья по Вахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке Фирдоуси; палеолитические пещеры Крыма; степи вокруг хазарского города Саркела и, наконец, таймырская тундра. Книжные образы перестали быть теневыми контурами. Они обрели формы и краски.

Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории. К сожалению, после войны всеобщая история в объеме край-

не сократилась, а ее место заняла узкая специализация. Но в те годы можно было представить себе стереоскопический облик планеты, углубившись по шкале времени на 5000 лет. История Средней Азии и Китая излагалась на факультативных курсах. Только по кочевому миру еще не было специалистов. Пришлось заняться этим самому.

И тут оказалось, что любимые друзья детства: сиу, семинолы, навахи, команчи и пауни — аналог наших хуннов, куманов, тюрок, уйгуров и монголов. Степные народы Евразии защищали свою страну от многочисленных безжалостных китайцев так же, как индейцы сопротивлялись вторжению скваттеров и трапперов, поддержанных правительственными войсками США. Так была поставлена первая научная проблема: каково соотношение двух разных культурных целостностей? Эта проблема получила решение в «Степной Трилогии» (хунны, тюрки, монголы), опубликованной много лет спустя [1].

Не только ландшафты, но и люди привлекали внимание автора. На великих сибирских стройках ему удалось познакомиться с представителями разных народов, общаться с ними и понять многое, ранее ему недоступное.

Благодаря знанию таджикского языка автор подружился с персом, таджиками и даже с ученым эфталитом — памирцем, получившим двойное образование: он прошел обучение у исмаилитского «пира» — старца, а потом курс в Сталинабадском педагогическом институте. Эти беседы позволили автору найти путь к решению эфталитской проблемы, отличающемуся от прежних гипотез радикально [2].

Общение с казахами, татарами, узбеками показало, что дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев; ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывали. Однако любая попытка обмануть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущали хитрость как бы чутьем. Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан. Грузинский еврей, раввин и математик, объяснил мне философский смысл Каббалы, открытый для иноверцев, а буддийский лама — кореец рассказал о гималайских старцах увлекательную легенду, из которой тоже вылупилась научная статья [3].

Описанный способ изучения этнографии отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью, точнее биографией автора, не имевшего многих возможностей, которые есть у научных сотрудников АН. Так и пришлось автору стать не научным работником, а ученым.

Конечно, работа в научном институте имеет свои преимущества в легкости организации экспедиций и публикаций, но зато там есть некоторые ограничения, например, обязательная узкая специализация, неизбежно сужающая поле зрения исследователя. Здесь же подбор информации определялся случайностью, но восполнялся широтой наблюдений, позволявшей использовать сравнительный метод.

Кроме того, информаторы автора были люди весьма образованные, каждый в своей культуре, вследствие чего их рассказы были более содержательны и полноценны. С ними можно было свободно беседовать по-русски; специальные термины они умели истолковать, а не просто перевести. Ведь часто при буквальном переводе теряются нюансы смысла и возникают неточности, весьма досадные. Поэтому можно смело утверждать, что подготовка автора была иной, чем тривиальная, но не хуже ее. Именно она позволила поставить вопросы, о которых пойдет речь ниже.

---

[1] Хунну. М., 1980; Хунны в Китае. М., 1974; Древние тюрки. М., 1967; Поиски вымышленного царства. М., 1970; Величие и падение древнего Тибета, в кн. Страны и народы Востока, VIII, М., 1969; Старобурятская живопись. М., «Искусство», 1975. Все эти работы выполнены в традиционной методике.

[2] Эфталиты и их соседи в IV в. «Вестник древней истории», 1959, № 1; Эфталиты — горцы или степняки? То же, 1967, № 3.

[3] Страна Шамбала в легенде и истории. «Азия и Африка сегодня», 1968, № 5.



**НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ.** Решение одной, даже очень сложной задачи бывает иногда отрадно, но всегда бесперспективно. Полных аналогий в истории не бывает, поэтому новую задачу надо решать заново. Да и в уже проделанном исследовании достаточно сменить угол зрения (аспект), или добавить новый материал, или изменить степень приближения (взять вместо очков микроскоп), чтобы потребовались новые усилия, сулящие столь же неполные результаты. Таков лимит традиционной методики.

Кроме того, желательно обезопасить свой труд от обывательского представления, будто в любой борьбе одни — хорошие, а другие — плохие, а задача ученого — угодить читателю, объяснив ему, кто каков, или, что то же,— кто прогрессивен, а кто отстал и, следовательно, не заслуживает сочувствия.

Вот наглядный пример. В 1945 году, после взятия Берлина, я встретился и разговорился с немецким физиком моего возраста. Он считал, что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь древняя славянская земля, а Бранденбург — это Бранный Бор лютичей, завоеванных немцами. Он вскричал: «Sie waren Primitiw!» и остался при своем мнении. Будь он начитаннее, он бы упомянул, что лютичи в V веке вытеснили с берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы когда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил — таков диалектический закон отрицания отрицания, примешивать к коему личные симпатии и антипатии неправомерно. Постоянная изменчивость во времени и пространстве — закономерность природы. Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или землетрясения, независимо от того, нравятся они нам или нет.

В естественных науках оценки неуместны, а классификация необходима. Так, зоологи зачисляют в один класс наземных, морских (киты) и воздушных (летучие мыши) животных, как млекопитающих, ибо всех их сближает один, но правильно избранный признак. Такой систематизации поддаются и народности — этносы, принадлежащие к одному виду, но похожие друг на друга *более или менее*. Именно эти степени несхожести оказались крайне важными для этнической диагностики. Немцы не французы, но ближе к ним, чем к казахам или монголам. Хунны перемешивались с сибирскими и волжскими уграми, но не с китайцами, причем и там и тут язык значения не имел. Разговорную речь для базара выучить легко.

Иными словами, отдельные этносы не изолированы друг от друга, но образуют как бы этнические «галактики», в которых общение, даже для отдельных особей, гораздо легче, нежели с обитателями соседней «галактики» или иной суперэтнической целостности. В этом случае люди желают «жить в мире, но порознь».

Это наблюдение имело в условиях тесного этнического контакта важное практическое значение. Оказалось, что недостаточно самому не замечать этнических различий, но надо, чтобы и партнер не замечал их, а этого, как правило, не бывает, несмотря на то, что люди одинаково одеты, питаются в тех же столовых и спят в одинаковых жилищах. А в таких условиях только добрые отношения между соседями обеспечивают необходимое для жизни благополучие. Но было ли так всегда и везде?

В 1938—1939 годах автор, имея много незанятого времени, стал продумывать исторические процессы разных государств и больших культурных целостностей, как, например, античность, включающую Элладу и Римскую империю; Византию вместе с окружающими христианскими народами: грузинами, армянами, болгарами, сербами,— но без Руси, представлявшей самостоятельную целостность; мусульманский мир, где общность была культурной, а не религиозной, и христианский мир — средневековый термин для романо-германской целостности Западной Европы. Китай, Япония и Индия были оставлены на потом, чтобы вернуться к ним тогда, когда характер развития, точнее становления, будет описан.

Так на месте микроскопа был установлен телескоп, а объектом наблюдения вместо молекул стали «галактики». Аналогичный подход, правда, с другими критериями, применил А. Тойнби в своем капитальном труде «Изучение ис-

тории», но тогда я о его работе еще не слышал. Так или иначе, мы пришли к близким обобщениям независимо друг от друга, хотя объяснения наблюдаемых явлений у нас диаметрально противоположны.

Оказалось, что если мерить интенсивность исторических процессов кучностью событий, то сначала наблюдается резкий взлет — около 300 лет, затем чередование подъемов и депрессий — тоже лет 300, потом ослабление жизнедеятельности, ведущее к успокоению, которое А. Тойнби назвал breakdown, и, наконец, медленный упадок, прерываемый новым взлетом. И сколько бы это наблюдение ни проверялось — так было везде на длинных отрезках времени. И тут встает вопрос: почему?

На что это явление похоже? На движение шарика, который, получив внезапный толчок, катится, сначала набирая скорость, а потом теряя ее от сопротивления среды; на взболтанную жидкость, где волнение постепенно стихает; на струну, после щипка колеблющуюся и останавливающуюся. И права была китайская царевна из династии Чэн, плененная и выданная за тюркского хана в VI веке, когда написала мудрые и трогательные стихи (перевод мой):

Предшествуют слава и почесть беде,
Ведь мира законы — трава на воде.
Во времени блеск и величье умрут,
Сравняются, сгладившись, башня и пруд.
Пусть ныне богатство и роскошь у нас,
Недолог всегда безмятежности час.
Не век опьяняет нас чаша вина,
Звенит и смолкает на лютне струна...

Не странно ли, что китаянка VI века мыслила категориями диалектики, а европейские филистеры XX века признают только линейную эволюцию, которую они называют прогрессом и считают нарастающей по ходу времени. Конечно, не следует отрицать прогресс в социальном развитии человечества, но ведь люди, принадлежащие к любой формации, остаются организмами, входящими в биосферу планеты Земля, телами, подверженными гравитации (земному притяжению), электромагнитным полям и термодинамике.

Итак, наша задача весьма упростилась. Нам надо найти ту форму движения материи, в которой наряду с социальной и независимо от нее живут люди уже больше 50 тысяч лет и которая, будучи природной, является формой существования вида Homo sapiens.

**ЭТНОС.** Не каждое обобщение плодотворно для науки. Так, общеизвестно понятие «человечество», что, по сути дела, означает противопоставление вида Homo sapiens всем прочим животным. Однако при этом упускаются из вида вариации в главном — соотношении людей с окружающей средой. Есть люди хищники — охотники, есть ихтиофаги — рыболовы, есть пожиратели растений, а бывают и каннибалы. Некоторые — скотоводы — приручают животных и живут с ними в симбиозе, другие возделывают растения, третьи обрабатывают металлы. Короче, у человеческих коллективов есть жесткая связь с кормящим ландшафтом. Это и есть Родина.

Но к использованию ресурсов ландшафта надо приспособиться, а для этого требуется время, и немалое. Адаптация идет поколениями: не внуки, а правнуки первых пришельцев в новую страну, с непривычными для прадедов природными условиями, усваивают набор традиций, необходимых для благополучного существования. Тогда Родина превращается в Отечество. Так было даже в палеолите.

Но это еще не все. Не только подражание предкам формирует склад человеческого коллектива. В нем всегда есть люди творческие, генерирующие мифы или научные идеи, рапсодии и музыкальные напевы, фрески, пусть даже в пещерах, и узоры на женских платьях, ритуальные пляски и портреты. Изобретатели и художники никогда не бывают «героями», ведущими «толпу». Они обычно так поглощены своим делом, что у них не остается сил на общественную деятельность, которая тоже является достоянием профессионалов. Более того, мыслители и поэты воспринимаются современниками как «чудаки», однако



их вклад в жизнь коллектива не пропадает бесследно, а придает ему специфический облик, отличающий его от соседних племен, где есть свои «чудаки». Сочетание этих трех координат образует «этнос», характеризующийся оригинальным стереотипом поведения и неповторимой внутренней структурой.

Именно способность к неоднократной адаптации в самых разнообразных ландшафтах и климатах, повышенная пластичность позволили человечеству как виду распространиться по всей поверхности Земли, за исключением Антарктиды, где жить можно только за счет подвоза пищи. Не только в палеолите, но и в историческом периоде этнос — форма вида Homo sapiens. Поэтому обобщение всех особей этого вида в понятие «антропосфера» хотя логически возможно, но не плодотворно. Антропосфера мозаична, и правильнее называть ее «этносферой».

Очень может быть, что другие крупные млекопитающие тоже делятся на стаи или стада, но мы обычно пренебрегаем такими психологическими нюансами, как не имеющими практического значения. Однако в отношении людей это недопустимо; ошибка вывода будет за пределами законного допуска. Дело в том, что отличительной чертой этноса является деление мира надвое: «мы» и «не мы», или все остальные. Эллины и «варвары», иудеи и необрезанные, «люди Срединного государства» (китайцы) и «дикари» — на севере «ху», на юге «мань». Когда в историческое время возникали новые этносы, то те, кого мы называем «византийцы» (условный этноним), сами себя называли «христианами», противопоставляя себя «язычникам», а когда Мухаммед в 623 году создал свою общину, то ее члены стали называть себя «мусульмане» и распространили это название на всех к ним примкнувшим (ансары). Слова же «арабы» в VII веке никто не знал — оно появилось позднее, для обозначения определенной части мусульман. До Мухаммеда жители Аравийского полуострова носили свои племенные названия и противопоставляли себя друг другу.

Такое словоупотребление было практически необходимо. Этносы иногда дружат, иногда враждуют; этноним помогал отличать друзей от врагов.

Но самое интересное, что ни один этнос не вечен. Древние шумеры, хетты, филистимляне, дарданы, этруски и венеты уступили свое место парфянам, эллинам, латинам и римлянам, которые выделились из латинов и других италиков. Но и этих сменили итальянцы, испанцы, французы, греки (этнос славяно-албанского происхождения), турки, таджики, узбеки и казахи.

Полного вымирания заведомо не было. Антропологи находят шумерийский тип на Ближнем Востоке, хотя его носители даже не слышали слова «шумер». Филистимляне были уничтожены евреями, но оставили название страны — Палестина. Потомков древних эллинов и римлян нет, но их искусство, литература и наука оплодотворяют умы людей поныне. Генетическая память пронзает столетия, всплывает в сознании в виде образов, порождающих эмоции, пример чему — стихи Н. С. Гумилева:

...И тут я проснулся и вскрикнул: «Что если
Страна эта истинно родина мне?
Не здесь ли любил я? и умер не здесь ли?
В зеленой и солнечной этой стране?
И понял, что я заблудился навеки
В пустых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

**НОВАЯ НАУКА.** Смутные воспоминания о непережитых событиях возникают у людей с тонкой нервной организацией довольно часто. Бывало такое и в древности. Для объяснения этого феномена была изобретена теория переселения душ, распространенная в Китае, Индии и у древних кельтов. Практичные римляне не придавали сумеречным эмоциям значения; они попросту игнорировали их. У них была концепция мрачного Орка — обиталища мертвых.

Поскольку западноевропейская наука унаследовала строй римской мысли, то теория линейной эволюции стала ее основой. Византийская диалектика была отброшена как суеверие, мешающее прогрессу. Во главу угла было поставлено

сознание, а ведь генетическая память лежит в сфере ощущений и, следовательно, выпадает из науки.

Но диалектика победила. Генетическая память, иногда выплывающая из глубин подсознания и вызывающая неясные образы, получила научное обоснование. Н. В. Тимофеев-Ресовский называл это явление «аварийным геном».

Пусть этот ген выскакивает наружу крайне редко и не по заказу, но он переносит фрагменты информации, объединяющие человечество, которое в каждую отдельную эпоху, и даже за 50 тысяч лет известной нам истории, представляется как мозаика этносов. Именно наличие генетической памяти объединяет антропосферу. В противном случае человечество распалось бы на несколько видов и восторжествовала бы расовая теория. Как найти выход?

Исчезновение этносов — факт столь же достоверный, как и факт их возникновения, но вымирание (депопуляция) — случай крайне редкий. Обычно происходит рекомбинация элементов, как в колоде карт при перемешивании. Можно разложить карты по мастям, или по значениям — от туза до шестерки, или еще как-нибудь, но определяющим будет характер их сочетания, ибо именно сочетание создает системную целостность, столь же реальную, как и сами элементы — люди, семьи, роды, постоянно взаимодействующие друг с другом.

Однако люди обитают на планете с крайне разнообразными географическими и климатическими условиями — ландшафтами. Очевидно, ландшафты тоже входят в повседневную жизнь этносов как элементы. Леса, степи, горы, речные долины кормят не только животных, приспособившихся к ним, но и людей, какое бы хозяйство они ни вели. Тут физическая география смыкается с историей, ибо изменения ландшафтов столь же закономерны, сколь и старение этносов. В эпоху ледникового периода — 12—20 тысяч лет назад — Сибирь, примыкавшая к закраине ледника, была цветущей степью, над которой сияло вечно голубое небо, никогда не закрывавшееся тучами. Было так потому, что над ледником всегда стоит антициклон и ветры, несущие влагу с океанов, обтекают его с южной стороны. Приледниковая степь не была пустыней, ибо ее орошали пресные воды — ручьи, стекавшие с ледника и образовывавшие озера, окаймленные зарослями и полные рыбы, а следовательно, и водоплавающей птицы.

В степи осадков было мало, но снег выпадал, а растения сухих степей, пропитанные солнцем, калорийнее влаголюбивых, и стада мамонтов, быков, лошадей и газелей (сайги) паслись, давая, в свою очередь, пищу хищникам, среди которых первое место занимал человек.

Но ледник стаял. Циклоны понесли массы влаги через Сибирь, северную Россию и Скандинавию. На месте степи выросла тайга, а травоядные животные отошли на юг, где еще сохранялись сухие степи. За ними ушли хищники и большая часть людей, а оставшиеся ютились по берегам великих рек, питаясь рыбой и водоплавающей птицей. Лишь много веков спустя предки эвенков вернулись на север, так как сумели приручить северного оленя, приспособившегося к суровым условиям тайги. Их жизнь — это симбиоз человека и оленя.

Подобные изменения природной среды, хотя меньшего масштаба, происходят и в наше время; увлажненность отдельных зон меняется раза два-три в тысячелетие. Так можно ли выпускать это из поля зрения? Если же принять ее во внимание, то наука, решающая описанную проблему, будет не просто историей, этнографией или археологией, а синтезом этих наук с географией. В отличие от географического детерминизма Ш. Л. Монтескье и географического нигилизма А. Тойнби здесь решающим моментом является динамика ландшафтов; как писали К. Маркс и Ф. Энгельс, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга [1].

Отмеченное сочетание истории (науки о событиях в их связи и последовательности) и археологии (науки о памятниках) с палеогеографией (наукой об изменениях поверхности Земли) требует новых подходов и способов исследования. По сути дела, это уже не этнография — описание особенностей быта и культуры, а естественная наука о происхождении и сменах этнических целостностей, комбинациях элементов в разнообразном пространстве и необратимом времени. Для новой науки требуется и новое название, и самым удачным будет термин «этиология», хотя и употреблявшийся неоднократно, но без точного определения и смыслового наполнения, так как в прошлые века для постановки и решения этой проблемы не было подходящего инструмента. Но в середине XX века был открыт «системный подход», оцененный советскими философами и теоретиками науки как достижение настолько перспективное, что оно достойно названия великого. Принцип его прост, и студенты осваивают его легко.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 3, стр. 16.



**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.** Категория «этнос» была известна всегда, но понять ее удалось только в XX веке. Раньше предполагалось, что этнос объединен сходством его членов — например, общим языком, общей религией, единой властью,— однако действительность опровергла эти домыслы.

Французы — этнос, но говорят на четырех языках: французском, провансальском, бретонском и гасконском, а спасительница Франции Жанна д'Арк произносила свою фамилию с немецким акцентом — «Тарк». Есть французы католики, гугеноты, атеисты, но теперь это им не мешает. А те французы, которые уехали в Канаду в XVII веке, этнической принадлежности не потеряли и англичанами не стали.

Применение понятия «сходство» ведет к абсурду. Не сходны мужчины и женщины, старики и дети, ремесленники и крестьяне, гении и тупицы, но этнической стройности это не нарушает. Очевидно, дело в чем-то другом.

В 1937 году биолог Л. фон Берталанфи на философском семинаре в Чикаго, пытаясь сформулировать понятие «вид», предложил рассматривать его как «комплекс элементов, находящихся во взаимодействии», и назвал «системой открытого типа». Его тогда никто не понял и не поддержал. Бедный ученый сложил бумаги в ящик стола, отправился на войну, к счастью, уцелел и, возвратившись, застал совсем иной интеллектуальный климат: интерес к моделированию и кибернетике. Системный подход стал известен советским ученым с 1969 года благодаря философам Э. Г. Юдину и В. Н. Садовскому и биологу А. А. Малиновскому и ныне применяется во многих областях науки. Системный подход позволяет дать строгое определение понятию этноса. Попробуем объяснить наглядно. Но для этого надо учесть еще один фактор: комплиментарность, либо положительную — симпатию, либо отрицательную — антипатию.

Общеизвестный пример системы — семья, живущая в одном доме. Элементы ее: муж, жена, теща, сын, дочь, дом, сарай, колодец, кошка. Пока люди любят друг друга, система устойчива; если они ненавидят друг друга, как в романах Агаты Кристи,— система держится, пусть на отрицательной комплиментарности. Но если супруги разведутся, дети уедут учиться, теща разругается с зятем, сарай без ремонта развалится, колодец зацветет, кошка заведет котят на чердаке,— то это будет уже не система, а просто заселенный участок. И наоборот, пусть умрет теща, сбежит кошка, но будет писать любящий сын и приезжать на именины дочка,— система сохранится, несмотря на перестройку элементов. Это значит, что реально существующим фактором системы являются не предметы, а связи между ними, хотя они не имеют ни массы, ни веса, ни температуры.

Это простой случай; при усложнении системы расширяются и образуют субэтносы — группы людей, связанных положительной комплиментарностью внутри себя и отрицательной относительно соседей. Группа объединенных субэтносов образует этнос, интеграция этносов — суперэтнос, то есть группу этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам. Так, романо-германская католическая Европа — Chrétienté — объявила в XIII веке своим противником православные страны — Византию, Болгарию и Россию — и начала против православия крестовый поход. И тут и там вера была одна, но суперэтносы разные. Чтобы оправдать свое поведение, крестоносцы четвертого похода (1204 год) говорили, что православные такие еретики,

что от них самого бога тошнит. Значит, они воевали не за веру, а вследствие отрицательной комплиментарности двух суперэтнических систем. Это уже не только социальное, то есть разумное, действие, но взрыв неуправляемых эмоций, то есть явление природы.

Любопытно, что автор наметил основы такого подхода еще в студенческие годы, но не мог ни точно сформулировать их, ни тем более обосновать. Часто научная идея, даже правильная, гнездится где-то в подсознании, и лучше там ее задержать до тех пор, пока она не выкристаллизуется в стройную логическую версию, не противоречащую ни одному из известных фактов.

При обобщении процессов глобальной истории правомерность системного подхода очевидна. Мусульмане ведут джихад — священную войну против христиан, но при этом режут друг друга. Однако характеры столкновений на суперэтническом и субэтническом уровнях несоизмеримы. Англичане воевали с французами, но в Африке, столкнувшись с зулу или ашанти, ощущали свое единство и спасали друг друга. Даже древние греки вели себя так же: воюя с персами, афиняне и спартанцы отпускали пленных персов за выкуп, но «за измену общеэллинскому делу» казнили фиванцев, служивших Ксерксу и Мардонию. А ведь социальные структуры у спартанцев и афинян были противоположны, экономические интересы взаимоисключали общую выгоду. Что же их объединяло в борьбе с персами? Только принадлежность к единой этнической системе, которая, как ныне доказано,— объективная реальность, существующая вне нас и помимо нас.

«Но ведь это биологизм!» Так кричат те, кто не задумывается над сущностью явлений природы. Нет, это монизм; это сопричастность людей к биосфере, праматери жизни на планете Земля. Это — дополнение к социальной эволюции, а не замещение ее, ибо прогресс — процесс развития социума, а этнос может быть сопоставлен с мелкими таксономическими единицами внутри вида Homo sapiens, рода Hominides, отряда Primates, семейства Mammalia (млекопитающих) и класса Animalia (животных). Мы порождение земной биосферы в той же степени, в какой и носители социального прогресса.

Естественники приняли системный подход с радостью, а гуманитарии его игнорировали. И это не случайно: филологи и историки черпают первичное знание из письменных источников, а в оных о системных связях нет ни слова. С их точки зрения, системы — выдумка, к тому же бесполезная.

А как же быть с этносами? Очень просто: надо различать их по названиям; узнать же эти названия следует у них самих, как в паспортном столе милиции. Нет, это не шутка, а, увы, научная установка, бытующая поныне. На одной кандидатской защите оппонент назвал единым этносом эквадорцев, хотя в Эквадоре живут белые креолы, метисы, индейцы кечуа и индейцы Амазонии. По его мнению, народы, живущие в одном государстве,— один этнос. Я спросил его: «А как назывался этнос Австро-Венгрии, где большинство составляли славяне? Австровенгры?» Он обиделся и не ответил. Такому доктору географических наук системный подход, конечно, не нужен.

Равным образом не нужен системный подход тем историкам, которые ищут предка изучаемого этноса. Эти историки считают французов потомками кельтов (галлов), а русских — потомками сколотов (скифов). При этом они забывают, что и те и другие смешивались с соседями, меняли культуры и языки и, наконец, что монолитный этнос равноценен расе, особенно если у него был один предок, а не сочетание древних этнических субстратов. Такая патологическая склонность к партеногенезу весьма распространилась в XIX веке среди полуобразованных людей и породила шовинизм как карикатуру на патриотизм.

Итак, системный подход имеет не только теоретическое, но и практическое значение, ибо благодаря ему можно избегать ошибок как в личной жизни, так и в межэтнических взаимоотношениях.

**НАЧАЛА И КОНЦЫ.** Уже упоминалось, что этнические системы не вечны. Они развиваются согласно законам необратимой энтропии и теряют первоначальный импульс, породивший их, так же, как затухает любое движение от сопротивления окружающей среды. Так, это понятно. Но откуда взялся первоначальный толчок и какова природа той энергии, которая инициирует деяния людей, побуждает их идти на гибель или добиваться победы, воспользоваться плодами которой они не успевают? Ведь это не электричество, не теплота, не гравитация. А что же?



Великий ученый XX века В. И. Вернадский, читая в 1908 году заметку во французской газете о перелете саранчи из Африки в Аравию, обратил внимание на то, что масса скопища насекомых была больше, чем запасы всех месторождений меди, цинка и олова на всей Земле. Он был гений и потому задумался о том, какова энергия, которая подняла этих насекомых и бросила их из цветущих долин Эфиопии в Аравийскую пустыню, на верную смерть.

Дальнейший ход его исследования можно опустить; важен вывод. Во всех живых организмах находится биохимическая энергия живого вещества биосферы, совсем не мистическая энергия, а обыкновенная, аналогичная электромагнитной, тепловой, гравитационной и механической; в последней форме она и проявилась. Большей частью биохимическая энергия живого вещества находится в гомеостазе — неустойчивом равновесии, но иногда наблюдаются ее флуктуации — резкие подъемы и спады. Тогда саранча летит навстречу гибели, муравьи ползут, уничтожая все на своем пути, и тоже гибнут; крысы-пасюки из глубин Азии достигают берегов Атлантического океана и несут с собой легионы чумных бактерий; лемминги толпами бросаются в волны Полярного моря, газели — в пустыню Калахари; а люди... Но об этом-то и пойдет речь.

Чем сложнее организм, тем больше факторов определяет усложнение его системных целостностей и тем многообразнее их проявления в видимой истории. О людях мы знаем больше, чем о насекомых и грызунах. Там можно наблюдать только кульминации вспышек, но начала их, а также концы, когда импульс затухает и движение переходит в гомеостаз, причем популяция вымирает, описать очень трудно. Зато людям известна не только относительная хронология, показывающая, что было раньше, а что позже, но и абсолютная — в каком году то или иное произошло. Поэтому обнаружить и уточнить закономерности биосферы целесообразно путем их сопоставления с этнической историей человечества, где тоже есть «начала» — вспышки этногенеза и «концы» — распады этнических систем.

Любопытно, что наличие «начал» отмечали еще эллины и римляне, хотя прекрасно знали, что у них были предки: ахейцы, ходившие разрушать Трою, и латины, прибывшие из поверженной Трои в Италию под предводительством Энея. Тем не менее греки считали «началом» первую олимпиаду в 776 году до н. э., а римляне — основание Рима в 753 году до н. э. Пусть эти даты не точны, но в середине VIII века до н. э. действительно сложились два этноса-ровесника: эллины и римляне. А конец римского этноса наступил в V веке н. э., фактически с упразднением культа Весты, а официально с отречением последнего императора Ромула Августула в 476 году. Социальный институт пережил создавший его этнос.

Византийский этнос называл себя «ромеи», то есть римляне, хотя на самом деле он был могильщиком Рима, так как происходил от полиэтнических христианских общин Сирии, Египта и Малой Азии. Первая достоверная дата его — 155 год, диспут Юстина Философа с языческими философами. Конец — падение Константинополя в 1453 году. Но следует отметить, что начальным датам всегда предшествует инкубационный период продолжительностью около 150—160 лет, то есть шесть-семь поколений. Это наводит на размышления.

Мусульмане начинают свою историю с бегства Мухаммеда из Мекки в Медину — 622 год (хиджра), но этому предшествовала эпоха энергетического взлета, выразившегося в ожесточении племенных войн и появлении плеяды поэтов. Это показывает, что фактический взрыв энергии был на рубеже V—VI веков. Уточнить дату трудно да и не нужно.

Создание современной западноевропейской этнокультурной целостности высчитано в сороковых годах прошлого века Огюстеном Тьерри — это 841 год. Тьерри доказал, что именно тогда проявили себя французы, которых до этого не было, а была механическая смесь салических франков и галлоримлян. Тог-

да же слились в этнос немцев племена саксов, рипуарских франков, тюрингов, швабов, фрнзов. В те же годы потомки вестготов, аланов, лузитанов и свевов объявили себя испанцами н начали реконкисту — отвоевание Пиренейского полуострова у арабов. А ладьи викингов бороздили волны морей уже полвека, отмечая инкубационный период этногенеза. Остров Британия и полуостров Италия несколько отстали в этническом преображении, но были втянуты в него путем завоевания англосаксами, норманнами и швабами.

Позднее эта система, набухшая энергией, распространилась на Америку, ивляющуюся заокеанским продолжением Западной Европы, Австралию и Южную Африку, подчиинила Индию и другие тропические страны, насадила свой стереотип поведения даже в Япоиии, но Россия, Турция и Китай устояли.

Очевидно, все этиосы прошли фазы подъема, перегрева, надлома и инерции, только каждый этнос по-своему. Те же этносы, которые европейцы считают «примитивиыми» и «отсталыми», потому что ныне они пребывают в гомеостазе, некогда имели своих героев и гениев, ио неумолимый Хроиос стерил их. От былых живых культур у них сохранились обрывки преданий и трудовые навыки; это «старички», а ие «дети».

Описанная закономерность противоречит принятой иа Западе теории иеуклонного прогресса, но вполие отвечает принципу диалектического материализма. Еще Энгельс использовал для наглядности пример зерна, дающего колос с обилием зерен, а русский поэт XX века В. Ходасевич интерпретировал этот пример в отношеиии исторических закономериостей во времени:

И ты моя страна, и ты ее народ
Умрешь и оживешь, пройди сквозь этот год,—
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

К явлениям этиогенеза применимы и другие законы диалектики. Переход количества в качество наблюдается при взрывах и становлении этносов (иегэнтропии); в последующей этнической истории (энтропии) он только меняет знак. Если непосредственно после толчка или взрыва энергия расширяет свой ареал, усложияет систему, создавая дополнительные звенья и блоки,— сословия, секты, торговые компаиии и т. п., то с определенного момента процесс идет в обратном направлении: количество подсистем уменьшается, энергетический баланс системы снижается и система упрощается настолько, что у нее остается либо один элемент-реликт, либо и он рассасывается между отдельными системами. Мозаичность этносистемы объяснима через закон единства и борьбы противоположностей, а неизбежная смена одних этносов другими — через закон отрицания отрицания.

Как известно, диалектический материализм изучает наиболее общие законы развития природы, общества и мышления. Применение диалектического материализма к изучению развития общества сформировало исторический материализм. Однако этнос — это феномен биосферы, и все попытки истолковать его через социальные законы развития общества приводили к абсурду. Ограничимся одним наглядиым примером. Известно, что национально-освободительные движеиия несопоставимы однозначно с социальными конфликтами в рамках какой-либо страны. Здесь спорить не о чем.

Действительно, если бы принадлежность к этиосу определялась только отметкой в документе, то не иужен был бы Институт этнографии АН СССР, а достаточно было бы паспортного стола и заполнения формы № 1. Однако вряд ли кто-либо с этим согласится. Для объяснения природных феноменов надо искать природные причины.

**СОМНЕНИЯ И НЕДОУМЕНИЯ.** Неоднократио доводилось слышать вопросы: «Каким образом мы, люди, можем узнать о такой форме энергии, как биохимическая энергия живого вещества биосферы? Большая часть форм энергии воспринимается органами чувств: свет (движение фотонов) — зрением; звук (колебание атмосферы) — слухом; тепло (движение молекул) — осязанием; электромагнетизм — несложными приборами. А как признать достоверным существование особой биохимической энергии, находящейся в телах людей и при этом сопоставимой с прочими формами энергии через энергетический коэффициент? Вот если бы тут была еще и душа — все было бы ясно, ибо к мистике мы привыкли».



Да, действительно, все виды энергии воспринимаются не непосредственно, а через наблюдаемый эффект, но для получения эффекта необходима структура из многих элементов. Никто не видел единичного фотона, никого не обожгла одна молекула, невозможно слушать музыку ниже слухового предела, а катионы и анионы были не наблюдены, а высчитаны. Так и биохимическая энергия была обнаружена В. И. Вернадским в огромном скоплении саранчи; изучая же отдельное насекомое, он не увидел бы ничего. Вот почему для поставленной нами цели нужна была история, как фиксация биохимических процессов в человечестве на популяционном уровне и за достаточно долгие сроки. Мимолетный взгляд дал Платону право определить человека как «двуногое без перьев». Над этим определением хохотали еще афиняне.

В наше время всем известно, что каждый человек — член этноса, этнос же входит в биоценоз своего географического региона, являющегося фрагментом биосферы планеты Земля. Земля, в свою очередь, входит в состав Солнечной системы — участка Галактики и Метагалактики.

Таким образом, все мы сопричастны Вселенной, но путем иерархической совместимости макромира с микромиром, от которого людей отделяют клетки их тела, молекулы, атомы и субатомные частицы. Любая научная задача может быть корректно поставлена и решена только на своем уровне.

Но как же удалось увидеть эффект биохимической энергии живого вещества людей, которые так разнообразны и зависимы не только от природы, но и от культурного и социального развития? Это открытие пришло к автору весьма неожиданно — при изучении свойств исторического времени.

Линейная и циклическая системы отсчета времени употребляются ныне для календарей. Такое время не зависит от природных явлений и тем более от деятельности человека. Но время, в которое мы живем и которое ощущаем, измеряется числом событий. В отличие от календарного оно неоднородно. В нем есть свои горы и пропасти, трясины и равнины; по равнинам так приятно идти!

И это время как раз показывает неравномерность распространения энергии живого вещества на Земле. Ведь если бы этой неравномерности не было, то люди бы довольствовались простым насыщением и размножением, то есть самосохранением индивидуально и в потомстве. Так подсказывает инстинкт.

Но не все люди шкурники! Некоторые обретают стремление с обратным знаком, стремление к «идеалу», под которым понимается далекий прогноз. Они стремятся либо к победе над врагом, либо к открытию новых стран, либо к почестям от своих сограждан, либо к накоплению... безразлично чего: денег, знаний, воспоминаний, либо к власти, обладание коей всегда влечет за собой беспокойство и огорчения.

Эти люди могут быть добрыми и злыми, умными и глупыми, нежными или грубыми. Это не важно; главное, что они готовы жертвовать собой и другими людьми ради своих целей, которые часто бывают иллюзорны. Это качество, по сути,— антиинстинкт; и назвал его новым термином — пассионарность (от латинского passio — страсть).

**ПАССИОНАРНОСТЬ.** Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось — неизвестно, но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно: история любого этноса укладывалась в колыбель описанной схемы (толчок — подъем — перегрев — упадок — затухание), а отдельные зигзаги учитывались пропорционально их значению. Оказалось, что любая живая система, будь то этнос или организм, развивается единообразно. Внезапно в ней появляется некоторое количество людей, наделенных пассионарностью,— пассионариев.

Историческое время от вспышки до затухания совпадало с фазами этногенеза и отвечало им полностью. Это были как бы «возрасты этноса», опреде-

ляемые процентом пассионариев в этнической популяции. Растет их число до определенного предела — система усиливается; выше этого предела — пассионарность уничтожает сама себя и снижается, так как пассионарии истребляют друг друга; ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, роскошь, интриги и социальные идеи. После энергетического надлома наступает длинный период инерции, когда упорядочивается хозяйство, расширяется образованность и царит законность. Но неубывающая энтропия ведет этнос к распаду.

Непонятно было лишь, как возникают сами пассионарии и чем они отличаются от своих соплеменников. Друг биолог, тоже студент, подсказал слово: «мутация». А ведь и верно! Только это микромутация, меняющая что-то в гормональной системе организма и тем самым создающая новый поведенческий признак. Человек остается самим собой, но ведет себя по-другому.

Мутации никогда не захватывает всей популяции. Мутируют отдельные особи, и по-разному. Явные уроды быстро устраняются естественным отбором, а для устранения мутантов-пассионариев необходимо около 1200 лет, причем они ухитряются оставить после себя следы своих деяний: здания, поэмы, картины, рассказы о своих подвигах, технические изобретения и моральные нормы. Впрочем, моральные нормы забываются в первую очередь.

Если бы автор не осознал все это еще в 1939 году, ему в голову не пришло бы искать объяснения исторических событий в концепциях Берталанфи и Вернадского, казалось бы, не касающихся истории.

Благодаря соединению геобиохимии и системологии с исторической географией становится понятной причинная связь между биохимической энергией живого вещества биосферы и отдельными системами — от микроорганизма до суперэтноса. Системы работают на биохимической энергии, абсорбируя (поглощая) ее из окружающей среды и выдавая излишек в виде работы (в физическом смысле). Оптимальное состояние, или гармоничность, системы, будь то один человек или многолюдный этнос,— это когда количества энергии, идущей на нужды самого организма и на пассионарность, равны. Тогда они уравновешивают друг друга и система крепка.

Если мутант абсорбирует больше энергии, он должен ее истратить, а путь к этому только один — деяния. Тогда испанские идальго едут в Америку или на Филиппины, завоевывают целые страны, обретают богатства, на 80 процентов гибнут, а уцелевшие возвращаются измотанными до предела или больными. Но ведь едут только Дон Кихоты, а Санчо Пансы сидят с женой дома. Так, Испании, в XVI веке претендовавшая на роль мирового гегемона, к 1700 году стала предметом раздела между европейскими державами, и началась война за испанское наследство.

Однако этносы способны к регенерации. Тот же испанский этнос отразил армию Наполеона. Это был подвиг, равный освоению Америки. Как он мог совершиться? Только потому, что пассионарность — наследственный признак, видимо, рецессивный, так как он передается, минуя детей и внуков, к правнукам и праправнукам. Поэтому этнические системы существуют долго.

Пример Испании не исключение. Куда ни взглянешь — тот же самый процесс. Ехидные студенты решили проверить теорию на совсем новом для автора материале: Японии и Эфиопии. И получилось то же самое: взлет, то есть мутация, подъем, то есть усложнение, спад, связанный с развитием культуры, инерция — установление цивилизации, упадок, смешение с соседями и очередной взлет. Что это закон природы — сомнений уже нет!

Но обязателен ли упадок? Да! Потому что наряду с пассионариями при мутации появляются субпассионарии — особи, абсорбирующие меньше энергии, чем требуется для уравновешивания потребностей инстинкта. Им все трудно, а желания их примитивны: поесть, выпить, поразвлечься с такой же женщиной. Таковы неаполитанские лаццарони, бродяги, описанные М. Горьким, подонки капиталистических городов, вымирающие племена Андаманских островов, которым лень наловить рыбы, нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они



лежат на берегу океана в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, курят... и счастливы.

Субпассионарии существуют повсеместно, но очень различны. Близкие к оптимуму составляют кадры преступников и проституток. Те, кто слабее, становятся алкоголиками и наркоманами, а еще ниже стоят дебилы и кретины, у которых не хватает энергии даже на то, чтобы мечтать. Эти особи за пределами нормы.

Субпассионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться. Для них характерна безответственность и импульсивность. Им нельзя ничего доверить, ибо ради минутного наслаждения они способны погубить любое дело, даже государственное или общественное. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их не пугает, потому что они просто не в состоянии его вообразить. А тех, кто пытается их вразумить, они убивают. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской империи III—IV веков. Не рабы, и не варвары, и не христиане погубили Рим, а любители цирковых зрелищ, бездельники, которых кормили даром. Ведь именно ради них истребляли население провинций и природу собственной страны — Италии, где дубравы не восстановились доселе, а склоны Апеннин заросли колючим кустарником.

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ.** Нарисованная здесь картина выглядит мрачновато, но задача науки не в том, чтобы утешать людей и тем вводить их в заблуждение. Так, правда, случалось неоднократно, но то были своего рода «академические приписки». Ученый обязан отобразить картину реального мира, сколь бы сложной и даже горестной она ни была. Преодолеть трудности можно только тогда, когда о них знаешь.

Но, можно возразить автору, зачем знать то, чего нельзя ни изменить, ни исправить? Что же, автор не верит во всемогущество человечества? Да, изменение законов Природы вне людских возможностей, хотя бы потому, что сами люди — часть Природы. Но знание законов Природы очень полезно, ибо позволяет избежать многих бед.

Люди не любят землетрясений, но предотвратить их не могут, особенно когда вулкан образуется под водами Тихого океана. Зато сейсмография предупреждает о начале бедствия, и это позволяет своевременно эвакуировать обитателей морских берегов в горы и предохранить от губительного цунами. Метеорология также предупреждает о засухах и наводнениях, а ведь они, как и этногенез, возбуждаемый мутациями, за пределами активности людей.

То же самое относится к этногенезу. Даже если люди не могут ничего поделать с этим статистическим потоком вероятностей, то они могут не делать чего-то очень важного — не поворачивать северные реки, не поощрять курение подростков, не выставлять студентам в институтах пятерки за двоечный ответ. А для того, чтобы избежать ошибок, знание истории и этнологии необходимо.

Теперь закономерно спросить автора: почему он, владея такими нужными людям понятиями, как «этногенез» и «пассионарность», тридцать лет не публиковал своих открытий? Использовал ли он свои знания или молчал, чтобы избежать столкновений с коллегами?

Автор свои мысли использовал эгоистично: он написал кандидатскую и докторскую диссертации по историческим наукам (историю древних тюрок), решив «алгебраически» очень трудные задачи, а потом перевел их на тривиальный «арифметический» язык, чтобы не шокировать членов ученого совета истфака. Если бы они знали, что есть способ писать научные работы легко и убедительно, то не голосовали бы за автора единодушно.

Публиковать новую методику следует только тогда, когда каждый тезис может быть убедительно аргументирован. Интуиция автора никого не убеждает, если же ему удастся решить частную задачу, то это будет отнесено на долю случая. А ведь мы работаем для людей и должны считаться с возможностями и привычками своих коллег.

Пассионарная теория этногенеза была весьма благожелательно встречена географами, геологами, зоологами, ботаниками и философами, но не вызвала ин-

тереса у историков-источниковедов, филологов и востоковедов. А жаль. Она и у них нашла бы применение.

И, наконец, замечание, относящееся не к теории, а к некрологу. Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. Если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества, один из разделов диалектики природы.

**ПЕРЕД ЛИЦОМ НАУКИ.** В Александрийский век античной культуры (I—III века) говорили: «Эллины ищут знания, а иудеи — чуда». В наше время все поиски истины присвоили себе люди, служащие в научных институтах. Однако способы работы и цели научных сотрудников и ученых различны и вызывают к себе различное отношение современников.

Первый и основной способ можно назвать «седалищным». Это составление справочников, словарей, пособий. В гуманитарных науках это подготовка текстов к печати и библиография; в археологии — описание коллекций и в лучшем случае выполнение картосхем, каталогов и статистическая обработка собранных материалов. Работа эта пользуется заслуженным уважением, обеспечивает приличную зарплату и не приносит авторам ни беспокойства, ни известности.

Второй способ можно назвать «мотыльковым». Научный сотрудник много читает, а затем излагает чужие мысли своими словами. У него много читателей, неплохие гонорары и красивая жизнь. По сути, это разновидность литературы, причем изящной, и поскольку популяризация науки нужна, то такие авторы обретают симпатии читателей и коллег. Но жизнь их сочинений мимолетна.

Третий способ — накопление знаний, создание монографий. Но если авторы ограничиваются публикацией накопленных сведений, их труды не находят читателей. Удержать интерес к своей работе можно, только открыв себе вену и переливая горячую кровь в строки; чем больше ее перетечет, тем легче читается книга и тем больше она приковывает к себе внимания. Зато результаты будут плачевны, ибо коллеги не простят автора. «Ишь ты, его читают, а меня нет!» Большие неприятности по службе обеспечены.

Однако такие книги живут долго. Часто они переживают авторов, а те, исполнив роль доноров, умирают спокойно, с сознанием исполненного долга. Их вспоминают с уважением.

Все три способа были испробованы автором, и лишь после этого он прибег к четвертому. Хуже всего тем, у кого научное озарение охватывает сердце и мозг пламенем постижения истины. То, что было погружено во тьму, вдруг прояснилось; то, что было перемешано и перепутано,— становится на свои места. Собственные ошибки, бывшие привычными, устоявшимися мнениями, отваливаются как шелуха, но... рассказать об этом никому нельзя, потому что даже друзья предпочитают воспринятые с детства представления необходимости передумать заново, пусть не все, но многое. Да и сам первооткрыватель начинает не верить себе. Огонь в сердце, обжигающий мозг, его пугает. Он проверяет себя и свою мысль, и ему становится легче, потому что горение превращается в тление, но душа продолжает преображаться неуклонно. Наконец наступает момент, когда он не может молчать. Он рассказывает, но не находит тех огненных слов, которые бы донесли смысл его открытия до собеседников. Он знает: надо заставить их думать, и когда это удается, когда пламя мысли передано другим, он обретает счастье.

Но зачем оно ему? У него в душе уже все сгорело. Единственное, что ему осталось,— это повторять уже известное. Поистине подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся,— это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории Науки. Вот почему это изложение открытия так названо: автонекролог.

---

***Критика***

*Евгений Шкловский*

# ИДУЩИЕ ВОСЛЕД

Читая очередное произведение молодого прозаика, нередко ловишь себя на мысли, что все хорошо знакомо — и темы не новы, и разработка их не отличается особой оригинальностью, да и сама художественность, если положить руку на сердце, не впечатляет. По тем же кругам идет молодая проза, что и проза писателей старшего поколения, почти след в след, явно теряясь в тени предшественников и почти не предлагая чего-то *своего*, осязаемо свежего — взгляда, мысли, формы...

И тут же сам себе пытаешься возражать: да, по тем же кругам! Но что, собственно, здесь дурного? Разве эти самые «круги» не наша общая жизнь с ее проблемами и противоречиями? Почему молодая проза должна разорвать их? Если она сама, положим, не чувствует такой необходимости? Неужели только для того, чтобы заявить о себе, о том, что она есть — и не какая-нибудь, а именно молодая?

Право же, несколько странная складывается ситуация: иных молодых уже и молодыми не назовешь в их-то лета; другие, выпустив уже с добрых полдесятка книг, тихо и незаметно пополнили немалочисленный отряд наших литераторов, так и не заинтересовав никого своими произведениями.

Мы же тем не менее продолжаем искать молодую прозу, бесплодно спорить, есть ли она, или ее нет, называть одни и те же мало-мальски выделившиеся имена. И в конечном счете пребываем все в том же недоумении.

В чем же дело?

То ли мы все бессознательно ждем гения, чье появление сразу же прояснит картину, и на скептический вопрос можно будет ответить: «А как же! Вы что, Н. не читали?» То ли вообще наши ожидания неправомерно завышены, а пройдет немного времени и, «словно в опустевшем помещении», станут слышны их голоса. И мгновенно все решится: скептики будут посрамлены, а недоумения рассеются.

Так ли рассудит время или иначе, проходить мимо произведений молодых было бы неправильно. И в них наверняка выразились какие-то мысли, настроения, чувства, конфликты, наблюдения. И в них так или иначе отпечаталась атмосфера эпохи с ее веяниями. И они тоже сказали что-то о современном человеке и его духовном состоянии.

Даже идя проторенными путями, молодая проза не могла не затронуть, пусть даже почти бессознательно, какие-то важные нервные узлы нашей жизни. Но чтобы и нам нащупать их, нужно пристальнее вглядеться в эту прозу, в знакомом попытаться различить новое и понять его.

Может быть, именно такой взгляд поможет нам всем найти ответы и на тревожащий общество вопрос о том, что происходит сегодня с человеком, особенно с молодым, и на вопросы, касающиеся самой молодой прозы: почему она такая, а не иная, и где ее усилия способны увенчаться общезначимым результатом, а где — завести в тупик.

## В КРУГЕ СЕМЕЙНОМ

Интересом литературы к «мысли семейной» сегодня никого не удивишь. На протяжении почти трех последних десятилетий она была одной из важнейших в нашей прозе. Встревоженная кризисом, переживаемым семьей, литература чутко улавливала и процессы, происходящие, так сказать, на глубине,— ослабление традиционных связей между людьми, изменение нравственно-психологических установок человека, его ценностных ориентаций.

Не обошла эту тему и молодая проза. Но что существенно: она, как и проза

так называемых сорокалетних, уже не столько тревожилась и уж тем более не била в набат, подобно некоторым произведениям писателей старшего поколения, сколько принимала непрочность семейных уз как данность.

Достаточно сравнить муки Кости Зорина в «Воспитании по доктору Споку» В. Белова, героя, во многом выражающего взгляды автора, и, скажем, переживания героев повести Татьяны Набатниковой «Дочь» («На золотом крыльце сидели», Челябинск, 1987) или ее же романа «Каждый охотник», чтобы сразу открылось различие.

Для Кости Зорина распад его семьи — катастрофа. Он не из колеи вышиблен — из жизни. И не потому, что так уж любил жену Тоню (слово «любовь» не из лексикона В. Белова), просто так устроено его сознание: семья — вот главное, в ней человек обретает себя самого — в продолжении рода, в заботе о детях, во взаимной поддержке.

Иное у Т. Набатниковой. Ее персонажи могут любить друг друга, ревновать, сходить с ума, но это *личное* дело каждого из них, касающееся *другого* лишь отчасти. Каждый — сам по себе, отдельно, со своей индивидуальной судьбой.

Здесь нет, как у того же В. Белова, надындивидуальной идеи семейственности, очага, рода, которая словно витает над его заплутавшими в дебрях города персонажами. Не получилось — разбежались, чемоданы близко. И неважно, что, может быть, поодиночке им хуже, но зато своя воля и сам себе хозяин.

Проблема ставится жестко: в том и дело, что поколеблена идея семьи, во всяком случае, прежние основания, несмотря на свою нравственную доброкачественность, уже не в силах ее сохранить. А новых нет, не выработались и, бог весть, выработаются ли.

В романе Сергея Алексеева «Рой» («Наш современник», 1986, №№ 9—11) идея семьи, рода, большого и разветвленного, как бы сливающегося с деревенским *миром*, является, можно сказать, основополагающей. Ее выражает и ключевой для произведения образ пчелиного роя. Оторвавшись от него, пчела погибает. Так и разрыв с семьей, с родом — вольный или невольный — означает и утрату нравственной опоры, и в конечном счете потерю человеком себя.

«Надо дать возможность, чтобы дети докормили тебя, донянчились с тобой, если в старости откажут ноги, и чтобы последнюю кружку воды не кто-нибудь — дети подали,— размышляет Заварзин-старший, глава семьи, судьбу которой рисует автор «Роя».— Надо, чтобы на их глазах целая человеческая жизнь прошла, от начала и до конца... Не старость накапливалась в доме, не едоки, от которых лишь обуза,— создавалось *гнездо* из нескольких поколений, способное словно бы накапливать плодородие».

В таком взгляде на семью — большая человеческая правда, выношенная многими и многими поколениями. И то, что она дорога писателю, нет ничего удивительного.

Однако и С. Алексеев изображает распад такой семьи. Разъехались из родного гнездовища сыновья Заварзина, свили собственные, как оказалось, непрочные, к отцу наведываются редко, да и то больше за деньгами, чем по велению сердца. А он-то мечтал: часто будут приезжать, дом большой, чтоб всем места хватило — с семьями, выстроил. Не дом — хоромы! И что же? Не тянет детей на родину, да и друг с другом как чужие.

Писатель болеет за ту прежнюю, патриархальную, с малолетства привычную жизнь, ценности которой воплощает для него Заварзин-старший, добросердечный, рассудительный и хозяйственный человек. Тем не менее в романе нет призывов вернуться к вековечному укладу, хотя автор делает упор именно на роевое начало.

Так что же: рой — выход?

Но «роится» и профессорская семья жены молодого героя Сергея Заварзина, пробивая ему (свой же!) кандидатскую и докторскую. «Роятся» браконьеры, из-за своей выгоды способные уничтожить не желающего мириться с ними инспектора рыбнадзора. А ведущие между собой борьбу за землепользование министерства и ведомства, знающие только *свой* интерес? А подростки, танцующие, как дикари, вокруг подожженной ими же избы и готовые наброситься всей «кодлой» на помешавшего человека?

В таком «роении» отдельный человек перестает чувствовать личную ответственность, полагаться на собственную совесть.

Близкий автору Сергей Заварзин, горожанин, кандидат наук, так ощущает семейное сообщество — отца, братьев: «Ему хотелось обнять сразу всех, самому вжаться в этот семейный ком и говорить, говорить, захлебываясь слезами, что они теперь будут жить дружно-дружно и долго-долго».

Вслушайтесь: «самому вжаться в этот семейный ком...».

Вжаться, то есть забыть о себе и своих проблемах, как бы заново проникнуться родственным единством и тем домашним, неповторимым теплом, которое — словно магический защитный круг и освобождение...

Но освобождение от чего?

Да все от того же одиночества, от внутреннего разлада, от чувства беззащитности перед непонятной, агрессивной жизнью, от холода окружающего мира и от ощущения своей бесконечной малости в нем.

С. Алексеев вглядывается в человека, фактически отпавшего от родовой спайки и мучительно, но с надеждой пробивающегося из своего далека к воссоединению с ней. И озабочен писатель не столько даже прочностью семейного начала,



сколько обретением человеком цельности и органичности существования.

Человек все равно *сам*: и ответственность брать, и решать любые проблемы все-таки ему, а никому другому. И путь в этом мире торить, и смысл обретать, пусть даже трижды известный, опять же ему *самому*.

## СИНДРОМ КОЛЕИ

Итак, от домашнего очага, от семейного и родового целого как аккумулятора жизненного тепла и энергии к отдельному, замкнутому в себе существованию. К *самости*. Ведь и семья в произведениях молодых часто становится своего рода лабораторией, где испытывается человек.

Испытывается — на что? Пытаясь ответить, приглядимся к состоянию двух персонажей — героя рассказа Сергея Бардина «Сын» («Целый день город», М., «Советский писатель», 1985) и героя повести Леонида Бежина «Мужчина в браке» («Метро «Тургеневская», М., «Советский писатель», 1979).

Оба героя узнают о рождении своего первого ребенка. Вместе с бардинским героем мы не сразу, но все больше и больше постигаем всю значительность и радостность события. «И он, отодвинувшись и отстранившись, сам не зная, что ж это происходит, отворачивает голову от стены и, открыв глаза, снова видит этот не синий, а радужный, радостный мир — расцвеченный и жаркий,— и словно струна лопается у него в мозгу.

И он вдруг разом все это понимает.

Сын».

Почти откровение! Только надо ли было так много внимания уделять этому, казалось бы, естественному чувству отцовской радости, так старательно поэтизировать его? И без того ведь ясно, какое замечательное событие произошло.

Однако и восторг, и мир, «расцвеченный и жаркий», не случайны. Реакция-то, оказывается, не столь уж безусловная, событие не такое значительное. Ходит же университетский преподаватель Дроздов — в повести Л. Бежина — с цветами вокруг родильного дома и удивляется тому, что ничего не чувствует.

Так вот, не является ли некоторая эмоциональная взвинченность у С. Бардина своего рода отталкиванием от маячащего где-то поблизости и пугающего призрака душевной анемии, подобной той, что испытывает Дроздов? И восторг, и поэтизация — в противовес гнетущей силе странного бесчувствия.

Что же, собственно, беспокоит молодых писателей? Почему они избирают подобную рентгеноскопию даже не поступков героев, а, казалось бы, вполне однозначных *состояний*?

Вопрос не из простых. И побуждает он задуматься прежде всего о том ровном, «равнинном», несмотря на глубинные драматичные импульсы, течении жизни последних десятилетий. «Бремя штиля»,— довольно точно сказал о нем А. Курчаткин, прозаик из «сорокалетних».

Сейчас мы куда чаще прибегаем к политическому определению этого времени как «эпохи застоя», но в жизнеощущении поднявшейся поросли застой отозвался именно как *бремя*. Как огрузшая в крови и в душе странная тяжесть, которая нами еще по-настоящему не осознана.

Что сразу бросается в глаза при чтении молодой прозы — это совершенно отчетливая *приватность* героя, молодого и немолодого. Он, как правило, не занимает никаких ответственных постов и должностей, не горит особенно на работе, не воюет за идею и даже не отстаивает каких-то принципов. Он просто... *живет*.

Да, живет, совершая обычный круг жизни и проходя через обычные ее этапы: детство, школа, выбор профессии, любовь, семья, работа и т. д. Цикл обыкновенной человеческой жизни — без взрывов, катаклизмов, душевных и физических перегрузок, без того многократного давления истории, которому подвергался человек двадцатого столетия. Без потрясений и без каких-то «судьбоносных» для всего общества, для всего народа событий.

В шестидесятые годы лава истории, казалось бы, совсем недавно бурлившая буквально на глазах, вовлекавшая в свой неостановимый поток и желавших, и нежелавших, начала остывать. Обожженные старшие поколения еще чувствовали ее жар, тревожно ловили ее отблески, а молодые получали ее уже заботливо отформованной, отшлифованной до глянца в соответствующих учебниках и парадных речах.

Жизнь медленно, но надежно входила в берега и тоже начинала остывать. Наиболее памятное многим молодым общезначимое событие, которое можно встретить в прозе их как *свое*, как лично ими пережитое,— полет Юрия Гагарина.

Обыденность вступала в свои права. И в этой обыденности предстояло самоопределяться не столько даже старшим, сколько младшим. Им, младшим, сызмальства наслышанным об «огнях-пожарищах», предстояло осваиваться среди иных мер и ценностей.

Впрочем, одно главное событие их еще ожидало, пробуждало в сердце неясную, но сладкую надежду, свойственную вооб-

ще юности. Счастье! Правда, что оно такое — никто не ведал, но разве не ради него, возвышенного и упоительного, полыхала гигантская топка и текла лава?

...Глянец слепил, рывки уже не увлекали, бодрые и правильные слова не только не вдохновляли, но и почему-то вызывали недоверие. А вот счастье... С ним все оказывалось много сложнее, нежели думалось.

Едва выйдя из благостного неведения детства и уже готовясь принять счастье в руки, вдруг открывали чуть ли не с ужасом, что расстилающийся впереди и вокруг простор жизни просматривается *насквозь, до конца*. Все предопределено и предрешено, и, куда ни сверни, окажешься в той же колее. Какое уж тут счастье!

Героиня рассказа Т. Набатниковой «Тебя от ранней зари...» («На золотом крыльце сидели», Челябинск, 1987), которая в детстве считала, что все счастье — ее, и «предчувствовала свое необыкновенное, прекрасное будущее», став уже взрослой женщиной, матерью, признается с глухой и застарелой тоской: «Я думаю о том, что зря не родила еще одного ребенка. Не торчала бы сейчас на дискотеке. Жила бы в забытьи забот короткими перебежками — от одного дела до другого,— а они расставлены близко,— и не было бы у меня для обозрения такой точки, с которой я могла бы увидеть начало жизни и ее конец и ужаснуться».

Критика уже отмечала социальную зоркость писательницы. И здесь, рисуя вполне обычную, ничем особенно не выделяющуюся женскую судьбу, она точно обозначает важное и характерное психологическое явление. *Синдром колеи.*

Проявления этого синдрома разнообразны.

Тут тоска *насквозь*, оторопь стремительного перепада от юношеских светлых надежд на неведомое счастье к узде зрелости и добывания хлеба насущного, от веселой и раскованной беззаботности — к давящему бремени ответственности, от предчувствия праздника — к тусклой веренице будней.

Тут и тоска в предчувствии долгого-долгого пути, который еще нужно пройти — да вот достанет ли сил? Уж больно быстро иссякают они, иссякает вкус к жизни, интерес к ней.

Ранней-то усталости, казалось бы, откуда взяться? Так нет — валит с ног здоровых и крепких.

«Круг» — так назван рассказ Владимира Курносенко («Юность», 1987, № 9).

В купе поезда рожает женщина; случайно оказавшийся среди попутчиков студент-медик помогает ей. А в тамбуре между тем происходит такой философский разговор:

«— Ага, зачем?

— Вот-те так. А как же люди жить будут, коли детей не станут родить?

— А зачем им жить?

— Вот тех-те, приземлились! Зачем? — Старик задумался. Был уверен, что ответит. По лицу было видно.

— Ну дак зачем? — улыбнулся Зубов.

— Чтоб радоваться,— не очень уверенный прозвучал ответ.

— Радоваться! — подхватил Зубов.— А много ты радовался-то? Небось пахал в своем колхозе от зари до зари да картошку жрал с семечками. Петёк вот еще наделал грамотеев. А они теперь своих наделают. И сызнова опять. Порочный круг!»

Антитеза, как то свойственно многим рассказам В. Курносенко, прочерчена резко: для старика жизнь дана на радость; для возвращающегося из колонии молодого наркомана Зубова, который тут же, в поезде, принимается колоться, она порочный круг. Порочный, потому что бессмысленный.

Конечно, удобней счесть такой мрачный и, в сущности, убогий взгляд следствием недуга, пожирающего персонаж. Да и отвратителен этот приблатненный Зубов с его агрессивной озлобленностью!

Но только следствие ли?

В том-то и дело, что скорей—и автор подводит нас именно к такому выводу — причина, один из импульсов, подтолкнувших Зубова к его страшному саморазрушению.

## ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

«В неосвещенном переулке Солдатов поднял голову и увидел над собой черное далекое небо с холодными, равнодушными звездами. Сколько раз *там* он видел над собой этот безжалостный космический холод, и сейчас удивительно было ощутить небо таким же здесь. Кругом за толстыми стенами домов жило много разных людей, в окнах теплые и мягкие огни, где-то недалеко жужжали одинокие вечерние троллейбусы, а небо оставалось неизменным, и над городом — стужа, беспредельность и равнодушие».

*Там* — в горах, в экстремальных условиях, где человек один на один со стихией. *Там* — предельная собранность, воля, смекалка, мужество и ясное понимание стоящей перед тобой задачи. У Юрия Старостина, автора повести «Самый первый снег» («Заповедь речки Дыбы», М., «Современник», 1987), откуда взят вышеприведенный пассаж, сказано еще определенней: «счастье конкретной цели».

Конкретная цель, которую нужно достичь; работа, которую, несмотря на



риск, нужно непременно выполнить,— все это поединок со стужей, с беспредельностью и равнодушием неба. Если Сергей Заварзин, как мы помним, хотел избавиться от вселенского холода, вжавшись в семейный ком, то геодезист Солдатов побеждает его вот так — преодолевая «на пределе» встающие перед ним трудности и обретая тем самым смысл существования.

Но стоит ему вернуться к спокойным и размеренным будням, как герой с удивлением и даже испугом понимает, что не готов... «к этой не тяжелой, даже в общем-то легкой по быту, но такой сложной по отношениям между людьми жизни». И опыт, приобретенный им в горах, оплаченный подчас дорогой ценой, ни к чему.

Читая повести Ю. Старостина, рассказывающие о нелегком и опасном труде геодезистов, невольно ощущаешь, что он сознательно или бессознательно рисуется автором в противовес той жизни, где «тепло и спокойно».

В экстремальных условиях, которые не случайно ассоциируются у писателя с войной,— и конфликты резче и понятней, и человек обнажается в них более глубоко, и ценности выступают более рельефно: добро и зло, мужество и трусость, великодушие и подлость... И закон там определяется четко: «Не вокруг надо опору искать, а самому внушать другим силу и уверенность».

Череда будней — со службой в конторе, с воскресными днями, театрами, книгами и т. п.— вроде бы не предъявляет к человеку жестких и максималистских требований, позволяет расслабиться. Но, поди ж ты, теряется даже сильный — и с людьми не просто, и над крышами домов безжалостный космический холод... Как же жить?

Вот именно — *как*?

Казалось бы, свободная от тяжких испытаний, какие выпали на долю дедов и отцов, в сущности, самая обычная, нормальная жизнь предстает перед многими героями и авторами молодой прозы как самая серьезная, самая *трудная* проблема. И — испытание.

Разве не из такой — простой, чистой и здравой — жизни черпала поэзию классика прошлого века? Разве не на нее, одухотворенную такими человеческими ценностями, как доброта, участие, сострадание, трудолюбие, честность, опиралась она в своих этических воззрениях и идеалах?

Однако и для такой жизни требовалась соответствующая расположенность души, собственно, и делавшая человека человеком—и не каким-нибудь там особым и исключительным, а нормальным.

Да так ли уж бессобытийна обычная повседневность, если взглянуть на нее глазами, отвычными от зрелища мировых пожаров и исторических разломов?

Событие не только нечто экстраординарное, взрывное, но еще и *со-бытие*, то есть усиление контакта с бытием.

Разве не событие — рождение человека? Еще какое! Но ведь чтобы оно стало событием, его еще надо ощутить таковым, войти с бытием в более глубокое и тесное взаимодействие. По-настоящему соприкоснуться с ним.

И молодые писатели напряженно вглядываются в своих героев, только-только узнавших о своем отцовстве: как они? Что чувствуют? Понимают ли значимость свершившегося? Ведь если такое событие задевает их лишь краем или, еще хуже, вовсе не задевает, то чем им тогда вообще жить? Что в таком случае наполнит и осветит их существование?

Эти вопросы встают перед молодыми писателями. Главное, что тревожит их: а не разучились ли мы быть людьми? Испытывать простые человеческие чувства, радоваться тому, что достойно радости, и горевать о том, что в *нормальном* человеке вызвало бы именно такой, а не иной душевный отклик?

Рассказы Татьяны Толстой выделились в текущей прозе не только своеобразием художественного видения и индивидуальностью стиля, но и своей темой, приверженность к которой писательница обнаруживает почти в каждом произведении.

Как плотно, до задышки, до судорог зажаты ее герои бытом, нездоровьем, неудачливостью! Как мучительно бьются они в этих неумолимых тисках и падают поверженными!

А ведь мир рисовался им иным — обольстительным и прекрасным, пропитанным «таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде». В их мечтах и фантазиях «били торжественные колокола, и глаза прозревали доселе невидимое».

Но при первой же встрече с реальностью их розовые мечтания смяты, растоптаны, цветной мир подернут тусклым серым налетом. Вместо праздника — «остывшие шерстяные мыши» и волчий вой.

Беспощадно, с какой-то даже неистовостью разрушает писательница замки на песке, возводимые ее героями, мифы, которые они творят, отворачиваясь от опостылевшей обыденности. Срывает розовый флер с миражей, развенчивая их как бегство от жизни и оставляя героев у разбитого корыта.

Положим, можно понять и принять авторскую иронию, когда речь идет о Рите из рассказа «Факир» («На золотом крыльце сидели...», М., «Молодая гвардия», 1987),— да, такое же название, как у . Набатниковой. Героиню увлек некий Филин, кудесник с квартирой в высотном доме, окружающий себя уникальными вещами и словно вышедшими из сказки людьми. И вот уже не квартира — храм, Филин — всемогущий жрец, пользующийся высочайшей доверенностью, а на алтарь — только бы позволили, только бы приняли жертву! — можно положить и себя, и близких.

Но вот как быть с прочими, безвинно виноватыми, вроде того же Петерса, грузного, нелепого, никому не нужного? Да и Рита или другая — Римма из рассказа «Огонь и пыль», чья мечта не простирается дальше собственной квартиры с голубыми, нет, лучше белыми шторами, белого пеньюара (уже куплен тайно: не удержалась) и вьющегося аромата кофе,— они с их, увы, убогими запросами не люди разве? С какой такой сияющей вершины духа (где он, дух?) читать им свой непреложный приговор?

Т. Толстая словно обижена на своих персонажей: жалкие, размечтались, перышки распушили, а того, что под ногами, что в них самих, нераскрытое, невостребованное, не видят... Обижена за жизнь, за ее непонятость и недооцененность, за навязываемую ей, пусть розовую и голубую, но умозрительность, искусственность. За то, что загоняют все в ту же *колею*.

В пенящемся, изысканном, почти барочном стиле писательницы, в ее неожиданных, нередко причудливых метафорах и сравнениях словно играет сама жизнь, дразнящая, ускользающая и манящая, слышна ее привораживающая музыка. И авторская ирония в рассказах как бы сливается с ее собственной иронией.

Однако за такого рода максимализмом утверждения вольной стихии у Т. Толстой важно не упустить и другое, не менее существенное — диагностику современной души.

Здесь, как и в произведениях других молодых, нет ни явной невооруженному глазу социологичности, ни открытой публицистичности, и тем не менее совершенно отчетлив интерес писательницы к *растерянной* душе. К душе неприкаянной, не знающей, в чем осуществиться, тоскующей и томящейся. К душе отгораживающейся от жизни, замкнутой на себе, которая, не имея каких-либо духовно значимых ориентиров, подменяет их суррогатами и тешит себя миражами.

## РАСТЕРЯННАЯ ДУША

Проблема «нормального» человека в последнее время остро встала перед всей нашей литературой — над ней размышляли Ю. Трифонов и Ф. Абрамов, В. Распутин и В. Астафьев, А. Битов и В. Маканин...

Не случайно, например, Вл. Гусев, как бы говоря от лица поколения «сорокалетних», признается, что его главной мечтой как литератора «стала мечта о нормальном человеке — не о среднем, а нормальном» и что «из этой мечты о полноте сил, о целостности высокой личности, о нормальном человеке исходит наша деятельность».

Мы слишком долго держали в запасниках ценности, без которых немыслима именно нормальная, неискаженная, полнокровная человеческая жизнь. Слишком многое объявляли без всяких на то оснований мелким, необязательным, мещанским и т. п., а в свое время, например, был почти узаконен и возведен в ранг нормы отказ от родителей, от мужа или жены... Родственные, дружеские связи пытались подменить какими-то иными, измышленными, выкручивая человеческую душу. И не пожинаем ли мы сегодня плоды такого выкручивания, обернувшегося прорехами в тонкой ткани души?

Не отсюда ли в конечном счете повышенное внимание молодых прозаиков к «мелким» переживаниям? Не отсюда ли их стремление рассмотреть каждый эмоциональный всплеск, каждое движение души своих героев? Рассмотреть и проверить на искренность, на нравственную доброкачественность, на человечность. Одним словом, на подлинность.

Эта внутренняя установка может быть романтизированной, как, например, у Сергея Бардина, Валерия Болтышева или Андрея Яхонтова; психологизированной, как у Александра Мелихова, Анатолия Кирилина или Владимира Якименко; лирико-исповедальной, как у Петра Краснова или Ильи Картушина, и вряд ли было бы верно пройти мимо нее, не попытавшись вникнуть в ее природу.

Ничего особенно нового для литературы как «человековедения» тут нет. Однако есть известная разница в понимании своей задачи писателями старшего поколения и молодыми. Если первые ставят проблему нормальности прежде всего как *социальную*, то прозаики свежего притока подходят к ней более отвлеченно, рассматривают ее главным образом в индивидуально-личностном плане. Они решают ее преимущественно как проблему самоопределения человека.

Частное существование сегодня остается для молодых главным объектом художественного исследования, но и тут их подступы к растерянной душе, которая может многое поведать об обществе и его социально-нравственном тонусе, их способы диагностики оказываются довольно ограниченными.

Герой романа Александра Иванченко «Автопортрет с догом» («Урал», 1985, №№ 7, 8) Роберт Мамеев, тридцати с лишком, пробовал себя в живописи, учился на искусствоведческом, откуда был безвинно изгнан, пил горькую, лечился и теперь, работая художником-оформителем на заводе, фактически прозябает при своей легкомысленной, эгоистичной, претенциозной, но... любимой жене Алисе. Свою жизнь он считает конченой, ничего от нее не ждет и с состоянием своим вполне смирился.



Что же, собственно, повлияло на героя, повергнув его в такого рода жизненный коллапс? С кем мы имеем дело — с неудавшимся художником? С разочарованным скептиком? С лишним человеком? Или с обыкновенной и вполне заурядной бесхарактерностью?

Автор и сам, похоже, в своем отношении к герою не определился. То представит рассуждения Роберта, его изощренную рефлексию как необязательную игру, как *фразу*, то доверив ему многое из собственных выношенных мыслей, так увлечется, что уже и не понять, с кем мы имеем дело: с живущим, по признанию героя, «одной печенью» Робертом Мамеевым или с новоявленным Шопенгауэром.

«Говорят, что я угрюм, нелюдим, не люблю людей, ищу одиночества,— исповедуется герой.— Не скрою, ищу. В одиночестве, думается мне, вопреки распространенному мнению мы достигаем объективности существования (и мышления), ибо всякое сосуществование с другими пристрастно, несправедливо, полно ошибок, случайно, нечаянно».

Тот узкий и душный мирок самонадеянных, ограниченных людей, в котором вертится жена Роберта Алиса, действительно может заставить предпочесть одиночество как более истинный способ жизни. Но ведь и сам Роберт не слишком похож на человека, одержимого идеей самосовершенствования, не стремится к жизни более полной и правильной. Выходит, что подобное глубокомыслие — всего лишь красивый жест, попытка самооправдания.

А. Иванченко отлично видит и слышит слово, его оттенки... Но игра со словом нередко завораживает его, и тогда повествование, не побуждаемое к движению авторской мыслью и развертываемой коллизией, выдыхается, начинает устало топтаться на месте.

Или писатель просто не знает, как быть с героем, куда повести, с чем или с кем столкнуть. Ему мешает внутренняя аморфность Роберта, его бесхарактерность.

И все-таки выбор героя не случаен. В нем есть и ум, и сердце, и способности... Вот только к жизни они оказываются неприложимы, не находят в ней никакого полезного применения.

В самом деле, почему?

Чтобы самоосуществиться, нужно приложить усилия — герой же к ним неспособен. Нужна воля — у него она почти атрофирована. Беда Роберта в том, что он не знает, *зачем* живет. Перед ним нет ни какой-то личной, ни, что не менее важно, *общезначимой* цели, которая соединяла бы его с общей жизнью, наполняла ее надындивидуальным смыслом.

И вот на что еще хотелось бы обратить внимание. Атрофия воли у Роберта почти равносильна *сознательному* отказу от нее.

Подобный отказ — позиция, прямо противоположная той, которую занимает художник Семираев в повести С. Есина «Имитатор». У Семираева не просто воля, но воля, откровенно переходящая во вседозволенность. И как тут не вспомнить «железных малышей» Ю. Трифонова — того же Климука из «Другой жизни», чья суперактивность вдохновлялась не высокой идеей, не верой в идеалы, не подлинными принципами, а стремлением повыгодней, покомфортней устроиться в жизни?

В «Другой жизни» Климуку был противопоставлен историк Сергей Троицкий. Его непоказное упорство, нежелание ловчить и пробивать себе дорогу соучастием в темных махинациях Климука мешало кое-кому, и в первую очередь самому Климуку, жить спокойно.

Ю. Трифонов показал, как «несогласие» оборачивалось против Сергея. Но он показал и другое — что всевластие климуковской «кликочки», которой ни до чего, кроме собственного преуспеяния и благоденствия, нет дела, подрывало веру Сергея в необходимость его работы — тех исторических расследований, которыми он занимался.

Ю. Трифонов одним из первых увидел, как дорого обходится обществу нравственная нечистоплотность и духовная пустота подобных климуков, привольно чувствовавших себя в растлевающей атмосфере застоя и немало способствовавших распространению ядовитых паров. Именно они сеяли семена безверия и содействовали отторжению от общего дела честных и талантливых людей. Именно они были заинтересованы, чтобы все оставалось так, как есть, и закрывали шлагбаум для правды и свободной мысли. Не случайно характер Сергея Троицкого нес печать явной психологической деформации.

Сегодня мы особенно остро ощутили печальные последствия климуковской «бесовщины», открыто заговорив о причинах наркомании и пьянства, ухода интеллигенции в сторожа, дворники и вахтеры, роста преступности и прочих наших бедах. А сколько таких, у кого растерянность сменилась тотальным равнодушием к любым проявлениям социальности, горьким и страшноватым *«зачем?»*...

Таков и Роберт Мамеев с его растерянностью перед жизнью и *социальным недугом* безволия. Выбрав позицию неподвижности и отвечая *отказом* на любые посулы и вызовы жизни, он только усугубляет болезнь.

А мало ли подобных героев в других произведениях молодых? И не их ли голоса звучат во множестве писем, опубликованных в периодике последнего времени?

Их не хотели видеть в литературе — так услышьте их растерянно-отчужден-

ный, а то и агрессивный голос из самой жизни! И не удивляйтесь, если он вдруг окажется принадлежащим вашему сыну или внуку. Как там сказано у Мольера? «Ты сам этого хотел, Жорж Данден!»

Выходит, что все нам про робертов мамеевых известно и нарисованного А. Иваниченко портрета, обозначенного им реального социально-психологического типа вполне достаточно?

Увы, недостаточно. Повесть того же Ю. Трифонова с ее художественной установкой на исследование действительности дает для понимания общества и человека куда больше, чем «Автопортрет с догом». В том-то и дело, что мы еще плохо знаем, как действует на человеческую душу яд неверия и социальной апатии, плохо представляем исторические пути ее опустошения.

## «МАРГИНАЛЬНЫЕ» ГЕРОИ

Не больше мы знаем и о тех, кто оказался вытесненным на обочину жизни. Да и откуда было знать? Пресса если и начинала говорить о них, то чаще всего сразу брала прокурорски-обличительный тон. А в литературу разные там «отставшие», «убегающие», «гамлеты без шпаги» проникали с трудом и без официального пропуска, тут же навлекая на себя небезопасный гнев какого-нибудь критика-привратника.

Хотя пора бы уж, наверно, уяснить: как нет и не может быть лишних, ненужных людей, так нет и не может быть лишних героев, какими бы нетипическими и «маргинальными» они ни казались! Иначе о какой полноте реализма, о каком гуманизме и демократизме литературы может идти речь?

Молодая проза, надо отдать ей должное, не проходит мимо такого рода героев, хотя, вероятно, крепко подзадержалась (не по своей вине) с публикацией «неблагополучных» произведений, как, например, В. Курносенко с уже упоминавшимся рассказом «Круг».

«...Ивана презирают. В свои двадцать два года он стар, мнителен, немощен... Будучи трезвым, он робок, тих и невнятен, но после самой малой выпивки становится болтлив, нагл и норовит нарваться на скандал».

Положим, подобное отношение к герою рассказа Андрея Дмитриева «Шаги» («Знамя», 1987, № 5) не на пустом месте возникло. Но какой мрачной, непреодолимой стеной нависло оно над Иваном, и без того не верящим в себя, в свои силы! Получив срок за драку и отсидев положенное, он и на свободе продолжает чувствовать эту выросшую между ним и другими людьми стену — стену презрения и отчужденности. Болезненное переживание своего изгойства перерастает в глухую обиду, толкая его на бессмысленные поступки, на извращенное самоутверждение. В отместку кому-то — то ли прорабу, считающему, что его даже дерьмом нельзя назвать, то ли всем прочим, то ли вообще несправедливой судьбе...

Рассказ А. Дмитриева — не о презренном, а о несчастном человеке, и неудивительно, что вместе с автором испытываешь к герою не только неприязнь, но еще и жалость, сочувствие. Проникая в обиженную, слабую, но отнюдь не безнадежно потерянную душу, писатель показывает, что в самом Иване, работающем усердно, но бестолково (таких в народе называют «безрукими»), привязанном к матери, живет ощущение разлаженности его жизни.

Сочувственное внимание к слабой душе, не умеющей или не находящей в себе сил подняться, не знающей, за что уцепиться, в чем обрести опору, один из главных заветов нашей классики, к которым—есть основание думать—сегодня прислушиваются молодые писатели.

Недостаточность же такого внимания остро ощущалась в современной литературе. Не случайно столь широкий резонанс вызвала повесть Сергея Каледина «Смиренное кладбище» («Новый мир», 1987, № 5), с дотошностью «физиологического» очерка показавшая еще один из пластов нашего социального бытия.

Да, в повести есть подчас чрезмерный интерес к «экзотическим» подробностям. Но в ней есть и другое, куда более существенное — стремление понять героя, подсобного рабочего Лешку Воробья, одного из тех, кто нашел здесь средства для жизни, свой законный и незаконный заработок. Среди них и такие откровенные дельцы, как заведующий конторой Петрович, бывшие интеллигенты Гарик и Стасик или — попроще — Шурик Раевский, и такие, кто «выпал» из жизни и существует от стакана до стакана, как фронтовик Кутя, Финн и прочие, о судьбе которых автор нам почти ничего не сообщает.

Но тот же Лешка Воробей гордится своей выносливостью на работу и добросовестностью. Нет, подкалымить и он не откажется, но что касается дела, то тут к нему претензий нет — не обманет. И калым честно разделит между своими. Лешку Воробья на кладбище уважают, что тоже немаловажный фермент жизни и самоощущения человека.

Иное дело, что кладбищенские «законы» ненормальны. Разве не здесь наживаются бесстыдно на человеческом горе? Разве не здесь, связанные круговой порукой, проворачивают всякие темные махинации, а с нарушившими неписаные правила расправляются по жестоким законам уголовного мира?



Лешка Воробей эти законы и правила принимает как должное, не раздумывая, хороши они или плохи, достойны человека или нет. Нравами калединского героя не удивишь — сызмала всякого повидал и натерпелся: вечно пьяный отец, колония как избавление от семейных «радостей»...

Впору простосердечно удивиться и ужаснуться: сначала отец лупит детей, потом возмужавшие дети — отца; мачеха в колонию посылает пасынку варенье, а в варенье — стекло; брат рубит топором брата; муж приучает жену к водке, а потом пытается лечить ее, уже неизлечимую, кулаками...

Так и хочется воскликнуть: довольно! Что ж это за люди такие? Откуда? Мы ведь, святая наивность, и не подозревали о подобном, купаясь в разливанном море сусальной благостности.

Да полноте, так уж и не подозревали? Так уж и не знали? Или, может быть, не хотели знать? Чтобы «все пристойненько», как в той известной песне?

С. Каледин нашу успокоенность взрывает.

Писатель не морализирует, но нарисованный им мир «смиренного кладбища», где царят свои страсти, где человеческие ценности искажаются и попираются, этот мир «дна» действительно страшен. Загубленная, искаженная жизнь, фатально катящаяся к своему концу. Повесть и обрывается на том, что Воробей, взявший на себя вину Кути и уволенный с работы, поднимает стакан с водкой, для него смертельной.

Но и здесь все-таки брезжит пусть робкий, но такой необходимый свет, который улавливает и передает в повести С. Каледин.

Тот же Лешка Воробей хочет жить иначе, по-людски: семью заводит, сына рожает... Он и к «негру» Мишке в гости не с тем ли наведывается? Чувствует, что Мишка хоть и подвизается на кладбище, но из «другой» жизни. Он и фронтовика Кутю, которому полгода до пенсии, выручает. И на церковную колокольню в день своего тридцатилетия взбирается, чтобы приподняться над той реальностью, в которую волей обстоятельств погружен почти с головой, хочет увидеть мир иными глазами.

Отнюдь не только с «физиологическим» интересом воссоздает кладбищенскую реальность С. Каледин. Не только с желанием поднять еще один неосвоенный пласт действительности или потревожить нашу самодовольную успокоенность, что тоже не последняя задача для реализма. Его волнует «система жизнеобеспечения» изображенного мира — не материальная, а духовно-нравственная. Пусть сильно деформированная и ослабленная, но и она многое может сказать о человеке, о его должном и сущем.

## ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

Именно чувство общей жизни все больше и больше становится направляющим в молодой прозе. Именно оно способствует преодолению внутренней отторженности, явившейся следствием и застойных лет, и разного рода деформаций нашей истории. Оно своего рода попытка «примирения с действительностью», важнейшая ступень к осознанию своего единства с народом, хотя пока еще не вышло на уровень полной осознанности и не стало отчетливой духовной задачей.

«Меня не покидает странная уверенность, будто постоянным, сосредоточенным думаньем, жестко направленным усилием мысли, духа, чуть ли не физическим усилием я сумею понять некую важнейшую для себя вещь. Нечто такое, что упорядочит, осветит мою душу. Даст силу, надежду на жизнь, достойную этой неведомой пока истины

Недавно умер отец. Теперь я живу по-другому — не ясны еще новые берега,— но прошлое отвердевает в прошлом, позволяя рассмотреть себя».

В этом зачине примечательного рассказа-исповеди Ильи Картушина «Вылитый» («Литературная учеба», 1987, № 4) сошлись и установка на добывание истины, которая должна стать опорой и светом для души; и прошлое, от которого неотделима истина; и судьба отца, в которой открывается нечто общее, связанное с судьбой народа...

Не только об отце рассказывает И. Картушин, но и о деде, о матери. Время впечаталось в судьбу семьи как неосторожный шаг в только что выложенный и еще горячий асфальт. Будут и смерти, будет и война, и похоронка на отца, и сам он, несмотря на все, вернувшийся живым и загулявший на всю оставшуюся жизнь, допившийся до того, что жена и дети больше не хотели с ним оставаться...

И здесь — сколько страшного, драматического, искаженного! Житейского и вместе с тем исторического, начиненного порохом тех и предшествовавших им лет. Но свое, чего из сердца не выбросишь!

Рассказ И. Картушина — попытка понять отца, ощутив свою духовную связь с ним, с его неблагополучной жизнью. Рассказ об одной общей драме.

И в финале — чуть ли не торжество измучившейся души от сулящей ей успокоение мысли: мол, все они — и дед, и отец, и он, рассказчик,— всего лишь капельки, выливающиеся, свершив свое

дело, «за ненадобностью, в никуда». Выливающиеся «так же щедро и обреченно, как и дождь этот майский, победный» — «из невидимой тучи, имя которой народ»...

Только какое же успокоение, если в никуда? По отношению к ним, к дедам и отцам, да и к себе самим — не кощунственно ли, что — за ненадобностью? Да весь рассказ и его пафос как раз вопиют против такого успокоения, против так легко и красиво вымолвленного — «обреченно»!

Разве не с тем и вглядываемся, чтобы понять неслучайность каждой судьбы, пусть до времени скрытую, но великую значимость к а ж д о й капельки?

Разве не отсюда потребность молодой прозы разомкнуть границы частного существования, войти в общую, народную жизнь и осмыслить место каждого человека в ней?

Вот весьма симптоматичное размышление из рассказа В. Курносенко «Рос на опушке рощи клен» («Литературная учеба», 1987, № 5). Набросав схему некоего генеалогического древа: шестнадцать прапрапрадедушек, восемь прапрабабушек и т. д., герой-рассказчик делает следующее умозаключение: «Получалось, человек — это некий перекресток человечества. Он явился, каждый из бесчисленного множества людей, из тысяч, сотен тысяч, из миллионов, и от него его частицы тоже уходят в миллионы».

И далее резюме: «...понятие р о д н я вещь временная». Странный, казалось бы, вывод, тем более что именно с ближнего, с родни часто и начинается постижение народной жизни, проникновение в историю. Именно с переживания родственности.

Но, думаю, герой В. Курносенко вовсе и не собирался отменять понятие родни. Он лишь выразил то, что, между прочим, наметилось в лучших произведениях молодых,— стремление к расширению этого понятия. Переживание родственности становится глубже, стремится охватить всю окружающую жизнь.

Прочтите, скажем, один из рассказов Николая Шипилова «Игра в лото» («Ночное зрение», М., «Молодая гвардия», 1986) или главы из романа Александра Сегеня «Последние встречи» («Литературная учеба», 1987, № 2). Если И. Картушин вглядывается в судьбу отца, то Н. Шипилов так же реалистично воссоздает атмосферу дворовой жизни — через изображение традиционной здесь игры в лото, за которой собираются вечером соседи по дому. И А. Сегень выводит на авансцену повествования соседей по дому и двору, с кем так или иначе соприкасается его герой.

Вряд ли жизнь, которую живописуют авторы, можно назвать правильной, красивой, доброй и т. п.— подобные эпитеты плохо подходят к ее определению. Тем более что она нередко жестока, груба, неблагообразна и драматична... Но она ж и в а я! И в ней, несмотря на ее грубость, которую писатели и не думают скрывать или как-то приглаживать, немало т е п л ы х источников.

И меньше всего писатели хотят вынести действительности приговор. Они пытаются уловить некую общую неповторимую мелодию, выявить в многоголосии и разнохарактерности жизни, в сумятице отношений и судеб какую-то скрытую основу. Какие ни есть, хуже, лучше, люди воздействуют друг на друга, делятся собой. Главное — тепло, которым жизнь согревается и согревает.

Его источник можно увидеть в доброте, на любых проявлениях которой как на чем-то безусловном обычно акцентируют свое внимание молодые писатели. Или в участии, что проявляют друг к другу, пусть подчас и очень неуклюже, вроде бы совсем посторонние люди. Или в открытости жизни, нестеснительно проходящей у всех на виду и с о о б щ и т е л ь н о й в страстях, радостях, бедах. Источники разные, но это живые начала, и именно их стремятся выявить и опоэтизировать писатели.

Почувствовать прошлое и настоящее народа — со всеми обретениями, радостями, бедами, утратами, горестями — с в о е й жизнью и судьбой, слитой с общей, единой с ней, безусловно, очень важно. Но следует ли отсюда, что реальность нужно принимать как должное, соглашаться со всеми ее изъянами? Дескать, пусть плохо, зато свое? Такой путь неминуемо ведет к оправданию того, что оправдать нельзя, с чем примириться было бы ущербом для достоинства.

Чувство общей жизни — отправной пункт для дальнейшей работы духа и социального познания. Для стремления художника докопаться до скрытых причин, определяющих состояние человека и общества.

Молодые прозаики ищут свои подходы к жизненной правде, к изображению народной жизни. Пусть не все у них получается, пусть они нередко дорабатывают те пласты, которые уже подняты другими, пусть и безусловных художественных высот пока не видно, но в работе многих чувствуется серьезная озабоченность проблемами реальности и поиск общей идеи.

Наверно, этап неизбежный и необходимый — становление, проверка взглядов, критериев, преодоление стереотипов. Будет ли он продолжительным — сказать трудно. Сознание, формировавшееся на протяжении не одного десятилетия, в один момент не изменить. Для обретения подлинной духовной культуры и свободы мысли необходимы огромные усилия души и ума, постоянный поиск истины и справедливости.

---



# Возвращение к себе прежнему

«Поэзия должна быть глуповатой»,— любим мы всерьез повторять слова великого поэта.

Ну, а в действительности в шутку или всерьез сам-то поэт произнес эти слова?

Вопрос сей вовсе не праздный, учитывая то обстоятельство, что «вес» любого его высказывания весьма и весьма велик.

Как другой наш большой писатель обронил вот однажды фразу «Краткость — сестра таланта», и хотя несправедливость ее очевидна, тем не менее подкрепленная авторитетом ее автора, глядишь, и служит она в очередной раз какому-нибудь «ценителю» прекрасного тем метром, которым пытается он мерить чей-то талант.

П о э т и ч е с к и выразил свою мысль великий поэт, вот что. И потому нельзя ее рассматривать ни как одномерно серьезную, ни как плоско-шутливую. Это метафора. И как всякая поэтическая метафора, не имеет прямого истолкования; сними один слой — за ним откроется другой, сними этот другой — проступит третий. Поэзия потому и воздействует столь непосредственным образом на человеческую душу, что под внешней своей оболочкой, подчас и в самом деле донельзя простенькой, обряженная, случается, вообще в скоморошьи одежды, прячет недоступную разуму тайну бытия, все открытые и еще не открытые физические законы.

Любое произведение искусства, лишенное внутреннего света поэзии, как ни «умно» оно будь, особо большой цены не имеет.

Все это, разумеется, полностью относится и к литературе.

К прозе в частности.

А думаю я об этом, закрыв по прочтении новую книгу Руслана Киреева «Светлячок».

Есть у меня среди его работ любимая вещь — повесть «Приговор». Повесть, практически не замеченная критикой. А может быть, и не «практически», а вообще не замеченная. Не помню, чтобы писали о ней. Писали о «Победителе», «Апологии», «Подготовительной тетради», «Застрявшем» и других — всё опубликованных, как правило, в журнальной периодике или же «примкнувших» к опубликованным под общей «крышей» одной книги (это касается прежде всего «Апологии», вышедшей вместе с «Победителем»). А о «Приговоре», скромно появившемся в совписовской книге «Посещение», датированной семьдесят седьмым годом, не писали. Вот разница между журнальной публикацией и книжной!

Может быть, впрочем, и в том дело, что о жизненных вопросах, поднятых в «Приговоре», тогда, десять лет назад, не положено было говорить?

А между тем «Приговор», по моему убеждению,— лучшая вещь Р. Киреева, в полном смысле слова высшая вещь. Потому высшая, что при всей трезвой расчетливости, с которой выстроена сюжетно, при всей жесткости композиционной структуры она как бы «глуповата» в авторской нерасчетливой любви к своему герою — продавцу, мяснику, заведующему пивной точкой, который у самого читателя вовсе такой вот большой любви не вызывает,— и вот из этой-то безоглядной нерасчетливости вырастает поэзия. Поэтическим чувством оказывается пронизан весь событийный объем повести, каждое движение героев, и не продавца, заведующего пивной точкой, не функциональную единицу общества видим мы, а Человека. Смятого жизнью, изуродованного, придавленного, растоптанного торговой мафией, но не ропщущего, не взывающего к милостям сильных мира сего, а пытающегося подняться на своих искалеченных ногах во весь свой небольшой рост. И его ли вина, что не удается ему это?

«Приговор» вспоминается мне при размышлении о новой книге Р. Киреева потому, что «тень» его явственно витает над ней. Она отчетливее и плотнее над повестью «Куда ты, Емя?» — о молодом еще, но абсолютно потерявшемся в жизни человеке; она размытее в своих очертаниях и призрачнее в «Светлячке» — повести о робком, тушующемся перед любой силой юном библиотекаре; но тем не менее тень эта над каждой вещью сборника: и над аллегорической «Песча-

Р у с л а н К и р е е в. Светлячок. Повести. М., Молодая гвардия, 1987.

ной акацией», и над пастельно-воздушным «Следом Юрхора».

«...В творчестве Киреева произошел — буквально за какие-то один-два года — коренной поворот»,— пишет в послесловии к этой книге Киреева Карен Степанян. Потому пишет, что по сравнению с наиболее известными вещами писателя — все теми же помянутыми «Победителем», «Апологией», «Подготовительной тетрадью» и т. д.,— повести этой книги лишены того рационалистического начала, которое было характерно для наиболее известных вещей, как, впрочем, и для «Застрявшего», повести совсем недавней, причем не просто лишены, а лишены как бы демонстративно, с растворением всех сюжетно-композиционных опор в некоем событийно-эмоциональном хаосе. Как это сделано, например, в повести «Куда ты, Емя?», где героя, работающего массовиком-затейником в санатории, несет и несет волна его жизни, слепленная из встреч, отношений с людьми, мелких дел, воспоминаний,— и вот это и есть вся повесть, весь ее сюжет. Карену Степаняну представляется, что такой Киреев есть Киреев новый, абсолютно не похожий на себя прежнего.

Мне же в Кирееве, авторе этой книги, видится Киреев прежний, тот, который всегда был в нем,— автор «Приговора», лишь на какую-то пору оттесненный на задний план Киреевым-алгебраистом, что также всегда таился в нем. Ему всегда хотелось не просто описать явление, исследовать его корни и проанализировать ветви последствий, а приготовить из этого явления препарат, годный для лабораторного исследования, а затем рассмотреть под микроскопом буквально каждую клетку.

И вот Киреев-поэт вновь одерживает верх. Ведь дело в том, что не один «Приговор» написан писателем по-иному, чем наиболее известные его вещи. А и повесть «Посещение» написана по-иному, и «Черная суббота», и вообще большинство его ранних работ: роман «Мои люди», повесть «Неудачный день в тропиках», рассказы «Картошка», «Однодневная командировка лейтенанта милиции Марапулина в деревню Полухино», и еще можно перечислять, и еще. И если мне вспомнился «Приговор», если я назвал его, а не «Посещение», скажем, то потому, что в «Приговоре» все сошлось: и изображение человека, и изображение Времени, и тех обстоятельств, в которые человек временем вогнан, и попытка его противостоять им, этим обстоятельствам.

Возвращение, однако, к себе прежнему происходит на качественно ином витке. Годы, отданные «алгебраической» прозе, оставили в Кирееве свой отпечаток. Он стал более экспрессивен в рассказе, хотя, надо сказать, экспрессия всегда была присуща ему; но теперь эта экспрессия стала более выпуклой, рельефной, как бы более цветной. Он стал изощренней в сюжете: аналитическое препарирование приучило его к статическому рассмотрению предмета исследования, и вот динамичный по своей сути сюжет запрятывается в кокон внешней статики («Светлячок»), а статичный по сути, наоборот,— в кокон внешней динамичности («Там жили поэты»).

Но главное, безусловно, в том, что, как и в годы писательской молодости, для Киреева вновь важен человек не как овеществитель неких социальных функций, не как некое явление того или иного рода, а как данность, как неразъемное целое, познать которое возможно лишь в совокупности всех составляющих его противоречий.

А то даже этой задачи — познать — он себе не ставит. Удивиться — ставит задачу. Посочувствовать. Зовет читателя разделить с ним свою ошеломленность, потрясение, страх, радость...

Впрочем — важно вновь отметить это — возвращение к поэтическому началу происходит у Р. Киреева совсем на другом уровне, а может быть, вернее сказать, совсем в другой плоскости, чем та, в которой он работал прежде. Иногда это чисто поэтическое «остранение» ситуации, как то происходит в «Светлячке», когда герой вдруг обнаруживает, что в определенные моменты своей жизни он теряет тень — то есть свою весомость, свою значимость в этом мире, требующем от человека некоей стандартности, с одной стороны, а с другой — некоей свинцовой утяжеленности, бронезащищенности души, равной подчас душевной глухоте и слепоте. В другой повести, «Песчаная акация», это другая плоскость — плоскость прямой аллегории, символического знака, что прошивает собой, как красная нить канат, художественную ткань повествования с первой страницы до последней. Главный герой повести, актер Капсулов, местная знаменитость, живет все в том же киреевском Светополе, но в Светополе, который засыпают пески. Вот уже засыпаны песком места, в которых герой провел детство, вот песок буйствует уже и в центре города, а мер, которые остановили бы движение песков, никто никаких не предпринимает...

Нет, Р. Киреев вовсе не моделирует тут ситуацию, схожую в чем-то с той, что представлена во всемирно известной повести Кобо Абэ. У него вообще нет моделирования ситуации. Песок, что засыпает город, вообще не в сюжете. Он рядом с сюжетом, он в сюжете именно не более чем красная нить, символический знак, при помощи которого писатель раскрывает сущность души своего героя. Может быть, город вовсе и не засыпается песком. Это он в душе героя засыпается им. Недаром же исчезают под сыпучими барханами прежде всего места детства героя. Жизнь для него пресна, скучна, в герое нет азарта риска, азарта движения к чему-то новому, он неплох сам по себе как человек, но рассудочен, холоден,— и вполне возможно,



что к концу его жизни *его* Светополь окажется завален песком по макушки самых своих высоких зданий.

Но не разоблачает писатель Капсулова. Не осуждает. Ведь герой его не делает ничего дурного в жизни, вот что! Ничего дурного! Все, что добыто им в жизни, ведь его собственным трудом добыто, дичайшей самодисциплиной, страшной, по сути, душевной самоотдачей. Так его ли вина, что жизнь его — это засыпанные песком места детства и хруст песка на зубах?

И тут, в этом вопросе — так его ли вина? — Р. Киреев нынешний смыкается с собой прежним, поры «Приговора». Не судья он своим героям. Насудился, хватит.

Но почему, собственно, хватит? Что, устал от суда?

Нет, по-моему, не в этом дело.

Просто в писателе вновь появилась тяга к героям, которые не суда над собой требуют, потому что судить их не за что, а сочувствия, поддержки, утешения. Он их любит помимо своей воли, любит, несмотря на их недостатки, несообразности поведения, странности в мыслях, и из чувства любви, также помимо его воли, рождается поэзия.

Значит ли все сказанное, что небольшие повести «Светлячок», «Песчаная акация» и другие значительнее романов «Победитель» или, предположим, «Апология»?

Нет, не значит. А вот «выше» — это бы слово я употребил. Потому что, по глубочайшему моему убеждению, высшее назначение литературы — рождать любовь в человеческих сердцах, вкладывать ее в сердца самые черствые, глухие, а достучаться до них возможно лишь силой поэзии, любовью же, по сути. Ненавистью или обидой, чувством мщения или потерянности до таких сердец не достучаться. Как, впрочем, можно не достучаться и до вполне нормальных сердец. Потому что они-то как раз языка нелюбви вообще не понимают.

Но почему тогда не кажутся мне повести, собранные в этой книге, значительнее «алгебраических» романов Р. Киреева?

Из-за эскизности их. Каждая из них напоминает мне тщательно проработанную часть какого-то громадного холста, я даже ощущаю вроде бы за обрезом контуры этого холста, но только ощущаю, ухватить его глазом весь не могу. Так, скажем, в повести «Там жили поэты», чтобы она не несла на себе отпечатка эскизности, нужна не только картина нынешней жизни героя, художника Рябчука, а и картина его пути. Потому что именно там, в пути, в том, как он был пройден, каким образом были завоеваны вершины, на которых художник сумел-таки утвердиться, именно там сущность судьбы героя, его истинное осуществление. Ведь инфаркт его, ранняя его смерть — это все там, оттуда проистекает, из того пути, который был им пройден.

Но Р. Киреев пути не дает.

Почему? — интереснее мне всего.

Но тут можно строить только догадки. Вот такой этап переживает сейчас писатель, такие вот эскизы пишет. Так ему сейчас необходимо. Идет внутренняя подготовка к большому полотну? Возможно.

И что же это будет за полотно, если мои ощущения от его книги, мои догадки о дальнейшем его развитии верны? У меня чувство, что это должна быть жизнь человека, рассказанная без всякой назидательности, без малейшего жеста указующим перстом, хотя, конечно же, экспрессивно и порой аффектированно. Потому что как ни меняйся художник, константы его творчества всегда останутся неизменны.

**Анатолий Курчаткин**

# Запечатлеть истину о революции

Классическую книгу всегда подстерегает опасность стать хрестоматийной в самом неприятном смысле: рассыпаться на цитаты, растаять в инсценировках и к читателю попасть отрывками из хрестоматий. Кажется, что мы все, конечно же, читали Джона Рида, помним «Десять дней, которые потрясли мир»...

К сожалению, это не так. До прошлогоднего юбилея (сто лет со дня рождения писателя) последний раз его книга издавалась на русском языке двадцать лет назад, а перед этим — еще девятью годами прежде. Не забудем — речь идет о произведении, про которое Ленин писал: «...Я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата».

«Избранное» Джона Рида, вышедшее двухсоттысячным тиражом, дает возможность читателю лично составить мнение

---

Джон Рид. Избранное. (В двух книгах). М., Политиздат, 1987.

о блестящем журналисте и писателе. Кроме «Десяти дней...» и «Восставшей Мексики», в двухтомник вошли его очерки и статьи, биографическая проза, воспоминания друзей. Читая эти страницы, лишний раз убеждаешься в наивности наших (увы, слишком частых) попыток судить о широкой картине по фрагментам. Нельзя, например, понять творчество Рида, не читая его стихов.

Смерть не придет нежданно,
Я знаю ее в лицо,
Кольцо
невесомых призраков
Неслышно скользит из тумана.
Парусом бездыханным
Земля повисла во мгле.
И мне
не понять, где день,
где ночь,
И слепнуть, дыша туманом.
(Перевод Ю. Кушака)

При первом аресте, отвечая на вопрос о профессии, Рид сказал: «Поэт». Он был поэтом до конца своей короткой и яркой жизни, которая сделала его профессиональным революционером.

Выпускник Гарвардского университета, один из самых высокооплачиваемых репортеров Америки, он оказывался рядом с партизанами крестьянской войны в Мексике и американскими забастовщиками, брошенными в тюрьму, с солдатами в окопах первой мировой войны и красногвардейцами, штурмующими Зимний дворец. Он стал одним из основателей Коммунистической партии США, членом исполкома Коминтерна. Конечно, мы помним его биографию. Но тут важны подробности.

Иначе трудно порвать красивые, крепкие нити, которыми не один раз пытались опутать образ Рида некоторые его «комментаторы». Например, Макс Истмен, говоривший о том, что профессиональный революционер хотел вернуться к чистой поэзии. Или бывший однокурсник Рида Уолтер Липпман, который веселым ядом написал портрет шалопая-романтика, опьяненного жизнью искателя приключений и бродяги. Кажется, Липпман сделал это не без злого умысла, но и другие люди, знавшие поэта по Гринвич-вилледжу, по редакции «Америкен мэгэзин», хохотавшие над его проделками, слишком прямо продолжили намечавшуюся тогда линию жизни Рида, путая темперамент с судьбой.

Тем более что поэт с внешностью ковбоя постоянно давал для этого повод. Он попадал в американскую тюрьму за непочтение к полицейскому, нелегально переходил границы и, оказавшись под надзором царской полиции в Петрограде, громко спрашивал в военном магазине о ценах на пулеметы, кинжалы и динамит, приводя в трепет агента охранного отделения.

Для обывателя, осторожного от природы, чужая отвага сама по себе — событие. Захваченный зрелищем, он уже не в силах подумать о причинах смелого поступка. Но если внимательно рассмотреть действия Рида, которые обычно называют безрассудными, легко заметить в них логику действий настоящего художника.

Воспоминания о Риде (большинство из вошедших в «Избранное» очерков впервые опубликованы на русском языке) дают немало подобных примеров. По его просьбе шофер на Рижском фронте поворачивает машину именно в ту деревушку, которую сейчас обстреливают; командир красноармейцев дает ему коня, когда отряд выступает на защиту поезда, остановленного бандитами. Даже в его собственных книгах и статьях невольно появляются строки, подобные вот этой: «Вдруг на улице раздался громкий выстрел и началась частая перестрелка. Я выбежал наружу».

Даже быт стал для него инструментом исследователя. Смелость под пулями еще как-то удалось бы приписать «романтизму» поэта. Но вряд ли даже с большой долей воображения можно предположить, что «шалопай» из-за любопытства и веселого нрава отказался от номера в гостинице для иностранцев и поселился в заледеневшей комнате пресненского рабочего.

Он пропускал через себя время, о котором предстояло писать. Рид собирал все газеты, прокламации и плакаты, понимая, что в эти дни наборщики отливают из свинца строки истории, учился русскому языку по газетам и без стеснения вступал в разговоры. Он хотел знать первоисточники. Поэтому неизбежно должен был прийти к Ленину.

После первой встречи зимой 1919 года в Москве, когда писатель подарил Ленину вышедшую в Америке свою книгу об Октябре, они провели немало вечеров вместе. Это были беседы единомышленников, которые явно симпатизировали друг другу. За вечерним чаем говорили — то по-русски, то по-английски — о политике и искусстве, нехватке учителей и электрификации России, но, о чем бы ни шла речь, возвращались к Революции. В эти дни Рид узнавал русскую революцию и через ее вождя.

Вероятно, после одного из таких разговоров с Лениным в блокноте писателя остался этот словесный портрет:

«Простой суконный костюм, мягкий воротничок, черный галстук. Крепкий, широкоплечий, невысокого роста, веселый».

Сидишь у него, и он пододвигается вместе со стулом, пока не коснется тебя коленом, и смотрит на тебя этим ужасающе проницательным взором. Никакой нервности. Быстрые, исчерпывающие реплики. Кажется, что он глубоко заинтересован».

У нас есть свидетельство и о том, как Ленин ценил Джона Рида. После попытки нелегально пробраться из России в Нью-Йорк финские власти бросили больного писателя в одиночную камеру. Официальные лица США не сделали ничего, чтобы спасти гражданина своей страны от верной гибели. По предложению советской стороны белофинны согласились обменять Рида на двух финских профессоров, арестованных ЧК за контрреволюционную деятельность. Когда Г. В. Чичерин известил об этом Ленина, Владимир Ильич сказал: «За Рида я готов отдать целый факультет».

В последние годы мы с особым вниманием обращаемся к истории нашей революции. Среди книг, которые сами часть этой истории,— классическая документальная проза Рида. Перечитаем страницы, на которых запечатлен холодный, пасмурный день 25 октября 1917 года. Жизнь поэта и революционера слилась тогда с нашей историей. Днем в Зимнем дворце Рид говорит с защитниками Временного правительства, вечером в Смольном присутствует на открытии II Всероссийского съезда Советов, а ночью оказывается в колоннах красногвардейцев и солдат, штурмующих Зимний.

«Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой. Человек, шедший передо мной, тихо сказал: «Ох, смотрите, товарищи, не верьте им! Они наверняка начнут стрелять...» Выйдя на площадь, мы побежали, низко нагибаясь и прижимаясь друг к другу...

Мы вскарабкались на баррикады, сложенные из дров, и, спрыгнув вниз, разразились восторженными криками: под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами...»

Мы часто называем наше время революционным. Работа Джона Рида может быть примером точных действий художника во время революции. Эту позицию можно, пожалуй, свести к простой формуле: чтобы писать о революционном времени, надо участвовать в штурме Зимнего. Впрочем, сам Рид сказал об этом в предисловии к книге «Десять дней, которые потрясли мир» скромнее, в свойственной ему манере:

«В борьбе мои симпатии не были нейтральны. Но, рассказывая историю тех великих дней, я старался рассматривать события оком добросовестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечатлеть истину».

**Анатолий Гостюшин**



# Трилогия военного историка

Всем, кто интересуется прошлым русских вооруженных сил, известны книги профессора Л. Г. Бескровного «Русская армия и флот в XVIII веке» (Москва, 1958), «Русская армия и флот в XIX веке» (Москва, 1973). Своеобразную историческую трилогию завершает новая работа «Армия и флот России в начале XX века», изданная уже после смерти автора.

Л. Бескровный рассматривает сложный комплекс проблем, связанных с состоянием русской армии и флота, их организацией, составом, боевым снабжением и боевой подготовкой, расходами на вооруженные силы. Эти материалы основаны на обширном, во многом новом фактическом архивном материале.

Трилогия, и в том числе ее последняя часть, в которой рассматривается военно-экономический потенциал России начала XX века, когда принципиально изменился характер военных действий и армия стала массовой, значительно отличается полнотой, объективностью, научной достоверностью от тех немногих работ, которые в той или иной степени исследовали эти же вопросы, но, как правило, не давали цельной картины развития вооруженных сил.

---

Л. Г. Бескровный. Армия и флот России в начале XX в. Очерки военно-экономического потенциала. М., Наука, 1986.

Трилогия Л. Г. Бескровного, по существу, первая попытка всеобъемлюще разработать вопросы развития русской армии и флота при различных экономических формациях общества.

«Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент степени производства и от средств сообщения». (Маркс, Энгельс, Сочинения, 2-е издание, т. 20, с. 171).

Это известное положение Ф. Энгельса служит определяющим моментом для всех этапов развития вооруженных сил.

К XX веку Россия превратилась в современное капиталистическое государство. Состав, организация и система комплектования армии и флота были приведены в соответствие с утвердившимися социально-экономическими отношениями. В технике намечается переход от стрелкового казеннозарядного оружия (винтовки) к автоматическому, дальнейшее развитие скорострельности, появление тяжелой артиллерии. С использованием автомобилей, бронемашин, танков было положено начало машинизации армии. Быстро развивались современные средства связи.

Опираясь на архивные документы, автор показывает, как постепенно возникала необходимость создания массовой армии, как переход ко всеобщей воинской

повинности позволил государству иметь многочисленный обученный запас, дающий возможность в короткие сроки развернуть большую армию.

Самый значительный по объему раздел монографии посвящен военно-морскому флоту. У читателя, несомненно, вызовет интерес эволюция классов кораблей в зависимости от тех задач, которые им приходилось решать, формирование новых кораблестроительных программ, их обсуждение и воплощение в жизнь, появление и развитие в России морской авиации, расширение кораблестроительной базы. Интересен раздел и о комплектовании личного состава флота.

Монография содержит множество таблиц. И хотя они систематизируют материал, помогают его сделать более наглядным, без некоторых книга, наверное, легко могла бы обойтись. Вряд ли стоило приводить тактико-технические данные русских кораблей (по классам), данные по морским орудиям и минам заграждения, по морским самолетам. Ведь монография не справочник, и цели у нее другие.

Жаль, что в отличие от предыдущей книги, где автор подробно рассматривал общественно-политические движения в вооруженных силах, подобного раздела нет в последней монографии. А ведь в канун Великой Октябрьской революции материала для этого раздела было предостаточно.

И все же в целом появление новой книги Л. Г. Бескровного — явление заметное. Выходом этой работы подведен итог жизни крупного военного историка.

**Ю. Чернов,**
капитан 1-го ранга

## *Из почты «Знамени»*

В «ЛГ» № 50 за 1987 год была опубликована статья Ильи Миксона «Самосочинение в квадрате».

Тон статьи и подача некоторых фактов вызывают удивление.

На капитана, как известно, возложена полная ответственность за людей, судно, сохранность груза. Являясь доверенным лицом Государства на судне, он наделен исключительной властью (может даже посадить под арест члена экипажа или пассажира, провести первичное дознание и т. д.). В аварийной ситуации капитан обязан прежде всего оценивать реальную обстановку и находить возможный выход из нее с минимальными потерями. Все можно принести в жертву стихии, кроме людей. Когда гибнет судно, капитан обязан прежде всего действовать, спасая экипаж. Человек, который погибает в подобных обстоятельствах, не всегда ведет себя геройски. Хладнокровие — это еще не героизм.

И. Миксон не упоминает о том, что особо выделено в статье С. Яковлева: «...ролкеры тонут часто, причем после получения пробоины, как правило, уходят под воду менее чем за 10 минут...» Все это капитан А. П. Былкин знал, но тянул с эвакуацией экипажа на подошедшее датское судно, которому впоследствии — из воды уже — удалось спасти 5 человек. Высота борта позволила в буквальном смысле протянуть руку помощи окоченевшим людям (при температуре воды около 0°С и отрицательной воздуха человек погибает от переохлаждения за 10—15 минут). Советский БМРТ при таком волнении и высоте своего борта более 5 м не справился бы с этой задачей, морякам это понятно. Тем более что плавсредства с т/х «Механик Тарасов» спущены не были. Не упоминает И. Миксон и о том примечательном факте, что лишь когда судно практически наполовину ушло в воду, капитан хладнокровно сказал людям, сгрудившимся на корме: «Все свободны...» Перед лицом смерти?

Пользуясь случаем, я здесь привожу выдержки из официальных материалов «Дела о гибели т/х «Механик Тарасов», которые направлялись в комиссию по расследованию причин в Инспекцию по безопасности мореплавания ММФ.

Проводка рекомендованными курсами в океане предусматривает регулярный обмен информацией между капитаном судна и прогностическим органом, осуществляющим гидрометеорологическое обеспечение... На запрос Ленинградского бюро погоды (в настоящее время Ленинградский гидрометцентр Северо-Западного управления по гидрометеорологии и контролю природной среды — СЗУГКС) о гидрометфакторах, ограничивающих плавание, в том числе и по волнению, четкого ответа не последовало. В радиограмме от капитана т/х «Механик Тарасов» 17 января (это еще по пути в Канаду) в 15 часов московского времени (мск) получено следующее: «ВОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО ПРИЕМЛЕМЫМ ОКЕАНА». Никто не мог впоследствии объяснить, что имел в виду капитан. Ведь волнение обусловлено прежде всего силой ветра. В УГКС решили, что судно всепогодное (есть такое понятие), то есть критерий особо опасного волнения для него — 8 метров.

Из радиограммы капитана А. П. Былкина:

«11 ФЕВРАЛЯ 0630 МЕСТНОГО (времени.— **В. Ш.**) ВЫШЛИ ТРУА-РИВЬЕР НАЗНАЧЕНИЕ ГАМБУРГ ГРУЗА БОРТУ 3207 (это была бумага в рулонах.— **В. Ш.**) МЕТАЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВЫСОТА 30 СМ СКОРОСТЬ 14,5 УЗЛОВ ТЧК МАКСИМУМ НЕОБХОДИМО БЫТЬ ГАМБУРГЕ 21 ФЕВРАЛЯ ВЕЧЕРОМ ПРОШУ ВЗЯТЬ ПРОВОДКУ УВАЖЕНИЕМ БЫЛКИН». Вот что так подгоняло капитана, несмотря на штормовые условия, обычные для Северной Атлантики с октября по март: План, Обязательства; груз необходимо было вовремя доставить иностранному заказчику, иначе — неустойка в валюте, неприятности в Пароходстве, оргвыводы. Да, действительно, на дворе был 1982 год.

14 февраля в 14-30 мск в БМП была передана из СЗУГКС телеграмма, которая была передана на судно через час, то есть в 15-30, а не в 8-30: «РАДИО ШТОРМ СЛЕДОВАНИИ ПАРАЛЛЕЛИ 46° 15 ФЕВРАЛЯ ВЕТЕР

Ю, ЮЗ 15—17 М/С УСИЛЕНИЕ ЗОНЕ ФРОНТА 18—21 М/С ВОЛНЕНИЕ 4—5 М ЗЫБЬ ЮЗ 7—9 М ТЧК 16 ФЕВРАЛЯ ВЕТЕР СЗ 12—14 М/С ВОЛНЕНИЕ 4 ЗЫБЬ 6 М ЦЕЛЬЮ РАСХОЖДЕНИЯ ШТОРМОМ РЕКОМЕНДУЕМ УКРЫТИЕ РАЙОНЕ МЫСА РЕЙС». До мыса Рейс в 15-30 мск было 90 миль, а не 200, как это в статье И. Миксона. До мыса Рейс 10 часов хода, но н а з а д, а в Гамбурге надо быть 21-го и впереди еще дорога через океан.

Капитан в 17-00 мск сообщает: «1200 МСК 4656 СЕВЕРНОЙ 5118 ЗАПАДНОЙ СЛЕДУЕМ ДБК (дуге большого круга.— В. Ш.) ЛАМАНШ ВЕТЕР 120 ГРАД 18 М/С ВОЛНА 5 ДАВЛЕНИЕ 993 СКОРОСТЬ 9 КУРС 68 УВАЖЕНИЕМ БЫЛКИН». То есть поводов для тревоги нет, капитан решил следовать дальше. Прогностический орган в 21-10 14 февраля передал в БМП (которое передало на судно эту информацию только через 2 часа 50 минут): «РАДИО ШТОРМ ВАШЕМ ПУТИ ДБК — ЛАМАНШ 15 ФЕВРАЛЯ ВЕТЕР ЗАПАДНЫЙ — СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 21—24 ЗОНЕ ФРОНТА 25—28 М/С ВОЛНЕНИЕ 7—8 М 16 ФЕВРАЛЯ ВЕТЕР СЗ 15—17 М/С ВОЛНЕНИЕ 5 ЗЫБЬ 6—7 М». Укрыться у мыса Рейс прогностический орган уже не рекомендовал, потому что капитан принял самостоятельное решение следовать дальше по маршруту. По-видимому, не следовало бы тов. И. Миксону делать из А. П. Былкина героя. Человек выполнял свой долг и ошибся. Ошибка стоила нескольких десятков жизней. Если бы он согласился укрыться у мыса Рейс и переждать, этого бы не произошло, но капитаны — народ гордый, тем более Уставом службы на судах ММФ они поставлены в совершенно исключительные условия. Власть капитана на судне, повторю, практически не ограничена. А власть, сейчас это знает даже десятилетний ребенок, деформирует человеческие качества. Подобное случилось и с тов. А. П. Былкиным.

В «Уставе» сказано: «61. Капитан осуществляет управление судном на основе единоначалия и подчиняется непосредственно начальнику пароходства. Все указания, относящиеся к деятельности судна, передаются только капитану, который отвечает за их выполнение... 65. В целях обеспечения безопасности судна и груза, а также максимальной эффективности рейса капитан вправе выбирать тот путь следования, который он сочтет необходимым»; «70. Распоряжения капитана в пределах его полномочий подлежат беспрекословному исполнению всеми находящимися на судне лицами». Но в то же время: «92. Капитан обязан следить за всеми изменениями гидрометеорологической обстановки, требуя регулярного получения прогноза погоды, используя для этого все имеющиеся на судне средства и принимая заблаговременно все необходимые меры на случай шторма... 104. Если судну грозит бедствие и оно нуждается в помощи, капитан обязан принять все возможные меры к тому, чтобы получить помощь от другого судна, по возможности советского». (Вот почему капитан отказался от помощи датского судна, это рекомендовано ИНСТРУКЦИЕЙ.) «106. Если, по мнению капитана, судну грозит неминуемая гибель, он обязан принять все меры к спасению находящихся на судне лиц. После принятия всех мер к спасению пассажиров капитан дает приказание судовому экипажу оставить судно... Капитан оставляет судно последним, приняв все возможные меры к спасению морских карт с нанесенной на них прокладкой... 109. О всех аварийных и несчастных случаях капитан обязан немедленно докладывать в установленном порядке судовладельцу и принимать все зависящие от него меры к обеспечению безопасности людей, судна, груза».

Из «Наставления по организации штурманской службы»:

«5.6.4. С получением штормового предупреждения или при выявлении признаков приближающегося шторма оценивается обстановка, рассчитывается и выполняется маневр расхождения со штормовым районом; определяется место судна; принимаются меры для обеспечения безопасности судна и сохранности груза; промежутки между определениями метеорологических элементов сокращаются, усиливается наблюдение за местными признаками — предвестниками штормовой погоды».

Все ли возможное сделал капитан? И почему не сделал? Вот вопросы, которые требуют разрешения.



К сожалению, капитаны судов трактуют прогноз исходя из личной выгоды. Погодой, гидрометеорологическими условиями зачастую пытаются прикрыть собственные ошибки (ведь сорвало же плохо закрепленный контейнер в трюме № 2) или, наоборот, полагаясь на знаменитое во всем мире наше «авось», пренебрегают очевидной опасностью, о которой так много сказано в «Капитанском столе» С. Яковлева. Конечно, С. Яковлев не прав, отождествляя капитана А. П. Былкина с тов. Ткаченко, здесь он «пережимает».

Но нельзя было тем не менее не заметить, что очерк, опубликованный в литературно-художественном журнале («Знамя» № 9),— это чуть ли не первый материал, ратующий з а д е м о к р а т и ч е с к и е и з м е н е н и я на торговом флоте. Это очерк о путях развития человечности в отношениях капитана с подчиненными.

В народе о погибших принято говорить: «Мертвые сраму не имут, оставляя его для живых». И все-таки...

Замечательные слова, на мой взгляд, основные в очерке: «Капитан должен иметь многовариантное мышление, быть гуманистом». А у нас капитан всегда обладатель истины в последней инстанции. Мини-культ капитана на судне в чем-то напоминает свой главный прообраз. Может, что-то не так у нас с подготовкой кадров, видимо, развитие человеческих качеств, их формирование — за частоколом инструкций, правил, положений, уставов — пущено на самотек?

Бесконечно трудная задача — быть капитаном. Более чем кому-либо из экипажа ему необходимо оставаться человеком, ибо капитан — среди людей и с людьми, а не над ними.

С уважением

**В. А. Ш а м о в,**
ст. инженер Морского управления
Госкомгидромета СССР

---

С большим интересом я читаю журнал «Знамя». Особенно в последние годы. С интересом начала читать «Письмо» Русова. Однако чем дальше читала, тем больше удивлялась, а потом уже и возмущалась. В «Воспоминаниях» Ф. М. Кнунянц очень много не просто неточностей, но и извращений действительности. Это особенно недопустимо, когда речь идет о крупных исторических личностях.

А. П. Серебровский — мой отец. Его женой и моей матерью была Евгения Владимировна Серебровская (урожд. Лукьянова). Поженились они 18 октября 1928 г. В 1930 г. родилась я. В «Воспоминаниях» же говорится, что именно в то время Серебровский был женат на Ф. М. Кнунянц. Желаемое было выдано за действительное.

Мой отец был дружен с Богданом Кнунянцем и потому считал своим долгом помогать его близким. Именно поэтому, когда была возможность выделить из фондов Нефтесиндиката квартиру для Фаро и ее семьи, Серебровский это сделал. Сам же он жил в Б. Харитоньевском пер., в кооперативной квартире, которую купил в 1926 г. Вместе с ним жили его отец (который скоро скончался), тетка и племянница. Туда же он привел свою жену, мою маму. (Впоследствии они жили на улице Серафимовича, а потом на ул. Грановского.)

Моя мама была верным другом моего отца. Была его «телохранителем». Сопровождала его во всех его многочисленных поездках в Якутию, на Дальний Восток, в Сибирь. Они были очень дружны, и все их друзья знали об этом. Когда с отцом случилось непоправимое несчастье, моя мама полностью разделила его горькую участь. Отбыв в заключении девять лет, освободившись, она написала письмо Сталину с просьбой пересмотреть дело мужа. За это письмо она снова получила десять лет строгого режима.

Вероятно, когда Фаро писала свои «Воспоминиания», она думала, что у Серебровского никого не осталось из близких. Но моя мама вернулась в январе 1955 г., была восстановлена во всех правах, была персональной пенсионеркой союзного значения. Скончалась она в 1969 г. Кроме того, у Серебровского есть дочь и внук.

Помимо биографических неточностей, неправильно охарактеризована и личность Серебровского, и даже внешность (у него были не зеленые глаза, а серые, почти синие).

Серебровский был очень целеустремленным и последовательным. Очень много работал. Застолий и пустых веселий не переносил. Был очень чистоплотным и аккуратным и этого требовал от окружающих. Обладал прекрасными литературными данными и поэтому все свои труды писал сам.

Он был очень болен (результат царских тюрем; в 1904 г. его во время допроса били сапогами по животу. В результате на всю жизнь он получил обширную язву желудка и двенадцатиперстной кишки. В 1908 г. он при побеге с каторжных работ получил ранение в ногу, и она у него постоянно болела). Именно поэтому Серебровский нуждался в постоянном режиме, который он почти никогда не соблюдал.

Киров и Орджоникидзе были очень дружны с моим отцом. С большой симпатией относились к моей маме. Я в раннем детстве трепетно любила «дядю Серго». Впоследствии его жена Зинаида Гавриловна в самые мои трудные годы оказывала мне практическую и моральную поддержку.

Есть в данных публикациях и правда. Это отрывки из автобиографии самого Серебровского, которая хранится в партархиве. Кроме того, характеристика Серебровского как бессребреника и необыкновенно талантливого человека. Но к Ф. М. Кнунянц это никакого отношения не имеет.

Не понятны мотивы подобных мемуаров. Возможно, это просто литературное творчество или рисовка перед близкими.

---

Можно было бы не обратить на эту публикацию внимания. Однако биографию Серебровского, как видного революционера и советского и хозяйственного деятеля, изучают, о нем пишут книги, статьи в газетах, энциклопедиях. Любая неправда может быть воспринята как правда. Тем более когда человека нет в живых и сам за себя он не может заступиться.

Я уже получаю недоуменные письма по поводу этой публикации. Мне понятно, что редакционная коллегия была введена в заблуждение.

С глубоким уважением

**Инна Александровна Серебровская**

С огорчением прочитал я письмо Инны Александровны Серебровской. Очерк «Письмо» был написан мною по воспоминаниям, оставленным моей бабушкой Ф. М. Кнунянц, членом партии с 1903 г. Воспоминания эти писались ею из одной лишь внутренней потребности и на публикацию рассчитаны не были. Возможно, память в чем-то и подвела Фарандзем Минаевну, как, кстати, может подвести любого, но нет сомнений, что никакими посторонними соображениями она при этом руководствоваться не могла. Да и неоткуда было взяться таким соображениям. Наша семья всегда хранила добрую память об Александре Павловиче Серебровском, и очерк мой ни в коей мере, думается, не омрачает ее. Я получил много теплых писем-откликов на публикацию «Письма» из разных уголков страны,— в том числе от старой большевички, ученицы Ф. М. Кнунянц еще в пору ее преподавания в бакинской гимназии Тутовой и Хоментовской, впоследствии участницы боевого отряда Камо. Живы дети Фарандзем Минаевны, помнящие многое из их совместной жизни с Серебровским. Есть воспоминания сына Богдана Кнунянца. Что же касается самой Фарандзем Минаевны, то смею утверждать: до конца дней своих она пользовалась не только любовью близких, но и неизменным уважением товарищей по партии. Жаль тем не менее, если своей публикацией я невольно причинил огорчение Инне Александровне. Это никак не входило в мои намерения.



С уважением

**Александр Русов**

---

Я полностью разделяю мнение вашего читателя В. И. Колесника о необходимости сооружения Мемориала невинно погибших жертв сталинского произвола («Знамя» № 8, 1987 г.). Думаю, пора от слов переходить к делу и просить Госбанк об открытии счета для приема добровольных денежных взносов на создание Мемориала.

Такой Мемориал нужен нам не только как дань памяти о безвременно и трагически ушедших людях. Он должен стать еще одной, совсем нелишней моральной гарантией от повторения подобных трагедий и постоянным напоминанием о бдительности и ответственности каждого.

В. И. Колесник пишет: «Должен, должен быть Мемориал погибших безвинно!.. Есть же ведь и решение XXII съезда КПСС, его, помнится, отменить пока никто не осмелился. Тихонько положили под сукно...»

Здесь требуется уточнение. Такого решения нет в резолюции и других официальных материалах XXII съезда. Но, выступая на съезде с заключительным словом, Н. С. Хрущев говорил:

«В Президиум съезда поступили письма старых большевиков, в которых они пишут, что в период культа личности невинно погибли выдающиеся деятели партии и государства, такие верные ленинцы, как товарищи Чубарь, Косиор, Рудзутак, Постышев, Эйхе, Вознесенский, Кузнецов и другие.

Товарищи предлагают увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности.

Мы считаем это предложение правильным. (Бурные, продолжительные аплодисменты). Целесообразно было бы поручить Центральному Комитету, который будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положительно. Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола. (Аплодисменты)».

Таким образом, на съезде предложение о памятнике было не только внесено, но и встречено делегатами с бурным одобрением. Правда, тогда предлагалось увековечить память лишь «видных деятелей партии и государства», не снисходя до рядовых жертв, что необоснованно сужало и масштабы трагедии.

До сих пор не названо общее число невинно погибших в 30-е—40-е годы при перегибах коллективизации и раскулачивания, борьбе с «врагами народа», а также и по окончании Великой Отечественной войны из-за подозрительности и деспотичности И. В. Сталина.

Назвать истинные цифры жертв — значит сжечь все мосты к отступлению, так как никогда уже не удастся здесь сделать вид, будто ничего особенного не произошло, реставрировать порядки, породившие произвол и беззаконие.

Совести нашей, будущему нашему нужен Мемориал жертв произвола, жертв культа личности. И День их памяти тоже нужен. Возможно, должен быть даже один День и для них, и для погибших в Великой Отечественной войне, так как эти утраты неразделимы и сливаются воедино в истории и в нашей памяти.

**Н. Девянин**

Москва

---

# Советуем прочитать

**Ю. Помпеев. Октябрь семнадцатого. Роман-хроника. Звезда, №№ 9—12, 1987.**

Вот уже в течение трех лет «Звезда» знакомит своих читателей с документальным романом Ю. Помпеева о политических событиях 1917 года в России. Предыдущие его части («Февральский вихрь», «Эти великие полгода») были опубликованы в 1985—1986 годах.

В книге использованы любопытные материалы газетной хроники, архивные документы, воспоминания большевиков В. А. Антонова-Овсеенко, В. Д. Бонч-Бруевича, П. Е. Дыбенко, Н. А. Подвойского и других, а также мемуары А. Ф. Керенского, П. Н. Краснова, П. Н. Милюкова, В. Д. Набокова, Б. В. Савинкова.

**Аркадий и Борис Стругацкие. Сказка о Тройке. Фантастическая повесть. Смена, №№ 11—14. 1987.**

События «Сказки о Тройке» невероятны, персонажи гротескны. Фантастика причудливо сочетается с обыденностью: здесь действуют величавый демагог Лавр Кунюков и застенчивый птеродактиль Кузя, деликатнейший Снежный человек Федя и напористый Клоп Говорун, помешанный пенсионер-изобретатель Машкин и вещая коза, речистый кальмар Спиридон и Панург... Перед читателем развертывается жутковато-смешная фантасмагория, в которой зловещую роль играет, пожалуй, не Вунюков и возглавляемая им Тройка, а Большая Круглая Печать — символ иррационального могущества тупых, хитрых чинуш. При их появлении пасуют даже неунывающие ученые маги из НИИЧАВО — герои, памятные многим по известной повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

«Сказка о Тройке» — продолжение полюбившейся читателям книги, не уступающее ей по смелости авторского изображения и сатирической остроте. И весьма злободневное, несмотря на то, что повести пришлось ждать публикации никак не менее двух десятков лет.

**Н. Н. Петрунина. Проза Пушкина. Ленинград, Наука, 1987.**

Тема, к которой обратился автор исследования, не нова. Пушкинские повести, зарисовки, романы, новеллы, путевые заметки неоднократно становились предметом обстоятельного анализа с самых разных точек зрения; ученые десятилетиями бьются над секретами выразительности, особой простоты и воздушности слога величайшего из мастеров русской литературы. Автор книги стремится в первую очередь раскрыть особенности прозы Пушкина, проследить ее развитие, намечает основные вехи, знаменовавшие собой становление Пушкина как прозаика: «Только неустанный поиск, движение художественной мысли, стремление к изображению опыта истории и реальной жизни позволили Пушкину совершить поворот в истории российской литературы, который по праву назван историческим».

**Александр Левиков. Ищи себя, пока не встретишь. М., Политиздат, 1987.**

Фамилия автора знакома читателям по выступлениям в «Литературной газете», центральных журналах. Его новая книга вышла в недавно появившейся серии «Личность. Мораль. Воспитание», и она может показаться для творчества писателя-публициста несколько неожиданной. Это публицистические рассказы о том, как люди ищут — и находят! — свое место в жизни, как они сами «делают» свои судьбы. Необычны биографии, непривычны сочетания повседневных занятий и интересов этих людей. Профессиональный физик — он же высшей квалификации переводчик с нескольких языков — начинал трудовую жизнь... грузчиком. Математик-академик, соратник С. П. Королева, известен с недавних пор как искусствовед, знаток живописи. Врач — писатель. Директор совхоза — он же художник и скульптор. Педагог — исследователь... Автор книги зовет нас, читателей, следовать принципам, которые ведут по жизни этих, как он утверждает, истинно счастливых и внутренне свободных людей. Во все времена, считает А. Левиков, такие люди побуждают современников к преодолению косности и застоя, будят энергию общества.

**Р. Гранаускас. Жизнь под кленом. Повесть. Перевод с литовского В. Чепайтиса. Дружба народов, № 12, 1987.**

Не торопитесь обвинять старую Кайрене, что своими руками поднесла сыну, несчастному в семейной жизни, стакан водки — водки, которая в итоге стала причиной его гибели. Нельзя не посочувствовать Кайрене: в молодости она потеряла мужа — он провалился под лед, а причиной его гибели тоже стала водка. Жизнь и самой Кайрене из деревни Будряй оборвалась драматично: увидев, как неуправляемый трактор переехал ее пьяного внука, она встала перед машиной, заслонила собой старенький дом...

В развернувшейся всенародной борьбе с пьянством сегодня важно понять и искоренить причины этого зла. Не видела в юности Кайрене ничего плохого в том, что мужчины выпьют после тяжелой работы. И не понимает она до последнего дня, что же произошло за долгую ее жизнь, в какой момент спиртное заслонило личность.

Повесть не дает рецептов, но во многом обнажает суть проблемы. Главный ее пафос — восстановление нравственности.



**Н. Эрдман. Мандат. Пьеса в 3-х актах. Театр, № 10, 1987. Самоубийца. Комедия в 4-х действиях. Современная драматургия, выпуск 2-й, 1987.**

Публикация двух пьес Николая Робертовича Эрдмана (1902—1970) — заметное событие. Станиславский и Мейерхольд считали драматурга прямым продолжателем традиций русской классической сатиры. Наконец-то его комедии стали достоянием современного читателя и зрителя («Самоубийца» вновь, после пяти спектаклей 1982 года, возобновлен в московском Театре сатиры).

Первая пьеса, поставленная в 1925 году В. Мейерхольдом, принесла триумфальный успех 22-летнему автору, режиссеру и актерам. Вторая готовилась к постановке в Театре имени Мейерхольда и во МХАТе в 1930 году, но была запрещена. Умная, злая, смешная, гротескная сатира Эрдмана прицельно била по многоликому мещанству, которое стремилось приспособиться к новой власти и ради этого спекулировало чем угодно: лозунгами, верой, социальным происхождением, чужой и собственной жизнью...

**А. П. Спундэ. Очерк экономической истории русской буржуазии. Фрагмент книги. Комментарий Е. Анисимова. Наука и жизнь, № 1, 1988.**

Очерк посвящен деятельности Ивана Грозного и Петра Великого — самодержцев, чьи энергичные реформы вводились в жизнь странными, жестокими методами. Насколько же благотворны для потомков оказались эти реформы?

В конце сороковых — начале пятидесятых годов, когда видный финансист, участник Октябрьской революции, член первого Советского правительства А. П. Спундэ, служил кассиром в Мосторге и все свободное время отдавал своему исследованию, проблема единовластия считалась решенной. Предполагалось, что мудрая государственная мысль велит оптимистически взирать на муки, унижение и гибель многих тысяч людей, если такой ценой достигается прогресс. Одним из популярных доводов в пользу этой концепции служили реформы Ивана IV и Петра I. Автор очерка оценивает их экономические, политические и культурные последствия преимущественно как негативные. Показывая, как произвол предприимчивых государей, нарушив естественный ход развития общества, положил начало многим грядущим бедам, исследователь весьма доказательно оперирует серьезными доводами и красноречивыми, порой ошеломляющими цифрами.

**Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. Предисловие Б. А. Старостина, перевод с французского Н. А. Садовского. М., Наука, 1987.**

Книга Пьера Тейяра (1881—1955) — члена одного из католических орденов, священника-иезуита, ученого-антрополога, открывателя синантропа, написана в сороковые годы, но издана только после смерти автора. Вышла эта книга в нашей стране в 1965-м, имела гриф «Для научных библиотек». И только теперь она напечатана солидным тиражом и вполне доступна всем.

Господство точных наук низвело жизнь и человека на положение ничтожной подробности во Вселенной. В нашем веке наука преодолела это трагическое противоречие. В. И. Вернадский, П. Тейяр и Э. Леруа, взаимно обогащая друг друга, создали учение о ноосфере (ноос — разум), где человечество выступает отнюдь не как случайное, а как космическое явление. Шарден исходит из предположения о том, что жизнь и разум рассредоточены в природе, содержатся в ней в потенции (глава «Преджизнь») и только определенная концентрация делает их заметными (глава «Жизнь»). Такая концентрация идет на Земле 600 миллионов лет и названа цефализацией — закономерным увеличением сложности и объема головного мозга. Она привела к появлению разума — событию, равноценному появлению самой жизни (глава «Мысль»). Обновленная планета вступила в стадию ноогенеза — восхождения сознания («Сверхжизнь»). Пик эволюции проходит ныне через человечество, совершенствуя изобретательность, общественные институты, познание и обучение. Пьер Тейяр оптимистически смотрел в будущее, связывая перспективы развития человека с расширением познания, совершенствованием его внутреннего мира.

**Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. Составители и редакторы Александр Медведев, Ольга Медведева. М., Советский композитор, 1987.**

Этот сборник — исторический экскурс, наметивший основные вехи становления джаза, и попытка осмысления особенностей творчества крупнейших советских джазменов, и обстоятельный анализ разновидностей джаза с точки зрения музыкантов-профессионалов.

Составленная авторами дискография отечественного джаза придает изданию энциклопедичность, делая его, по существу, первым фундаментальным трудом по теории и практике советского джаза. И еще: слово «проблемы» недаром вынесено в подзаголовке на первое место. Вот лишь некоторые из них: почему у нас есть джазовые вокалистки, а певцов нет? Возможно ли найти в русском языке слова и интонации, пригодные для перевода мировой песенной классики?.. Акцент на проблемы не дань публицистической моде, а свидетельство жизнеспособности этого демократичного жанра.

**Татьяна Александрова. Кузька. Сказка. М., Детская литература, 1986.**

Четверть века писалась эта небольшая детская книга. И еще годы и годы сказка

шла к детям через непонимание издателей, редакционную волокиту. Книга вышла в свет, к сожалению, после смерти автора. Сказочник — редкий гость, а мимо нас прошел, как оказалось, сказочник самой высокой пробы: философ, фольклорист и художник. Смеясь и печалясь над страницами «Кузьки», наведываясь в оба дома Бабы Яги (один для хорошего, другой — для плохого настроения), воображая «домовят» Пармешку, Куковяку, Сосипатра, Вуколочку или Афоньку с Адонькой, встречая болотных кикимор и Лешика (и многих, многих других),— вдруг понимаешь, что сказочница впустила тебя в тот мир народных верований и народной мудрости, который возвращен нам в виде доброй сказки и которого так недоставало нашим детям в крупноблочном жилище.

**Когда поют солдаты. Песни, рожденные сердцем. Самодеятельные песни. Песни на стихи армейских поэтов. Составление, вступительная статья сотрудника «Красной звезды» П. И. Ткаченко. М., Молодая гвардия, 1987.**

Всего несколько лет назад эта небольшая по объему книжка вряд ли увидела бы свет. Кажется странным, если иметь в виду ее, быть может, не слишком «свежий» заголовок. Но это не подборка сверхбодрых, порой залихватских поделок поэтов и композиторов, рассчитанных на торжественные оказии, смотры и юбилеи. В сборнике — стихи и песни тех, кто выполнял или выполняет интернациоиальный долг в Афганистане. Тех, для кого высокие слова из солдатских песен об армейском братстве и верности воинскому долгу стали понятны и близки, потому что в них — правда. Словом, перед нами не только документ времени, но и сборник фольклора. Именно сборник, поскольку, кроме включенных в него песен, есть еще десятки, быть может, и сотни других. Написанные «по мотивам» «Машины времени» и ритмов «Битлз», Высоцкого и Визбора, исполненные «афганцами», песни эти суровы и мужественны, просты и поэтичны.

---

## К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ЗНАМЯ»

Редакция переезжает по новому адресу:
Москва, 103863, ГСП, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефон для справок: 924-13-46.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, В. Я. ЛАКШИН** (первый зам. гл. редактора), **В. С. МАКАНИН, В. Д. ОСКОЦКИЙ, Р. В. СВЯТОГОР** (отв. секретарь), **В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, Тверской бульвар, 25.
Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — 202-04-49, секретариат и заместители главного редактора — 202-30-29 и 202-73-10, отдел прозы — 202-71-97, отдел публицистики — 291-04-43, отдел критики и библиографии — 202-67-79, отдел поэзии — 202-98-80.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 03.02.88. Подписано к печати 03.03.88. А 05332. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21.00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27.
Тираж 500 000 экз. Заказ № 1921.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.